
Майя
Вера Желиховская

Майя

Вера Петровна Желиховская

Аннотация
Вера Желиховская. Майя
Майя
- Глава I
- Глава II
- Глава III
- Глава IV
- Глава V
- Глава VI
- Глава VII
- Глава VIII
- Глава IX
- Глава X
- Глава XI
- Глава XII
- Глава XIII
- Глава XIV
- Глава XV
- Глава XVI
- Глава XVII
- Глава XVIII
- Глава XIX

Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
Святолесские певцы. Старинные предания
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Князь-рыцарь
Завещание. Святочный рассказ
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV

Глава V
Сон в руку. Святочный рассказ
Глава I
Глава II
Глава III
Из стран полярных. Святочное происшествие
Джинн-падишах. Легенда Северного Кавказа
В Христову ночь
Ночь всепрощения и мира
Видение в кристалле

Аннотация

Юная Марья Ринарди, которую в семье зовут Майей, всегда была необычным ребенком. Дикарка и затворница, она предпочитала суетному обществу людей собственный мир, населенный причудливыми созданиями. Отец ее, профессор Ринарди, души не чаял в дочке, которая сызмальства поражала всех глубокими знаниями и многими талантами. И вот Майе исполняется шестнадцать – и за ее душу начинается борьба двух могущественных сил, Белого и Темного братств… Волшебная атмосфера мистической повести «Майя» сохраняется и в рассказах, пронизанных святочной магией, древними легендами и верой в торжество справедливости.

Вера Желиховская (1835–1896) – русская писательница, сестра Елены Блаватской, работала в жанрах детской, исторической и мистической прозы. В сборник включен ее оккультный роман «Майя», а также повести и рассказы о сверхъестественном, русские и кавказские предания.

Вера Желиховская
Майя

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Иностранка®

* * *

Майя

Глава I

Родители Франца Ринарди были космополитами, но сам он, как это часто бывает, родившись и служа в России, считал себя русским. До сорока лет он жил в Петербурге, где между товарищами-профессорами и немногими знакомыми приобрел репутацию чудака и мистика. Раз летом был он на Иматре, поехал к родственникам в имение да там и влюбился в красивую, болезненную девушку и совершенно неожиданно для самого себя возвратился женатым. Семейной жизнью, однако, профессор наслаждался недолго; через год жена его родила дочь, а недель через шесть после того умерла без всякой определенной болезни. Ринарди чуть с ума не сошел. Он заперся, бросил службу, ударился в спиритизм, только что ввезенный в Россию Юмом иностранный продукт мистицизма; жизнь свою наполнил материалистическими проявлениями духовного мира.

Первые два-три года вдовства Ринарди жил лишь благодаря связи с умершей женою. Не будь этих письменных общений, а порою и видимых ее явлений, укреплявших в нем убеждение в необходимости жить ради вечного единения

душ их в будущей жизни, он в первые же дни наложил бы на себя руки. С течением времени он успокоился. Жена успела внушить ему также убеждение в плодотворности занятий научных; вселить в него охоту вновь взяться за свое старое дело, обещавшее привести его к величайшим результатам, к открытию сокрытой доныне, но великой силы природы. Повинуясь воле жены, ее внушению, Ринарди предался научным штудиям и опытам и скоро забыл весь мир в своей лаборатории.

Раз ночью, когда он не спал, а лежал, думая о супруге, ожидая ее появления, он услыхал возле себя движение, почувствовал дуновение воздуха на лице своем — верный признак ее присутствия; но в полусумраке ясной ночи видение не появлялось… В тревоге поднялся Ринарди, сел и осмотрелся вокруг в тоске напрасного ожидания.

Вдруг словно долгий вздох пронесся по длинной анфиладе прадедовских покоев, и из залы, где стоял рояль покойной жены профессора, раздался тихий, созвучный аккорд…

Ринарди вскочил, простирая руки туда, к дверям, готовый броситься ей навстречу. В ушах его раздался знакомый шепот.

— Франц! Я здесь, я всегда рядом, — говорил го-

лос. — Но больше ты меня не увидишь: моя грубая оболочка все дальше от меня уходит!.. Мне все труднее, милый мой, даже для тебя, привлекать и соединять ее распадающиеся начала. Я не могу их долее удержать, а ты не сумеешь меня долее видеть своим человеческим зрением. Быть может, вскоре перестанешь и слышать, но не горюй! Не горюй, милый мой: между тобою и мною звено… Ты скоро убедишься, что мы неразлучны…

Голос замер, последние слова Ринарди едва уловил. И почти без памяти упал на кровать.

Утром он встал как опьянелый. Сел за письменный стол, но не мог сосредоточить мыслей. К профессору привели его трехлетнюю дочь, бледного белокурого ребенка с задумчивыми, широко раскрытыми черными глазами, как у ее покойной матери. Девочка уж порядочно лепетала на двух языках, но отец мало ею занимался. В это утро он едва взглянул на малышку. Ему тяжело было ее видеть!

Няня увела ребенка в сад.

Дом, где жили они теперь, в родовом имении покойной жены профессора, был старинный, каменный. Ринарди безвыездно обретался в этой деревне.

Время было летнее, окна и широкие стеклян-

ные двери в смежной гостиной были открыты в сад; из цветника веяло резедой и левкоем, доносилось чириканье птиц, а порою жужжание пчел, подлетавших к окнам, увитым зеленью; не слышалось только людских голосов, ребячьего смеха или лепета. Няня-швейцарка была погружена в чтение; маленькая русская служанка, приставленная к барышне для забавы, болтала в стороне, у калитки, с горничной. Девочка сидела одна на нижней ступеньке крыльца, смотрела кругом вдумчивым взглядом, иногда улыбалась сама себе, бормотала что-то неслышное и снова задумывалась, будто к чему-то прислушиваясь… Вдруг она встала и побрела к пестрым грядкам.

А Ринарди по-прежнему сидел у своего стола, не понимая, что делать и за что приняться. Он сам не знал, сколько времени прошло так. Вдруг он встрепенулся. Милый детский голосок заставил профессора обернуться к двери. Там стояла его маленькая дочь и, с улыбкой глядя вверх, как обычно смотрят дети в лица стоящих возле них взрослых людей, говорила:

— Ему?.. Папа́?.. Хорошо! Я дам.

Она быстро засеменила ножками и, поравнявшись с отцовским креслом, сказала, подавая ему крепко зажатый в ручонке белый нарцисс:

— Бери! Мама дала…

Ринарди вскочил.

— Мама дала?.. Мама?! Где мама? — шептал он побелевшими губами.

— Вот мама! — просто отвечала девочка и, смеясь, указывала ему на дверь.

Секунду профессор колебался, шатаясь и едва держась на ногах, потом сделал два-три шага к дверям, вернулся, весь дрожа, схватил ребенка на руки и, прижимая его к груди своей, повторял, как безумный:

— Мама! Твоя?.. Наша мама!.. Ты ее видишь?

— Маму? Да! Вот она… Она всегда с Майей. Майя ее любит!

Малышка отстранилась от плеча его и будто прикорнула рядом на другой родной груди, соединяя обоих в одной ласке.

Испуг и недоумение превратились в блаженную улыбку на лице ее отца; радостные слезы полились из глаз его, устремленных благодарно на дочь — на это видимое ему звено, соединявшее его с невидимой единственной любовью, ненадолго озарившей жизнь его счастием.

С тех пор Ринарди стал почти неразлучен с своей маленькой девочкой. Он занимался в лаборатории, когда она спала; работал целые ночи

напролет, чтоб иметь днем время побыть с нею. Он уносил свою Майю в сад, в лес, в поле, чтобы не выдать их тайны, чтобы свободно прислушиваться к лепету дочери, к тому, что та, в блаженном неведении, передавала ему о матери и от нее…

Но долго так продолжаться не могло. Необычайные способности ребенка не могли оставаться тайной для других: они слишком искренне, слишком часто и явно проявлялись во всем и со всеми, а общее неведение, слепота и глухота всех к тому, что духовному слуху и зрению девочки было открыто, не могли ей наконец не открыться… Марья — или Майя, как называли ее близкие, с тех пор как первый детский лепет окрестил девочку этим именем, — скоро поняла, что есть в ней нечто особенное, дивящее и пугающее людей. Она стала их сторониться, скрывать свои мысли, полюбила одиночество и в пять-шесть лет сделалась совсем дикаркой. Даже с отцом она не любила говорить о том, что ее занимало. Да и он часто не понимал ее, не всегда мог сдержать удивление, скрыть невольное недоверие к ее рассказам.

Позже Майя свыклась с необходимостью осторожно разговаривать с людьми и перестала их бояться. Она только смотрела на них с недоумением, печально удивляясь чужой слепоте и лишь

усмехаясь в ответ на соболезнования по поводу ненормальности жизни в этой глухой деревне и полном одиночестве. Одиночестве!.. Майе было смешно слышать это бессмысленное слово. Она жалела обездоленных людей, слепцов, не понимающих, что нет в переполненной жизнью природе одиночества, как нет и смерти у Живого Бога живых!

Глава II

Майя никогда правильно не училась, потому что учителя, а в особенности наставницы редко уживались более нескольких месяцев «при этой безумной девочке, в этом заколдованном доме». Так аттестовало все соседство имение, где жили Ринарди, и его будущую владелицу.

Напоследок никто туда и вовсе ехать не хотел; да и, по правде сказать, с четырнадцатилетнего возраста Майи о ее образовании и думать перестали. Кому оно было нужно? Отец и без учения находил в ней бездну премудрости; сама она не видела никакой нужды учиться для общества, для света, которых она не знала и не хотела узнавать. Для самой же себя Майя много и неутомимо общалась с учителями, ей одной ведомыми. Кто бы они ни были, эти учителя, но воспитанница их преуспевала в науках, о существовании которых девушки обыкновенно не подозревают. Впрочем, она и сама вряд ли подозревала, что их знает, а уж о названиях своих штудий положительно не имела понятий. Знания приходили словно сами собой, точно так же, как и таланты: музыка, живопись — все ей давалось, но не так, как

другим, не по правилам, а как-то сразу, неожиданными наплывами, будто с неба валилось или будто тайный проводник ловко и смело водил руками Майи по клавишам, по рисунку. Нот она почти не знала и редко играла вещи, которые обыкновенный человек мог признать за музыку, записанную нотами или когда-либо слышанную. А между тем Майе не было еще шестнадцати лет, когда ее игрой заслушивались знатоки.

Точно то же происходило и с живописью. Майя никогда не училась рисовать, однако никто не мог бы этому верить, глядя на ее мастерские эскизы цветов, видов, необыкновенных растений и еще более необыкновенных созданий. С десяти лет девочка начала испещрять альбомы изображениями идеальных или чудовищных форм, напоминавших образы из мифологии сразу всех стран, верований и сказаний всех народов.

— И откуда у вас берутся такие дикие фантазии? — спросила ее раз вновь поступившая гувернантка.

— Как откуда? — засмеялась Майя. — Да я таких всюду вижу: я ведь списываю с натуры!.. Вот эта прелестная девочка-мотылек с тех пор, как я себя помню, каждый день прилетает ко мне. Мы и сегодня, пока вы заперлись в своей комнате, летали

с нею по всему парку, высоко! Выше деревьев и через речку… А вот эту змею с высунутым жалом и козлиными рогами на лбу я видела вчера обвитой вокруг вас. Право!.. Да вы не бойтесь. Они везде живут, эти чудовища и разные уродцы — полузвери, полудухи, полулюди, кто их знает?.. Я и сама иногда не разберу. Но зло они только тем могут сделать, кто их приголубит, кто сам полюбит их и с ними нянчится…

Гувернантка смотрела на Майю в недоумении и ужасе.

— Вы бредите! Или сочиняете сказки? — бормотала она.

— Не брежу и не сочиняю, — спокойно возразила девочка. — Я вам скажу, что такое эти гады и смешные уродцы, которые толпятся между людьми: это наши пороки, наши дурные чувства и желания! Ничто не проходит бесследно в природе: все наши мысли летают вокруг нас, но не каждый видит их, как вижу я, — я знаю!.. Прежде мне казалось, что другие нарочно скрывают это…

— Несчастная девочка! — испуганно прервала ее гувернантка. — Лучше бы вы скрывали свои галлюцинации. Вы больны, вам надо лечиться!

— Нет, я здорова, но все остальные люди ненор-

мальны. Они не сохранили духовного зрения, которое прежде было у всех, а теперь редко кому достается… Я с ним родилась! — вздохнула Майя.

— Боже милостивый! Да откуда вы все это берете? Эти фантазии, эти слова… Кто научил вас всему этому?

— Кассиний! — просто отвечала девочка.

— Кассиний?.. Кто такой Кассиний? — изумилась наставница. — Я не знаю его. Кто он? Учитель?

— Учитель! Великий учитель — не такой, как другие. Но и его никто не увидит, кроме меня, пока он сам того не захочет. Вот он, возле меня… Что? — Майя вдруг подняла голову, будто вслушиваясь, и рассмеялась.

Гувернантка отступила в страхе.

— Да не бойтесь же!.. — вскричала Майя. — Я смеюсь от того, что он сказал мне сейчас… Он увидал, что вы о нем подумали: «Надо его удалить! Сказать отцу ее, чтоб тот его прогнал!» А его нельзя прогнать. Скорее все меня оставят, все уйдут, но не он!

«Да, уж я-то непременно уйду!» — подумала гувернантка и в ту же секунду еще решительнее утвердилась в этом намерении, потому что Майя, не отрываясь от рисования, за которое вновь

принялась, опять рассмеялась и сказала:

— Ну и бог с вами! Я знаю, что долго жить возле меня обычные учителя и гувернантки не могут. Кассиний говорит, что они мне и не нужны, что сам он всему меня научит.

И точно, не с руки было наставникам учить такую девочку. Отец ее наконец сам убедился в том и предоставил Майе полную свободу. Вскоре он даже уверился, что не ее надо учить, а у нее учиться многому: необычайные духовные силы и дарования дочери часто указывали Ринарди пути и средства, когда собственных знаний ему недоставало. Если он начинал сбиваться в понимании на том скользком рубеже, где кончается область положительных наук и ученый волей-неволей должен переступить грань, отделяющую мир материальный от тех духовных, высших сфер, где созревают мировые законы природы, — пересечь ее или малодушно отступить и отказаться от предприятия, — тогда Ринарди прибегал к помощи дочери. Ясновидящая или сама определяла ему суть вещей, причем определяла пассивно, с помощью описаний картин, которые «видела», чертежей, значения которых сама не понимала, вычислений, которые опять-таки «списывала», видя их перед собою, а сама иногда и прочесть

не умела. Или же просила времени для ответа и приносила его от лица своего «Белого брата», учителя Кассиния, — устно или письменно, смотря по сложности вопроса.

Кто же был этот таинственный учитель?

Ни профессор, ни даже сама Майя того не знали. Но все в доме давно привыкли к его имени, к его влиянию.

Майе было семь лет, когда она тяжело заболела. Болезнь, по определению выписанных из столицы лучших врачей, была смертельна; о выздоровлении не могло быть и помысла: гибель ребенка была лишь вопросом времени…

Когда прозвучал страшный приговор, Ринарди почувствовал, что почва вырвана из-под ног его, что он падает, летит в какую-то бездонную, беспросветную бездну… Последней сознательной мыслью его было: «Только бы не сумасшествие! О, если б умереть!» Затем он ничего ясно не помнил: что делал, где был несколько времени. Часы прошли или минуты, профессор не знал. Он очнулся среди глубокой ночи, в своем кресле у письменного стола. Часы, стучавшие перед ним в ярком свете лампы, прикрытой темным абажуром, показывали час. Сам ли Ринарди, другой ли зажег лампу и перед ним поставил, он тоже не

знал. Очнувшись, профессор бесцельно смотрел перед собою на знакомые предметы, на стол, на свои бумаги, на светлый круг, отбрасываемый лампой, ничего еще определенного не сознавая, кроме тупой боли, сжимавшей сердце его, как в тисках.

«Да! — вспомнил он. — Надо идти! Майя умирает!»

И он поднялся. Но в эту минуту взгляд его упал на две строки, крупным, четким почерком написанные вкось на белом листе бумаги, в районе яркого света под лампой:

«Не верь. Она будет жива!.. Ее жизнь нужна не одному тебе… На радость иль на горе — но жить Майя должна».

Весь дрожа от волнения, профессор пригнулся к этим странным, сулившим ему спасение строкам и многажды перечитал их с биением сердца, со все возраставшим восторгом, пока слезы счастия не затуманили его зрения. Тогда он оторвал уголок бумаги с надписью, спрятал его на груди своей и неверными шагами, опьяненный радостью, не смея еще ей вполне верить, прокрался в комнату дочери.

Майя спала, спокойно дыша; возле нее дремала няня.

Ринарди отослал няню спать, сказав, что сам побудет с больной, и сел с намерением не смыкать глаз, но не успел опомниться, как уже крепко заснул.

Он проснулся утром от луча солнца, блеснувшего ему из-за шторы окна, вздрогнул и устремил испуганный взгляд на дочь. Девочка сидела в своей кроватке, играя свежими, только что сорванными цветами, переглядываясь с кем-то невидимым и улыбаясь ему.

— Папа! Иди сюда, — смеясь, позвала Майя. — Вот Белый брат говорит, что ты ленивый! Проспал такое славное утро… А он давно принес мне цветов и говорит, что я скоро буду здорова и сама буду рвать их.

С той поры Белый брат, незримый учитель, стал неразлучным спутником дочери профессора. Она рассказывала о нем отцу, описывала его, уверяя, что он «такой же человек, как и все, только очень добрый и очень умный».

— Спроси его, дитя мое, — сказал ей раз отец, когда Майя была уже совсем здорова, — он ли утешил меня, пообещав, что ты будешь жива, написав вот это? — И профессор вынул из записной книжки никогда не покидавший его обрывок бумаги. Но прямого ответа не получил.

— Кассиний говорит, что тебе должно быть все равно, кто бы это ни написал, — отвечала девочка.

Глава III

Под влиянием своего таинственного друга и благодаря чудесам природы, ей доступным, Майя стала развиваться не по дням, а по часам. Вскоре поняла она вещи гораздо более сложные. Кассиний сумел внушить девочке убеждение, что незачем рассказывать без нужды о необыкновенных ее дарованиях; нехорошо, даже опасно величаться ими и хвастаться ради забавы, но также нет причины унывать, смущаться своим ясновидением, задумываться над собой, как над загадкой.

«В мире ничего нет сверхъестественного! — внушал он ученице. — Это пустое, бессмысленное слово… Все естественно — но не всем все доступно. Не всем дано знать тайны природы, а там более овладевать ими. Мало видящих и слышащих, но блаженны одаренные духовным оком и слухом, если они не злоупотребляют своими великими дарами».

Вскоре после выздоровления маленькой барышни няня ее вбежала раз к профессору бледная, перепуганная, крича, что подопечная ее пропала.

Ринарди вышел к няне встревоженный. Хоть он и привык ко всевозможным чудесам, случавшимся с его дочерью, но няня была слишком уж взволнована… Оказывалось из слов ее, что они гуляли в роще, Майя рвала цветы, собирала еловые шишки и вдруг скрылась с глаз. Няня звала ее, искала, кричала, расспрашивала всех встречных, но тщетно: Майи нигде не было.

— Да где ж это случилось? И давно ли? Веди меня туда! — потребовал профессор.

— Да на березовой полянке, барин, — отвечала няня. — С час времени будет.

— Однако! Целый час? — встревожился отец. — Пойдем! — И он схватил шляпу.

Но далеко ходить ему не пришлось: не миновали они цветника, как Майя, веселая и румяная, стукнула калиткой сада и побежала им навстречу.

— Девочка моя! Где ты пропадала? — закричал ей обрадованный отец.

— Ах, папа! — бросилась она ему на шею. — Как было весело, как чудесно! Я… — Она вдруг смолкла, взяла отца за руку и потянула в сторону. — Лучше я одному тебе скажу, папочка, а то няня всегда говорит, что я лгу, а лгать, ты знаешь, очень стыдно! — надув губки, сказала Майя. —

Послушай!

Она заставила отца нагнуться к себе и прошептала ему на ухо:

— Мы летали!

— Что?!. — изумленно воскликнул Ринарди.

Майя повторила еще более явственным шепотом:

— Мы ле-та-ли!

— Кто?!. Неужели ты и Кассиний?

Девочка громко расхохоталась.

— Что ты, папа, бог с тобой!.. Кассиний такой большой, серьезный, важный! Нет, он только смотрел на нас. Правда, когда надо было мне с Селией подниматься, он немножко прикрыл нас собою, чтоб няня не увидала меня в воздухе и не испугалась... Но только поначалу! Едва мы очутились между ветвями деревьев, няня уж не могла догадаться, что надо поднять голову, а не искать меня в кустах! — смеясь, рассказывала девочка, увлекая отца в кабинет, подальше от чужого слуха.

Там она взгромоздилась, по обыкновению, ему на колена в его прадедовском кресле и с увлечением продолжала рассказывать, как хорошо летать — носиться в воздухе легко и свободно по ветру, рядом с облаками, парить над землей,

глядя вниз на деревушки, города и бедных людей, таких черных, маленьких, как муравьи… Ринарди слушал как во сне.

— Дитя мое! — наконец очнулся он. — Уверена ли ты в том, что говоришь? Не уснула ли ты в лесу и не привиделось ли тебе все это?

— Ну вот и ты, папа, не веришь мне! — горестно вскричала Майя. — Ах! Что же мне делать?.. Неужели и тебе нельзя рассказывать?!

— О нет! Нет, дитя мое. Рассказывай мне все, что с тобою случается. Я верю тебе! Прости меня, милая. Ты ведь понимаешь, что трудно привыкнуть…

— Да! Я знаю, что люди — рабы своих духовно неразвитых чувств, — вздохнула Майя.

— Рабы чего? — изумился профессор.

— Своих неразвитых чувств! — повторил ребенок совершенно осознанно. — Так всегда говорит Кассиний.

«Господи! Что выйдет из этой девочки через десять лет?» — с невольным страхом подумал отец.

— Няня никогда не видала Селии? — спросил он.

— Нет-нет! — обиженным голосом решительно отвечала Майя. — Ни Селии, ни Кассиния! Разве она может?.. Ведь у нее нет всех глаз; она, как

и другие люди, ничего не видит. Ни моих друзей, ни того, кого они за собой спрячут, вот как меня сегодня закрыл Кассиний. Ничего, ничего решительно такого не видят, кроме простых твердых вещей, которые можно взять в руки. — И Майя презрительно потыкала пальчиком в стол, в стулья. — Ты, папочка, гораздо больше видишь! — убежденно прибавила она. — Кассиний говорит, что это у нас семейное: что мама была такая же, как я, и что ты сам, когда был маленький, многое мог видеть… только забыл!

— В самом деле? Быть может, — задумчиво проговорил Ринарди.

— Да-да! Наверняка! — подтвердила Майя. — И знаешь… — Она подошла к отцу ближе и таинственно прошептала: — Если ты будешь работать над собой, по-прежнему слушаясь Кассиния, твои глаза и уши могут снова открыться…

— Кассиний сказал это? — вскричал Ринарди.

Майя утвердительно кивнула.

Отец поднял девочку и прижал к своей груди:

— Ах! Дай бог, чтобы это была правда!

И точно: с течением лет обещанию Майи суждено было сбываться все шире и определенней. По мере того как научные занятия Ринарди продвигались вперед — медленно, но неуклон-

но, — духовные способности самого профессора развивались сильнее, и ему открывались дотоле неведомые, необъятные горизонты… Средства и силы его умножались и крепли, задачи расширялись, но зато и достижение желанных целей отодвигалось все дальше со всяким днем и, казалось, становилось неуловимей. Беспрерывно увлекаемый удачей то в одной, то в другой подробности, Ринарди то и дело отвлекался от главной задачи; заинтересованный как истинный идеалист, влюбленный в силу знания, а не в успех его практических приложений, профессор гнался за частными явлениями, а их было столько, что целого никак не удавалось охватить. А время между тем убегало; другие, более практичные изыскатели не дремали: Эдисон с многочисленной плеядой предшественников и последователей то и дело предвосхищал замыслы Ринарди. Судьба словно дразнила его надеждой, в самую минуту ее исполнения вдруг вырывая у него конечный успех, чтобы потешить им других. Но это не отнимало у профессора бодрости, напротив: частные и, как ему казалось, неудовлетворительные успехи сил электричества, применений телефона, фонографа и прочих изобретений нашего плодовитого века еще сильнее

разжигали его стремления полнее приложить их ко благу человечества, упрочить применение их, развить их действия до возможного совершенства.

Ему хотелось довести каждый открывавшийся ему проблеск до полного, яркого, всестороннего света, а не тратить искр по мелочам.

— Все это добрые лучи! — говорил Ринарди. — Они ослепят каждого работника во мраке нашего неведения, именуемого наукой, но не облагодетельствуют мира, как облагодетельствовало бы его открытие источника всемирной силы, света неугасимого — великой души Вселенной, коей все движется, и все держится, и все живет!..

— Ринарди разыскивает начало начал! Animus mundi [1], великую причину бытия, не только постичь, но и полонить желает! — смеялись те немногие, кто сохранил сношения с чудаком или память о нем.

Другие решили проще:

— Да бедняга рехнулся!.. Ум за разум зашел. Но всего печальнее, что он и дочь свою с ума свел!

— Ну, с этим можно и не согласиться! — протестовали знавшие дело ближе. — Скорее она

---

[1] Сноски: 1

Мировой, вселенский дух (*лат.*). — *Здесь и далее примеч. ред.*

отца с ума сводит. Эта несчастная девушка решительно безумна! Вечно окружена какими-то духами, оборотнями, кикиморами, воспитана то ли невидимкой-колдуном, то ли домовым. Летает на всяческие шабаши… Совсем самодурка юродивая!

— Просто бедная больная девочка, — заключали наиболее милосердные.

Поистине, Майя была окружена чудесами, которые не могли не возбудить недоверия и подозрения или в искренности ее, или в здравости ее ума. До пятнадцати-шестнадцати лет не было границ волшебным проявлениям ее существования и, казалось, не было им определенной цели, кроме потехи самой Майи. К чему были эти встречи с загадочными существами не нашего, чуждого плотскому мира? Русалки, дриады, саламандры и сильфы, ей одной видимые и слышные, не давали никаких указаний по этим предметам, да и вообще никаких полезных сведений не сообщали, если не считать таковым убеждение в их собственном существовании.

Кассиний — другое дело! Майя имела полное право называть его своим учителем. Чем старше становилась она, тем серьезнее становились и их занятия. Те долгие часы, которые, по всеобще-

му убеждению, девочка отдавала уединенным прогулкам, были посвящены беседам с Белым братом, а с десятилетнего возраста ученицы он начал требовать, чтобы та записывала не только его рассказы, но и свои сновидения — те из них, которые ей покажутся занимательны. И странное дело: Майя скоро начала замечать удивительное согласование между теми и другими, будто сны ее служили дополнениями, иллюстрациями к его рассказам. Она спросила его, почему так выходит. Кассиний на вопрос отвечал вопросом: разве это ей не нравится? «Отчего же! Напротив, очень нравится! Но… странно. Почему так?» — настаивала Майя.

Однако на все свои вопросы она получила в ответ лишь просьбу воздерживаться от праздного любопытства, а также раз и навсегда забыть такие лишенные значения слова, как «странность», «чудеса», «сверхъестественность» и им подобные доказательства людской несостоятельности.

Глава IV

В день совершеннолетия, когда Майе исполнилось шестнадцать лет, таинственный наставник впервые сказал ей, что их общение имеет — «как и все в природе, каждый факт в жизни людей» — свои определенные цель и значение.

— В чем они заключаются, тебе еще рано знать, — говорил он. — Могу только сообщить, что они велики и благотворны и для тебя, и для всего человечества! Будь строга к себе и внимательна ко всему, что я отныне буду тебе сообщать. Если желаешь достигнуть возможных для людей совершенства и знания, если искренне хочешь добра и пользы своим ближним, как то повелевает воля Творца Вселенной, — забудь себя!

— Ты ведь знаешь, дитя мое, — говорил он ей в другой раз, — что все двойственно в природе: свет и тьма, добро и зло, истина и ложь, любовь и ненависть враждуют искони, и искони последние торжествуют, а первые терпят гонения и, большей частью, должны скрываться, чтобы не пасть жертвами злобы невежественных людей, а им же приносить пользу. В былые, давние времена наше Белое братство царило во всем мире

и сеяло истину, невозбранно посвящая избранных, умевших доказать свою правоспособность неустанной преданностью святым задачам, полным самоотречением от мирских, обманных благ ради познания высших таинств, знаний и сил. Письменам редко вверялись эти таинства и мудрость, а больше передавались изустно от посвященных к неофитам…

Такие избранные, «хранители истины в духе», существуют и ныне, — утверждал Кассиний, — но втайне, чтоб избегнуть безумных гонений невежд, требующих идолов и знамений, слепой толпы, всегда готовой стать под знамена злобы и мрака Черного братства — вековечных врагов света.

Сами по себе эти несчастные поборники темных сил природы против нас бессильны, — заключил наставник свою речь. — Мы не боимся за себя, но боимся за человечество, которое может погибнуть, веря их лживым внушениям, входя в соблазн и грех, преследуя поборников истины…

С годами Майю все больше увлекало явление ей новых чудесных созданий. С виду обыкновенные, красивые и веселые юноши и девушки, они показывались перед ней на прогулках, преграждали Майе путь, словно не замечая ее, носились по

лесным тропам, водили воздушные хороводы на цветущих полянах, плескались в светлом озере, маня ее к себе, и не раз умели втянуть ее в свои забавы. Они подсмеивались над девушкой, если она отказывалась принимать участие в их играх; добродушно укоряли в трусости, в неблагодарности, в забвении счастливых забав ее детства и в неумении пользоваться дарами природы, лучшим временем жизни — молодостью, столь кратковременной у людей.

Майя скоро узнала, что верить этим блестящим эфемеридам нельзя, что они только внешностью и блистают, а внутри вместо души и сердца они «подбиты холодным ветром», как в шутку говаривал ей Кассиний. Но все же порой девушка увлекалась красотой и вечной веселостью загадочных созданий. Их она не боялась, как других, часто сходных с ними по внешности, но гораздо более зловредных видений — воплощений злых помыслов и страстей человеческих. Прежде она и тех не страшилась нисколько: в детстве они пробуждали в ней одно любопытство, но не привлекали нимало, чаще даже представляясь в уродливых или смешных формах, нежели красивых. Теперь было не то. Теперь эти «элементы зла» ее часто заинтересовывали, а едва она об-

ращала на них внимание, они получали к ней доступ и близость, которых прежде не бывало. Майя старалась их устранять, помня советы Кассиния, но дело это было непростое. И чем далее шло время, тем становилось труднее. Ей даже не всегда удавалось отличать теперь эти порождения людских пороков, эти злые «испарения», воплощенные в образы, от безвредных «начал», элементарных зарождений вечных творческих сил самой матери-природы, не терпящей ни в чем пустоты.

На беду, в последнее время Кассиний все реже и реже навещал свою ученицу. Он говорил, что ей надо привыкать самой руководить собственными действиями и помыслами; что он обязан предоставить ей полную самостоятельность, что «свободный выбор» ее не должен быть ни стеснен, ни направляем долее.

Майя справлялась с собою как умела. В последнее лето она почти отказывалась от прогулок, но ее спутники всюду находили к ней доступ, спрятаться было невозможно. Едва девушка задумывалась, едва закрывала глаза ночью, надеясь уснуть, ее тотчас окружали рои блестящих видений, и она, полоненная их золотыми сетями, неслась вслед за эфемеридами в волшебные об-

ласти, часто не умея отличить мечты или сна от действительности.

Глава V

Однажды во сне Майя увидела себя в царстве гномов. Она очутилась перед пламенным жерлом к ядру Вселенной. Там живо и ловко работали маленькие рудокопы, кузнецы и ювелиры — «эти трудолюбивые деятели природы, которых тупоумие людское, — думалось Майе, — окончательно отнесло в область мифа». Они суетились вокруг гостьи, добродушно показывали свои разнообразные труды: как они распоряжаются источниками металлов, как преграждают вулканические движения, направляя их в менее заселенные местности, по возможности в океаны или на кряжи необитаемых гор, и тем спасают людей от многих бедствий. Она расспрашивала гномов: почему бы им не расчистить пошире ложа для золотых жил да пустить их из горнила земного так же щедро, как пускают они железо и медь? почему бы не рассыпать погуще драгоценные каменья из неиссякаемых сокровищниц, которые ей показывали? Подземные жители только смеялись, уверяя, что это не изменило бы к лучшему положения ее братьев по плоти, безумцев-людей, которые ценят только редкие побрякушки, а на

сокровища, щедро изливаемые для них природой на поверхность земную, и внимания обратить не хотят, и воспользоваться не умеют. Не в золоте и не в алмазах главные сокровища, вверенные им, уверяли Майю гномы, но недостойны люди их откровений…

На прощание ей указали на чудный, прозрачный, светло-розовый огонек, дрожавший ярким пламенем в глубине сияющего алмазного грота:

— Погляди, красавица, вот тот самый животворный священный огонек, которого ученые доискиваются с начала мира. Тот самый, которого недостает и отцу твоему для выполнения его великих замыслов. В этом розовом огоньке живет первобытная сила: Аказа, как назвали ее ваши мудрецы.

— О, дайте мне этого огня! Дайте хоть одну искорку! — протянула Майя с мольбою руки. — Позвольте мне порадовать отца.

Гномы только покачали головами и ответили, что сама она не знает, чего просит. Разве знания отца ее не могут перейти к другим людям? А сделавшись общим достоянием, не породит ли бед великая, беспредельная мощь Божественного пламени, вложенного в Землю для ее оплодотворения, для приведения в действие всех скрытых

сил ее? Тогда эта мощь гораздо вернее приведет к гибели, чем ко благу людей! Как всё в природе, и священный огонь имеет силы двойственные, и тоже, как в других случаях, гораздо легче постигаются его гибельные свойства, чем полезные, и несравненно легче приводятся в действие… Нет, сказали гномы, нет! Придет ли когда время поделиться этим огнем с человечеством, они не знают, но время это еще не наступило ныне.

— Значит, моему бедному отцу никогда не довершить трудов своих? — печально спросила Майя своего спутника-гнома, быстро уводившего ее от прекрасного розового света. — Никогда не облагодетельствовать своих братий?

— Ошибаешься, — отвечал тот. — Труды на благо человечества полезны для его духа и для преуспевания духовных сторон людской жизни вообще. Идеалисты, как называют таких людей неблагодарные их братья, — самоотверженные и преданные науке труженики, но никогда не достигают практических выгод. Однако братьям своим они оказывают благодеяния драгоценнее материальных благ: они очищают других от плотских, греховных стремлений лучами этого самого священного огня, который горит неугасимо в их чистых душах. Огонь этот животворит и

возрождает. Без его света, тепла и силы погибла бы не только земная жизнь, но и духовное начало, альфа и омега бытия, ибо огонь этот — любовь!

С последним словом гнома Майя проснулась, вернее, она открыла глаза и увидала себя сидящей в кресле за письменным столом, но сама была уверена, что все ею виденное — не вымысел и уж никак не сон. Она сейчас же начала записывать свое новое виде́ние, но успела в тот вечер рассказать только его начало. Были ли то ее собственные мысли в то время, как она пролетала над долами и горами, стремясь ко входу в знакомый грот вслед за своим провожатым, в подземное царство, или то, что гном рассказывал ей по пути, Майя не знала. Да она никогда и не допытывалась таких определений: ей только следовало прояснить общее впечатление и запомнить сон, который, как и все ее видения, должен был оказаться последовательным звеном в длинной цепи прозрений.

Принявшись записывать, Майя скоро почувствовала приближение какого-то тяжелого ощущения. Ее охватила не то тоска, не то физическая боль, стеснение в груди, прежде ею никогда не испытанное.

Она догадывалась, что чувство это пришло

недаром, что оно предвещает близость какой-нибудь опасности, чужое дурное веяние. В ту же минуту ее собака Газель, лежавшая у ног хозяйки, тоже встрепенулась, подняла голову и беспокойно зарычала.

Майя опустила руку, выпрямилась и вопросительно оглянулась: никого не видно и не слышно.

Однако кто-то был близко, она чувствовала это. И Газель тоже чувствовала: собака встала, вытянула голову по направлению к окну и глухо заворчала озлобленным и вместе испуганным рычанием.

Майя решительно пошла к окну и раздвинула тяжелую занавесь. Что-то темное, показалось ей, пронеслось в глубь сада от стекла. Ночь была светлая, осенняя; с морозного неба светила луна, серебря верхушки деревьев, не доходивших до окон в четвертом этаже. Все было тихо, недвижимо и в саду, и в расстилающемся за ним парке, и на еле мигающем редкими звездами небе. Все — кроме той черной тени, мелькнувшей так быстро, что Майя не успела ее рассмотреть. Девушка готова была бы подумать, что ей почудилось, если бы не отчаянно яростный лай, которым заливалась Газель. Собака обмануться не могла!

— Газель! — ласково погладила ее по голове Майя, задумчиво возвратившись к столу. — Газель!.. Что ты видишь? Кто там, за окном? Дурное что-нибудь, злые силы, враги?..

Питомица жалобно визжала, обнюхивала воздух, заглядывала тревожно в лицо хозяйке и не хотела успокаиваться.

Девушка задумчиво оперлась о глубокое кресло и вопросительно уставилась в серую раму окна, но между стеклами и небом ничего не показывалось.

«Неужели мне изменяет духовное зрение? — тревожно размышляла Майя. — Неужели я вижу хуже, чем прежде? Не может быть!»

И она стала звать Кассиния.

Что-то тихо зазвенело над нею, словно над головой ударила по струнам невидимой арфы чья-то рука.

Майя вздрогнула и выпрямилась во весь рост с блаженной улыбкой ожидания на оживившемся лице. Она знала давно этот гармонический аккорд, предвещавший близость ее друга.

Но тот не появлялся. Напрасно Майя обводила глазами всю комнату… Вместо Кассиния явился лишь его голос.

«Не могу прийти! — говорил он. — Будь осто-

рожна и готова к борьбе… Приближается время испытаний. Я, как друг, буду помогать тебе. Только не забывай, что дух сильнее плоти, и мужайся!»

Знакомый, милый с детства голос затих.

— Барышня, пожалуйте вниз. Барин вас просят! — раздался голос горничной в дверях.

— Он возвратился? — удивилась Майя, вспомнив, что отец ее в тот день уезжал в город.

— Вернулись… С каким-то барином.

— С барином? — переспросила Майя и подумала: «Господи, вот уж не в пору!.. Занимай еще теперь гостей». — Хорошо. Скажи, иду, — прибавила она.

И направилась вслед за служанкой. Собака весело вскочила, встряхнулась и побежала за хозяйкой.

Майя миновала почти бессознательно две лестницы и несколько комнат нижнего этажа и очнулась только на пороге кабинета, и то оттого, что бежавшая впереди Газель вдруг остановилась, ощетинилась и зарычала.

— Газель, что ты?.. Не стыдно ли! — воскликнула девушка, удивленная такой необычайностью.

Ласковая, прекрасно дрессированная собака никогда не оказывала негостеприимства по-

сторонним, коль скоро они вступали в дом ее хозяев. Но в этот раз Газель положительно сошла с ума: она уперлась в пол, рычала и не хотела двигаться.

— Фу!.. Гадкая собака! — вполголоса прикрикнула Майя. — Молчать! Ложись сейчас же.

И, уверенная в послушании своей любимицы, девушка приподняла портьеру и вошла без опасений.

Отец ее и высокий пожилой человек стояли у стола. Увлеченные разговором, они не слышали ее прихода.

Но тут Газель, словно взбесившись, со злобным рычанием и лаем устремилась на гостя, стоявшего к ним спиной. Собака, казалось, готова была растерзать чужака. Ринарди и Майя бросились между ними, но тут случилось нечто совершенно неожиданное.

Незнакомец лишь повернул голову и устремил пристальный взгляд на животное.

Газель, словно ужаленная, вдруг приросла к месту, дрожа всем телом и жалобно визжа. Потом вся съежилась, тихонько повернулась и вышла из комнаты.

Высокий представительный господин улыбнулся, приветливо глядя на дочь профессора,

очень сконфуженную и вместе с тем встревоженную поведением любимой питомицы.

— Извините! Не понимаю, что с нею сталось, — пролепетала Майя смущенно.

— Да, что это сегодня с Газелью?.. Никогда не бывала она так глупа. Ее надо наказать, мой дружок! — прибавил Ринарди.

— О нет, прошу вас! — вступился приезжий. — Разве неразумные животные ответственны за свои симпатии или антипатии? Прошу вас, профессор, представьте меня m-lle Ринарди.

Гость говорил по-французски и не был похож на русского.

Профессор сказал:

— Моя дочь — м-r le baron de Veillart [2].

Майя подала руку в ответ на протянутую ей выхоленную, аристократическую руку посетителя и только теперь в первый раз взглянула ему в лицо.

Взглянула и тотчас опустила глаза.

Едва рука ее почувствовала прикосновение ладони барона, а глаза встретили его глубокий, пристальный взгляд, дрожь пробежала у Майи по всему телу и сердце тоскливо сжалось, но

---

[2] Сноски: 2

Месье барон ле Велиар (*фр.*). Велиар — демон.

одновременно она почувствовала желание; по некоторым демонологическим представлениям, злые эманации отличаются привлекательностью и лживым красноречием.

Девушке хотелось убежать и спрятаться скорее, как спряталась бедная Газель, забившись в другой комнате под диван.

«Так вот что! В нем и опасность? Его мне и надо остерегаться, этого старика? — мелькнуло в уме ее. — О, каким от него веет холодом!.. Какой злой магнетизм окружает этого человека!»

Глава VI

Барон Велиар остался на несколько дней в деревне Ринарди. Он был давно желанным, но нежданным гостем профессора: известный натуралист-любитель, археолог, механик, доктор философии, магнетизер и член бесконечного числа обществ. Ринарди давно состоял с ним в переписке по некоторым ученым вопросам. Профессор знал, что барон приехал в Петербург, и даже собирался туда съездить для свидания, но Велиар остановил его, написав, что вскоре отправляется на Волгу, на Кавказ, в дальнее путешествие по России, но на обратном пути, вероятно следующей весной, сам посетит Финляндию. С тех пор прошло несколько месяцев, и вдруг, приехав на день в Гельсингфорс, профессор узнал, что знаменитый ученый находится в городе и расспрашивал о нем и его имении. Ринарди очень обрадовался встрече, как рассказал он дочери в тот же вечер, а еще более обрадовался тому, что барон изъявил желание его сам навестить, посмотреть на изобретенный им воздухоплавательный снаряд и другие, новые приспособления открытой профессором силы, свойства и суть

которой он содержал в величайшей тайне.

— Ради бога, отец! — вскричала Майя, вспомнив свое видение в царстве гномов. — Неужели ты все расскажешь и откроешь неизвестному нам человеку? Будь осторожен! Не доверяйся сразу!

— Зачем же осторожничать и не доверять! — смеясь, вскричал профессор. — Что я ему буду открывать, душа моя, когда он сам все гораздо лучше меня знает? Послушала бы ты, как на пути в наше имение он говорил мне о своих опытах с одним изобретателем в Филадельфии! Тот американец, как видно, дошел до таких же результатов, как и я, и точно так же не умеет справиться с окончательным подчинением действий найденной им силы своей воле: не хватает у нас главного, чего-то неуловимого, для овладения энергией…

— Искорки первобытного огня, — в задумчивом бессознании перебила его дочь. — Животворящей Аказы.

— Что?! Что ты сказала? Откуда ты знаешь?.. — удивился Ринарди. — Впрочем, чего только ты не знаешь! — спохватился он. — Да! Аказа, небесный огонь, как называли ее древние, была известна розенкрейцерам под определением prima materia

[3], потому что они ведь не отделяли материю от силы, от животворящего, безостановочного космического эфира Вселенной. Велиар идет еще дальше: он держится определения санскритистов и называет ее душой Вселенной. Animus mundi — великое начало и причина всего. Ты расспроси-ка его о всестороннем значении слова Аказа. Он расскажет тебе, что оно обнимает все принципы бытия: свет, силу, волю, творчество, дух — и самую любовь!

— Да-да, и он так сказал: любовь в душах людей и животворный огонь, все оплодотворяющий в природе, — есть одно и то же! — невольно вскричала Майя.

— Ты слышала, как барон говорил это? — спросил отец. — Но ведь тебя с нами не было.

— О нет, слов барона я не слыхала, да и не стану с ним говорить. Он мне антипатичен.

— Напрасно! Я понимаю, что тебе не нравится его чересчур утонченное обращение, ты ведь таких не любишь…

— Не только это, а все мне не нравится в нем! Этот человек — воплощение зла и лицемерия. Предупреждаю тебя, отец: не доверяйся ему ни в

---

[3] Сноски: 3
Первичная материя (*лат.*).

чем. Сколько ни есть в нем сил и дарований, он все их употребит на вред и пагубу тех, к кому имеет доступ. Ты знаешь: я в людях не ошибаюсь.

— Не преувеличивай, дитя мое. И наконец, хотя бы и так! Мы ведь с бароном не навеки сошлись. Знания его велики, и мы постараемся их позаимствовать, а дурные его свойства пусть при нем и остаются.

— Если бы это вполне зависело от нас, — задумчиво возразила девушка. — К несчастию, не одни лишь физические эпидемии заразительны, а я вижу, какой черной атмосферой дышит этот человек.

Упомянутый человек между тем не только видел все происходящее, но слышал весь разговор отца с дочерью в тот вечер своего прибытия и во все последующие дни — как слышал, видел и знал беспрепятственно почти все, что хотел.

Когда Ринарди простился с дочерью и они разошлись, барон Велиар, сидевший в кресле в своей далекой спальне до того неподвижно, что его можно было принять за мертвого, очнулся. Презрительная улыбка, столь редкая в присутствии свидетелей, оживила тонкие черты его выразительного лица. Он оперся головой на руку и несколько времени глубоко размышлял о чем-то.

«Да! — чуть не вслух сорвалось с языка у него в заключение. — Кажется, я им сделал слишком много чести — этому маньяку неплодотворных изобретений и его неясно видящей ясновидящей. Они, наши светлые братья, очень наивны, как и всякая добродетель, если замышляют поколебать наше влияние на мир такими орудиями, как эти двое, отец и дочь! Она способнее… но, кажется, нам и сильнейших претендентов на посвящение в светлые таинства и на благотворные перевороты в духовном мире человечества удавалось отстранять в ряды безумных и несмысленных юродивых! Подождем. Вероятно, обычные средства помогут».

Почти все следующие дни хозяин и гость провели запершись в лаборатории. Встречаясь с дочерью за поздними обедами, профессор так был занят своими размышлениями, что почти не говорил; барон, напротив, бывал очень разговорчив и так красноречиво рассказывал, что несколько раз возбуждал интерес Майи. Ей стало даже казаться, что она преувеличивала темные свойства их посетителя. Черных испарений, окружавших его, она положительно более не замечала. Только одно поведение Газели, которую приходилось запирать во избежание неприятно-

стей, поддерживало ее опасения. Собака не могла выносить близости де Велиара спокойно. Она или лаяла и металась в небывалых припадках злобы, или, встретясь с ним взглядом, визжала и пряталась в ужасе.

Страх животного уступал злобе только в те минуты, когда барон приближался к барышне. Газель ни за что не дозволяла Майе подать ему руку, в бешенстве бросаясь на гостя. Пришлось ее запирать во всю неделю пребывания у них барона.

— Что вы делаете сегодня вечером, m-lle Marie? — спросил ее де Велиар раз, когда обед приближался уже к концу.

— Я?.. Ничего особенного. Поиграю, вероятно. А когда надоест музыка, пройдусь по парку.

— Вы не боитесь выходить так поздно?

— О нет. Чего ж бояться? Здесь тихо. И к тому же я беру с собой Газель, а вы видите, как ревностно она меня оберегает, — улыбаясь, прибавила молодая девушка.

— Даже чересчур ревностно… Но вряд ли на ее охрану можно во всех случаях положиться. Серьезно, не советую вам ходить в сумерки далее сада. Мне говорили, что в окрестностях много волков.

— Волков у нас довольно, но теперь слишком рано для их появления. Позже, зимой, они ходят целыми стаями.

— Не в числе дело, Майя, — отозвался профессор. — В городе опасаются бешеного волка. Было несколько случаев нападений… Собираются делать облавы, не дожидаясь даже снега.

— Вот видите. Вместо прогулки подымитесь лучше к нам на вышку, в лабораторию вашего батюшки, m-lle Marie. Мы устроили там приспособление к подзорной трубе, которое придает большой интерес нашим наблюдениям. Если только ночь будет, как надо надеяться, ясная.

— Да, это изумительно! — воскликнул Ринарди. — Я все думаю о вашем увеличителе, барон, и не надивлюсь… Представь, Майя, барон имеет множество удивительных инструментов в своем волшебном бауле — так я назвал его ящик…

— Ваш батюшка оказал незаслуженную честь моему дорожному несессеру, — добродушно смеясь, вставил де Велиар.

— Разве незаслуженную? Хотя бы ваш разрушающий и созидающий эфир… Или вот этот увеличитель! Представь себе, Майя: маленький ящичек, не больше моей табакерки. Барон ставит его на стол рядом с моим микроскопом и про-

водит к предметному стеклу проволоку, и что же ты думаешь — микроскоп приобретает силы утысячеренные! То есть вот до чего: ты помнишь, в какую ширину представляется волосок в моем настольном микроскопе? Тонкой веревочкой, не правда ли? И вот эта веревочка превращается в корабельный канат, если приложить к краю стеклышка проволоку увеличителя барона де Велиара.

— Неужели? Как же мы ничего не читали об этом инструменте? — осведомилась Майя. — Как ты сам не слыхал, папа? Ведь он должен произвесть переворот в научных исследованиях!

— Без сомнения. Но барон существование прибора открывать никому не желает.

— Возможно ли?! Мне кажется, это преступление против науки!

— Тайна моего маленького механизма принадлежит не мне, — добродушно возразил барон. — Открывать его миру я не имею права. Но охотно могу услужить вашему батюшке, оставив ему этот экземпляр. Сегодня мы будем испытывать силу увеличителя на большом телескопе, наблюдая звезды и луну. Не пожелаете ли вы к нам присоединиться, m-lle Marie?

— Разумеется, и с большим удовольствием, —

согласилась Майя. — Я так благодарна вам за отца.

Профессор между тем засы́пал гостя благодарностями и не совсем решительными отказами воспользоваться его щедростью.

— Эта маленькая машинка мне ровно ничего не стоит! — отклонил и те и другие барон. — Я всегда могу получить дубликат.

Глава VII

В ожидании темноты барон после обеда попросил Майю сыграть что-либо и пришел в крайний восторг от ее музыкальных фантазий. А также удивил девушку несколькими замечаниями, как нельзя лучше совпавшими с ее собственными представлениями.

— Это блестяще! Очень оригинально!.. Будто бы видишь танец саламандр в огненных вихрях пожара, — заметил де Велиар.

— Такова и моя мысль, — согласилась Майя. — Но как вы могли напасть на нее? Я обыкновенно списываю музыку с окружающего. Вот и теперь мне привиделась пляска саламандр там, в камине, — кивнула она на ярко растопленный в глубине гостиной очаг. — Я ведь фантазерка!

— О да, я знаю. Но ваш термин не верен: вы не фантазируете, а действительно видите то, что сокрыто от более грубых натур, и великолепно рисуете звуками.

Майя ничего не отвечала, а только подумала: «Неужели и он видит то, что вижу я?» Но говорить об этом с гостем не захотела, все же сильно ему не доверяя, хотя восторженные отзывы и внимание

де Велиара льстили ей.

«Она осторожна, — в то же время подумал барон. — Положительно ее следует опасаться куда более, чем этого наивного старика… Она довольно сильна, сильна и очень способна. Надо, кажется, прибегнуть к содействию обычных органических сил, чтоб отвлечь ее от духовных стремлений».

— Ну, а теперь что вы хотите воспроизвести? — заговорил он через несколько минут тихо, осторожным шепотом, будто боясь спугнуть мысли девушки или заглушить мелодию нежного andante [4], к которому перешла она после бурных аккордов. — Затишье после пожара и грозы… Светлеющий горизонт и, на его ярком фоне, силуэт приближающегося любимого создания?

Майя опустила руки и стремительно встала. Она только что думала о Кассинии, о его возвращении к ней.

— Нет! — шутливым тоном, но заметно побледнев, вскричала она. — С вами опасно предаваться мечтам! Лучше пойду пройдусь по саду. Посмотрю на восход луны, пока вы не позовете меня в нашу обсерваторию.

И она хотела было исполнить свое намерение,

---

[4] Сноски: 4
Анданте (*ит.*) — умеренный темп в музыке.

но профессор ему положительно воспротивился:

— Куда идти на ночь глядя? Не лучше ли всем нам сейчас же подняться в башню? Что ж, что луна не встала; до ее восхода можно посмотреть на звезды: они еще ярче, пока нет луны.

Майя очень любила наблюдения над светилами небесными; ей часто случалось долгие часы проводить у отцовского телескопа. Теперь же ее чрезвычайно интересовал увеличительный аппарат, о котором профессор рассказывал такие чудеса. Она поглядела в окно на ясные сумерки, на небо, в глубине которого уже мигали первые звезды, и вдруг, загоревшись желанием посмотреть на них ближе, вскричала:

— Ну что ж, пойдемте! Пойдемте наблюдать за тем, как люди живут на Марсе и Венере.

И она, весело оглянувшись на гостя и отца, чуть не бегом побежала вперед, в кабинет профессора и его лабораторию, откуда винтовая лестница вела на вышку, в стеклянный павильон, именуемый обсерваторией. Майя не думала о странном явлении, с нею происходившем; оно бы ее поразило, будь ей дано его заметить. Куда девалась прежняя антипатия к барону? Девушка и думать о ней перестала! Ей стало так легко, так весело, как с детства не бывало. Знай Майя опьяняющее

действие наркотических средств, она могла бы подумать, что ее чем-нибудь опоили, — так горячо струилась в ней кровь, так быстро билось и временами сладко замирало сердце.

Они взошли на вышку. Барон добродушно посмеялся над тем, что барышня забыла их годы, судя по своим, и указал на профессора, немного запыхавшегося и отставшего от них на лестнице с лампой в руках.

— Кажется, не стоило заботиться об освещении, — смеясь, заметил Ринарди, ставя лампу на стол. — Здесь так светло!

В самом деле, хотя уже опустились сумерки и восток освещался заревом восходящей луны, но все же в стеклянной вышке было необыкновенно светло, словно она сама сияла внутренним светом.

— Чудо что за ночь! — вскричала Майя. — Откуда этот ясный свет?

— Вероятно, ваше присутствие разливает его, — любезно отозвался де Велиар. — Больше нечем объяснить. Ринарди, потушите же вашу смрадную лампу. Она ничто, когда блеск глаз m-lle Marie до того ярок, что я, право, боюсь, как бы пред ним не померкли светила небесные.

Милой шутке рассмеялись. Барон принял-

ся устраивать свой аппарат рядом с довольно большим телескопом профессора. Отец и дочь следили за движениями гостя и рассматривали крошечный серебряный ящичек-увеличитель с величайшим интересом. Де Велиар установил прибор и вынул из него соединительную проволоку, укрепленную одним концом внутри ящичка. Но прежде чем подвести ее к линзам телескопа, предложил Майе испытать странное, но чрезвычайно приятное, как он уверял, действие токов, взяв провод в руку…

Майя хотела уж протянуть к проволоке ладонь, как вдруг почувствовала, что не может поднять ни правой, ни левой руки. Они будто приросли к ее телу.

В ту же секунду она вспомнила, что давно, в детстве, с нею дважды случалось такое состояние. Раз она хотела достать из пылающего камина красную звездочку, мелькавшую словно ей на потеху. Майе тогда было не более трех лет, и она забыла, что огонь жжется.

В другой раз девочка чуть не упала в пруд, мчась стремглав и в пылу веселья забыв о водоеме, и вдруг окаменела на месте, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Впоследствии Кассиний объяснил своей под-

опечной, что сам остановил ее и что, даже если его нет рядом, он хранит Майю издали.

«Помощь моя с тобой!» — вспомнились ей недавние слова невидимого друга.

— Нет, благодарю вас, лучше в другое время, — сказала она барону, едва владея собой. — Теперь жаль каждой секунды. Пожалуйста, устройте скорее ваш эксперимент. Мы с папá сгораем от любопытства.

«Сама предусмотрела или предупреждена тем, который с нею? — подумал де Велиар. — Хотел бы я знать наверное! Надо выпытать у отца ее. Но противник один из сильных! Один из сильных…»

Пока эти соображения втайне занимали его, въяве речи гостя, его улыбка и поспешность — все выражало искреннюю готовность сообразоваться с желаниями барышни.

Через пять минут все было устроено, и барон навел телескоп на одну из крупных звезд, еще довольно слабо мерцающих на западной стороне неба.

— Так как мы начнем наблюдения наши не для пользы собственно науки, а скорее для удовольствия, позвольте, дорогой коллега, уступить первую очередь даме, — с улыбкой предло-

жил барон и, не дожидаясь ответа, обернулся к Майе: — Place aux dames! [5] Не угодно ли вам, m-lle Marie, полюбоваться?

Не без волнения и недоверия попробовала Майя пошевелиться: она боялась, что ей не будет позволено и смотреть в телескоп. Но нет: члены ее были свободны. Девушка беспрепятственно поднялась на ступеньку, взглянула в окуляр и замерла в очаровании.

Ей представилось сказочное небо, переливающееся разноцветными светилами. Иные сияли как брильянты, другие голубели светом прозрачной бирюзы или пылали багровым пламенем. Разнообразие и красота были бесконечны; но не того ожидала девушка.

— Как же так? — спросила она в недоумении. — Я думала видеть одну планету, а тут целое море очень странных, крупных и красивых звезд, но более ничего.

— Это потому, что я сначала показал вам атмосферу, небосклон той дальней планеты, которую вы сейчас увидите в подробности, если вам надоело ее небо… Позвольте на одну минуту. — И, став на ее место, Велиар направил трубу несколько

---

[5] Сноски: 5
Дамы первые (*фр.*).

вправо. — Вот, не угодно ли теперь полюбоваться.

Он отступил, и Майя снова приникла к окуляру. На этот раз пред ней была лишь часть, как показалось ей, неведомой планеты, освещенной радужной атмосферой. Планета плавала в прозрачных волнах эфира, как бы окутанная ими. Волны постепенно менялись, переливаясь всеми цветами, но окраска была так нежна, что не мешала разглядеть очертания местности, гор, гигантской растительности и светлых пятен — озер или целых морей. Не было заметно движения, но виднелись места, похожие на муравейники, а иные и на правильные клетки, весьма схожие с постройками в городских кварталах.

Глава VIII

Майя рассказывала обо всем, что видит, по мере того как зрелище поражало ее.

— Неужели все эти линии и правильные четырехугольники образованы зданиями и городскими улицами? — спрашивала она. — Неужели та далекая жизнь подобна нашей и звезда эта обитаема и населена такими же людьми, как мы?

— Очень вероятно, — отвечал де Велиар. — Если и не совсем такими, то все же приблизительно нам подобными. Недаром же сотворены все эти миры! Большинство их, если не все, обитаемы, и тамошние жители, верно, как и мы, воображают себя царями мироздания, для которых создана Вселенная… Я покажу вам, если хотите, потухшую планету рядом с этой землей, ее луну, быть может. Вы тогда увидите, какая разница между нею и этой красавицей, полною сил.

— А нельзя ли прежде усилить действие вашего увеличителя, барон? — попросила девушка. — Еще немножко — и я бы разглядела постройки, а то и людей!

— Еще немножко — и стекла телескопа вашего батюшки разлетелись бы вдребезги! — смеясь,

возразил барон. — Нет, усилить действие моей машинки невозможно. Да знаете ли вы, насколько увеличена сила стекол в телескопе? Я вам сейчас покажу. — И барон без лишних слов отнял проволоку от окуляра.

— Что это? — вскричала Майя. — Зачем вы передвинули трубу?

— Я и не думал.

— Да как же?.. Где же?.. Смотрите, видна только обыкновенная далекая звезда и больше ничего!

— Ну разумеется. Это и есть планета, которой вы сейчас любовались. Она ведь одна из самых отдаленных; не помню даже, как ее называют астрономы.

— Что вы хотите сказать?

— Ровно то, что говорю. В телескопе планета видна такой, какою вы ее видите теперь: блестящей, несколько увеличенной звездой, только и всего. А приложите к краю стекла мою проволоку, как я это делаю в настоящую секунду, — и блестящая звезда приблизится настолько, что станет различимо даже незначительное пространство на ее поверхности. Видите?

— Вижу. Изумительно!

— Неужели действие так сильно? — удивился профессор. — Ты совсем монополизировала теле-

скоп, Майя! Дай хоть взглянуть.

— Посмотри, папá, обязательно посмотри! Это просто волшебство. Барон, пожалуйста, покажите ему планету, как мне, а потом окружающее ее небо.

И Майя отступила, дав место отцу. Но в это время барон незаметно отсоединил проволоку.

— Ну, папá, что ты видишь? Не правда ли, восхитительно?.. Невероятно!

— Гм, да… Да, очень большая звезда, — пробормотал разочарованный профессор.

— Как так «очень большая звезда»?! Целый мир! Другой земной шар, во сто раз лучше нашего. Какие цвета! Какое освещение!

Добродушный смех де Велиара привлек внимание молодой девушки.

— В чем дело? Барон, да вы сняли проволоку! Вы разъединили цепь. Ну можно ли?.. Скорее наденьте!

И Майя, забывшись, бросилась вперед, чтобы выхватить из рук барона магическую проволоку, но в ту же секунду ее словно ослепила молния. Девушка приросла к месту, ничего не видя, не слыша и не в состоянии пошевелить пальцем.

Оцепенение это продолжалось несколько секунд, но барон успел заметить свое вторичное

фиаско и, не подавая в том ни малейшего вида, уже сам приблизил проволоку к стеклу и позволил профессору изумляться представшим ему зрелищем и на все лады восторгаться волшебной силой увеличителя.

И странно: должно быть, сильно было влияние средств де Велиара, когда и после этого, уже повторного предупреждения Кассиния о положительной опасности сообщений с гостем, Майя все же не удалилась, а весь вечер провела возле барона, увлеченная диковинными зрелищами, представленными им в ту дивную ночь на поверхности звезд и полной луны, вскоре царственно выплывшей на безоблачное небо.

Поздно, уже после полуночи, разошлись хозяева и гость. Майя шла в свою комнату очарованная, словно бы опьяненная даже. По крайней мере, она совершенно не сознавала действительности. Не заметила, как ее раздела горничная, как опустила в комнате все занавеси и шторы, затемнила лампадку и вышла, пожелав госпоже спокойной ночи. Майя ничего этого не запомнила и даже не слышала жалобных взвизгов запертой Газели, о которой впервые позабыла. Как сноп упала девушка в подушки и в ту же минуту заснула.

«Что это нынче с барышней? — недоумевала

горничная. — Будто нездорова, что ли? И про Газельку-то не спросила. Надо будет выпустить псинку на ночь. Пусть пробежится, сердечная, а то ишь ее, как в чулане заливается!»

И горничная вышла и заперла за собою осторожно двери. Во всем доме уже было тихо и темно.

На этот раз без грез и без видений, тяжелым сном почивала Майя. Долго ль спала она? Девушка не могла бы сказать. Она не открыла еще крепко сомкнутых век, когда в ней пробудилось сознание, что необходимо проснуться.

«Что же, разве уж день и надо вставать?.. — бессознательно спрашивала она себя. — Но отчего я не могу?.. Как трудно дышать! Как тяжело…»

— Ох! — громко простонала она, разметавшись, но не в силах ни подняться, ни даже открыть глаза.

Словно в ответ в ночной тиши раздался тоскливый, протяжный вой.

Что-то налегло тяжким гнетом на грудь спящей, какой-то невыносимо яркий свет резал ей глаза. Сердце сильно, учащенно билось, и непонятная истома и страх — вместе и боязнь, и сладкое томление — захватывали дух, мутили сознание… Майю укутало, казалось ей, огненное облако и

куда-то, к чему-то влекло… Влекло неотвратимо!

И среди всех этих чувств, наперекор им, всплывало сознание, что надо, надо проснуться. Хоть умереть, но открыть глаза!

И сила этого сознания восторжествовала: Майя подняла веки.

Теперь она видела, но сообразить ничего не могла и не могла двинуть ни одним членом. Она была убеждена, что лежит на своей кровати, но почему же так тяжко и так страшно холодно? Куда ее тянет?

Тоскливый, за душу хватающий вой окончательно пробудил ее.

Что это?.. Кто так открыл шторы? Полный месяц глядел в окно своим искривленным страдальческим ликом и ярко освещал бледную Майю, в одной сорочке стоявшую среди комнаты пред дверями, широко отворенными в длинный темный коридор. На дальнем конце этого коридора находились нежилые комнаты для гостей, и туда именно влекла и тянула Майю какая-то неодолимая сила.

Нет, нет! Она туда не пойдет! Там опасность, там смерть!

С нечеловеческим усилием, вся обливаясь холодным потом ужаса, Майя рванулась прочь от

черных дверей и тут только осознала, что она совсем не в своей комнате, а внизу, в пустой гостиной.

«Что со мной?.. Как я здесь?.. Куда я шла?» — вихрем проносились вопросы в воспаленном мозгу девушки.

Она чувствовала, что ее охватывает дурнота, но сознание, что она сгинет, если упадет в обморок, поддерживало в ней борьбу. Без сил опустилась Майя в кресла.

В ту же минуту противоположная стеклянная дверь в сад со звоном стремительно отворилась и, точно бешеная, с визгом и пронзительным лаем, в нее ворвалась Газель, все опрокидывая на пути. Задетый ею столик со множеством фарфоровых и стеклянных безделушек упал и перебудил весь дом.

На одну секунду верная собака остановилась возле полубесчувственной Майи, потом метнулась, как угорелая, к коридору и с громким озлобленным лаем понеслась к комнате, которую занимал барон де Велиар.

Весь дом сбежался на эту кутерьму: профессор, челядь со свечами — все бросились к молодой хозяйке, но в ту же секунду она сама встала и отчаянно устремилась к дверям, открытым на-

стежь на террасу.

Туда только что промчалась, вся ощетинившись, словно в полном припадке бешенства, ее собака, верная Газель.

— Газель! Назад! Сюда! — кричала Майя отчаянно.

И вдруг, вся задрожав, умолкла, протянула руку, на что-то указывая вдали, и замерла как статуя, вся освещенная луною.

Глаза собравшихся устремились за цветник.

Там, на поляне, облитой сиянием, у опушки парка стоял огромный зверь и, оскалив зубы, поджидал летевшую на него Газель. Собака стрелой упала на грудь хищника, и оба, сцепившись, исчезли в тени деревьев.

— Волк! Бешеный волк! Помилуй нас, Боже! — заговорили люди.

Майя сделала шаг к отцу и упала к нему на грудь без чувств. Нервы ее не выдержали потрясения. Пораженная случившимся, в последнюю минуту она еще более испугалась того, что лишь одна видела совсем не волка…

Во всем доме не проснулся от страшного шума лишь один человек — барон де Велиар.

Он вышел на другое утро из своей комнаты свежий и улыбающийся, как всегда.

Гостя поразили рассказы о загадочном происшествии. Он очень дивился, сокрушался о погибшей Газели, а еще более — о болезни m-lle Marie, которую больше не видел. Барон отбыл на следующий день, наобещав профессору с три короба всяких присылок и сведений. На самом деле де Велиар решился уехать еще накануне, убедившись, что в настоящее время, несмотря на гибель Газели, он бессилен против Майи…

Когда девушку увели в спальню почти без чувств, она упала на постель и уже готова была погрузиться в одолевавший ее сон, как вдруг перед закрытыми ее глазами пронеслись блестящие буквы, которые сложились в слова, а потом и в целую фразу: «Собери силы; под изголовьем твоим охранный талисман, надень его и будь спокойна». Нужна была вся привычка Майи беспрекословно повиноваться Кассинию, чтоб ей достало духу сознательно исполнить его требование. Одну минуту Велиар надеялся, что она заснет, не успев этого сделать. Но нет! Вот она засунула руку под подушку, вынула нечто вроде медальона — какой-то темный камень на цепочке — и, даже не взглянув на него, машинально накинула цепочку на шею…

Засыпая сладко, Майя не чувствовала богохуль-

ного проклятия темного гостя, обрушившегося на ее голову и голову Кассиния. Теперь знания и силы барона Велиара потеряли действие. Он это знал, и не было ему больше нужды оставаться в доме профессора.

«На него сможем действовать и на расстоянии, — решил барон. — А вот с нею надо найти средство справиться… Они теперь ее предупредят, наверное. И вооружат еще сильнее!..»

Самым удивительным в ночной передряге было то, что на теле мертвой Газели не оказалось ни одной раны — ни единого следа волчьих зубов.

Глава IX

— Майя, проснись, дитя мое! Давно пора. Братья и сестры ждут тебя… Ты хорошо отдохнула?

Майя не в первый раз слышала над собой этот ласковый голос, но медлила открыть глаза, так сладко ей спалось, так легко дышалось на мягком, нежном ложе, спросонья казавшемся ей сотканным из лебяжьего пуха. Наконец она сделала над собою усилие, подняла веки и огляделась вокруг, ничего не понимая…

Она лежала на большой возвышенности, откуда во все стороны открывался далекий, величественный, чудно красивый вид. То, что ей казалось постелью из лебяжьего пуха, было высеченным в куске белого мрамора каменным ложем вверху пригорка, который до самого подножья был иссечен такими же изваянными в груди его местами отдохновения. Он весь был окружен винтообразно сбегавшими вниз галереями с беломраморными колоннадами и портиками, кое-где красиво драпированными белыми же или пурпуровыми с золотом тканями, то опускавшимися донизу, то подобранными величавыми складками.

Из-за пологов живописно открывались просветы на чудно красивые окрестности. Высочайшие цепи гор, снизу покрытые богатой растительностью, а выше увенчанные горделивыми снежными вершинами, перемежались долинами, где светлые озера блистали среди рощ, благоухавших всей прелестью тропических и северных деревьев и цветов. Холмы и луга были усеяны разнообразными жилищами; полуфантастические здания всех стилей выглядывали из-за зелени и пышных цветников.

Множество водопадов и светлых ручейков стремилось каскадами, перерезывало холмистую местность по всем направлениям. Иные потоки впадали в зеркальные озера; другие, пенясь и журча, по камням бежали далее, к синему морю. С одной стороны горы широко расступались, и там, в блиставшей бирюзой и золотом дали, безоблачное небо сливалось с безбрежным океаном.

Но прямо перед изумленной Майей раскинулась долина, вся окруженная темными лесистыми холмами; под цветущей дубравой, вместе с ней опрокинувшись отражением в светлое озеро, возвышалось большое уединенное здание. То было нечто вроде индийского храма со многими этажами, галереями и башенками.

Не веря своим глазам, молодая девушка закрыла их, ослепленная. Потом протерла и вновь открыла… Пред нею были те же волшебно-чудные картины: ничто не исчезло, ничто не изменилось. Она привстала и хотела внимательнее осмотреться; но голос, будивший ее только что, послышался опять, и она увидала позади себя высокую женщину, которая приветливо ей улыбалась.

— Пойдем, — говорила женщина, — все хотят тебя видеть и ждут давно. Надеюсь, ты успела отдохнуть с тех пор, как брат Кассиний принял тебя к нам?

Майя ласково улыбнулась в ответ. Хотя девушка не могла бы назвать имя этой женщины или сказать, где ее видела, но тотчас вспомнила говорившую, чувствуя, что давно и хорошо ее знает, и нисколько не удивляясь ее присутствию.

— Я отдохнула прекрасно, — отвечала она женщине, — и готова следовать за тобой, куда прикажешь. Давно, скажи, привел меня сюда Кассиний? Какое чудесное место!.. Как мне жаль, что я, может быть, потеряла много времени во сне.

Женщина снисходительно усмехнулась.

— Ты его не потеряла, если раз очутилась среди нас, — возразила она. — Твой сон был нужен для совершения пути. Время должно цениться

не само по себе, а по той пользе, с которой оно проходит. Готова ли ты следовать за мной?

— Совершенно готова. Но скажи мне, где я? Где Кассиний, увижу ль я его наконец? И куда он привел меня? Не здесь ли тот приют истины и великой любви, о котором он говорил мне?.. Все здесь так прекрасно! Милая… как звать мне тебя? Я не помню твоего имени. О, какое дивное место и как мне хорошо!

Глаза Майи блистали. Она чувствовала себя так весело, так легко, словно у нее выросли крылья, словно она готова подняться на воздух и полететь. Красивая высокая женщина смотрела на девушку ласково, снисходительно улыбаясь, как взрослые смотрят на детей.

— Ты задала столько вопросов сразу, дитя мое, что их трудно упомнить, — отвечала она. — Меня зовут Софией. Кассиния ты увидишь. Он привел тебя в это преддверие нашей обители, чтобы спасти от злого влиянья одного из врагов правды и противников людского спасения…

— Де Велиара! — вспомнила Майя, и на лице ее отразилась тревога. — Но как же быть с отцом? — с волнением спросила она. — Он испугается, что меня нет! И не перенесет этого!

— Не беспокойся, дитя мое. Мы бы не поступи-

ли так жестоко. Ты духом с нами, но для отца и прочих оставленных тобою ты спокойно спишь и проспишь долго, не возбуждая ничьих опасений… На этот раз тебе с нами нельзя оставаться, но потом вернешься, если захочешь сама — и если устоишь против соблазнов. Пойдем.

Они стали спускаться по бесконечным галереям почти без ступеней, сводившим к подножью холма.

Изредка лишь более крутые лестницы взбегали на отдельные террасы, куда, как сказала Майе спутница, уходили сестры, желавшие уединиться для размышлений или занятий. Там, говорила она, за террасами, отделенными от глаз драпировками вдоль колоннад, находились потайные гроты, где сестры могли предаваться одиночеству, не боясь помех.

— У каждой из нас есть такая келья, — пояснила София. — Но если нет у нас особых занятий или влеченья к созерцанию, мы чаще бываем все вместе.

— Так здесь монастырь?.. Кого ты называешь сестрами? — удивилась Майя.

— Сестрами и братьями мы все зовем друг друга. Разве ты не сестра мне по духу?

Они сошли наконец в тенистый парк, где пели

тысячи птиц, а на лужайках, покрытых вольно растущими цветами, паслись группами дикие звери и домашние животные. Скоро путницы очутились в той прелестной долине, которая видна была сверху.

— Это лабиринт — то, что издали казалось рощей, — сказала София. — Туда ты не можешь проникнуть. Даже нам, посвященным, не всем и не всегда открыт доступ к жилищу самых высоких адептов, каков есть Кассиний… Да вот и он идет сам.

Глава X

Радостно забилось сердце Майи. Она ускорила шаги навстречу своему учителю. Белый брат приветствовал ее улыбкой.

— Добро пожаловать, — сказал он. — Отдохни с нами от тревог и дурных влияний, наберись сил вести дальнейшую борьбу с искушениями, жизненными испытаниями и печалями. Укрепись, чтоб выйти победительницей и удостоиться миссии избранных.

— Кассиний! — вскричала девушка. — Неужели ты не насовсем увел меня? Неужели мне придется возвращаться? Правда, там отец, но… — Майя опомнилась и смущенно умолкла.

Глубокий и печальный взгляд был ей ответом.

— Ты огорчаешь меня, дитя. По какому же праву я могу тебя взять в эту обитель счастия, конечную для смертных, не разлученных окончательно с жизнью во плоти? Чем ты заслужила такое? Еще вчера ты чуть не пала жертвой любопытства и неосмотрительности. Несмотря на мои предостережения, не сумела противостоять грубым сетям злонамеренного человека! А теперь хочешь сразу остаться с избранными по заслугам, с нашими

много страдавшими и многое сумевшими вынести и преодолеть сестрами по духу, которые настолько выше тебя, что ты даже и лицезреть их недостойна!.. Посмотри вокруг себя: видишь ли ты кого?

Майя оглянулась, изумленная. Она здесь еще ни души не видала, кроме Кассиния и Софии, но теперь и той не было возле нее… Девушка осталась наедине со своим учителем.

Она так ему и сказала.

— Вот видишь! А между тем у нас равные по заслугам всегда видят друг друга; тогда как высшим надо сделать усилие воли, чтоб явить свой зримый образ.

— Как же так? — изумилась Майя. — Я ведь ясновидящая и вижу то, чего другие никогда не видят!

Белый брат усмехнулся.

— Оставь гордыню, бедная девочка! Не прибавляй нового препятствия к скорейшему достижению истинной высоты. Что ты видишь там, на своей пропитанной грехом и нечистотою земле? Пустые проявления сил природы или темные создания злой воли, злых помыслов человека. Посмотри: сюда и доступа нет этим недостойным, безличным, безвольным, отрицательным суще-

ствам. А те, кого могут видеть лишь достойные, для тебя незримы. Прошу вас, братья и сестры мои, покажитесь ей, подтвердите мои слова! — воззвал Кассиний, величественно махнув рукой.

Майя отступила, пораженная. На миг все дубравы, поляны, холмы и зеленые кущи оживились ласково или печально улыбавшимися лицами. Величественные Белые братья и сестры всех возрастов, кроме детства, всех типов и народностей, гуляли по рощам и долам, только что казавшимся девушке до того уединенными, что она несколько раз порывалась спросить Софию, отчего нигде не видно людей. Теперь вот и София стояла снова перед ней в группе нескольких других.

— Но отчего же я не вижу? — смущенно пробормотала Майя. — София! Почему я перестала видеть тебя, как только подошел Кассиний?

— Потому что я перестала желать, чтоб ты меня видела. Я стала не нужна тебе более, — ласково возразила София.

— Вот как, — печально промолвила Майя. — Я знала, что мы… То есть такие, как я, — поправилась она, жестоко смущаясь, — достигают возможности становиться невидимыми плотским очам людей, которые не одарены вторым зрением; но не думала, что и я не всё и не всех

могу видеть… — И она глубоко вздохнула, едва сдерживая слезы.

К ней со всех сторон приступили с утешениями:

— Не огорчайся, дитя мое. Это придет.

— Мы все прошли чрез эти стадии.

— Большинство было еще гораздо несовершеннее тебя… Ты ведь так молода!

— Духовные силы развиваются нравственным самосовершенствованием… Работай над собою, и достигнешь желаемого, как достигли мы!

— А что будет, если я захочу вас увидеть? — сквозь слезы спросила Майя. — Если я употреблю на это желание всю силу своей воли? Быть может, тогда мне удастся…

— Быть может — если мы не будем тому противиться, — отвечала София. — Все дело в том, чья сила возьмет верх. Тех из нас, кто отнесся бы пассивно к твоему желанию, ты, вероятно, увидала бы…

— Да! Сила воли — великий рычаг во всем и всегда. Поэтому благоразумные создания им злоупотреблять не должны, — серьезно сказал Кассиний. — Теперь не время и не место, Майя, для бездельных опытов. Я должен побеседовать с тобою серьезно, прежде чем ты возвратишься

домой. Пойдем со мной… Здесь тебя, пожалуй, будет теперь смущать невидимое многолюдство, а я проведу тебя в совершенно уединенное место.

Кассиний пошел вдоль зеленой изгороди-стены до поворота и там исчез. Прежде чем последовать за ним, Майя оглянулась и попробовала сосредоточить всю свою волю на желании увидеть хоть кого-нибудь из только что окружавших ее людей… Напрасно! Все снова превратилось для нее в цветущую пустыню.

— О Майя, Майя! — укоризненно проговорил ожидавший ее проводник. — Насколько же должен я любить тебя, чтобы терпеть такое неповиновение!.. Мне следовало бы тебя тотчас вернуть назад и предоставить твоей судьбе. Быть может, я не всегда буду иметь право так снисходить к твоим проступкам. Смотри, Майя, чтобы непокорность и тщеславие не одолели твоих хороших качеств и не погубили тебя.

Пылая стыдом и раскаянием, свесив повинную голову, Майя вошла в маленькую дверь, пробитую в скале, и, не смея возвысить более голоса, молча следовала за своим спутником по бесконечным подземным ходам, по сумрачным лестницам, все дальше вверх… Витая узенькая внутренняя лестничка постепенно суживалась

кверху и в спиралях своих поворотов становилась круче и круче. Майе казалось, что они лезут на бесконечную колокольню.

Наконец они достигли круглой платформы не более двух саженей ширины. Вокруг сплошных стен этой воздушной башни, начинаясь на высоте человеческого роста, а кончаясь под самым голубым хрустальным куполом в виде блестящего конуса, покрывающим башню, точно ясным сводом неба, шли один над другим, уменьшаясь в размере, семь рядов частых круглых окошек. Их было по семи в каждом ряду, по семи вдоль и поперек, этих оконцев без рам — просто кружков матовых, белых стекол. Снизу они представлялись блестящими бусами, нитями жемчуга, семь раз охватившими островерхую вышку. В средине комнатки стоял стол со всем нужным для письма, и к нему от каждой из блестящих бусин были проведены проволоки, легко сообщавшиеся и разъединявшиеся со стоявшим на столе зеркалом.

— Садись, — указал Кассиний ученице на единственный стул, стоявший у стола.

Майя повиновалась, не смея сказать, что не устала.

Глава XI

Белый брат прислонился возле нее к стене во весь высокий рост свой. Широкие светлые одежды его падали тяжелыми складками до пола; небольшая темная борода, вьющаяся, как и темные волосы, падавшие до плеч из-под золотистого головного убора, обвивавшего высокий лоб Кассиния наподобие древних уборов аравитян, красиво обрамляли смуглое лицо с правильными чертами. Серьезно, печально, почти сурово было оно теперь… Майя не смела поднять на учителя глаз, и сердце ее сжималось и тоскливо трепетало при мысли, что она оскорбила, огорчила своего наставника, которого так давно не видала, хоть и жаждала увидеть! Она готова была пасть к ногам его, со слезами просить прощения и умолять, чтобы он ее не покинул во гневе. Но ее сдерживало небывалое чувство боязни: девушка не смела прервать раздумья Кассиния. Наконец он вздохнул и сам посмотрел на нее. Не гнев, а печаль была в его кротких глубоких глазах.

— Я не сержусь на тебя, — сказал он, ясно видя мысли Майи. — Мне только жаль тебя: ты еще далека от счастливой пристани. И в этот раз ты

вряд ли окончишь миссию, возложенную на тебя искони. А желал бы я, чтобы ты сумела до того проникнуться стремлением работать на благо человечества и всю себя посвятить этой великой задаче так беззаветно, чтобы желание это служило тебе броней и лучшей защитой от всяких жизненных соблазнов и искушений.

— Ах, боже мой! Да какие же соблазны, какие искушения может представить скучная, пустая жизнь? — вскричала искренне Майя. — Если б не жаль мне было отца, я умоляла бы тебя, Кассиний, не отсылать меня к ней более.

— Потому что ты не знаешь своей жизни! Не знаешь ни ее горестей, ни наслаждений… И сохрани тебя от них судьба! Я надеюсь, что она окажется милостивой. Если бы ты сумела не поддаться ранним обольщениям, не навлечь на себя неотвратимую силу закона возмездия — неизбежную кару за грех, — юность твоя могла бы пройти без бурь… А в зрелых годах меньше опасностей.

— Так скажи же, скажи, что́ должна я начать! Научи меня, Кассиний!

— Да, я скажу тебе. Попытаюсь, хотя не знаю, имею ли право. Будет ли мне дозволено так рано, так легко, почти не испытав еще твоих сил в борьбе с жизнью, исхитить тебя из омута ее

безумий, ее страстей… Не знаю, удастся ли? Но сердечно желал бы охранить тебя от искушений и гибели, если только удовлетворена твоя карма — неизбежный закон воздаяния.

— Какой жестокий, какой ужасный закон! — страстно вскричала Майя.

— Вот опять пустая, необдуманная речь, — печально заметил Белый брат. — В законах Предвечной силы не может быть ни жестокости, ни снисхождения, а есть только высшая, непоколебимая справедливость. Люди сами к себе жестоки или милосердны: смотря по тому, какое готовят для себя возмездие, дурное или доброе. Земная и вечная судьба каждой души, воплощающейся в жизнь, — в ее воле! Великий Учитель сказал: «Добрый человек из доброй сокровищницы сердца своего выносит плоды добрые, а злой человек из злого сердца своего приносит плоды злые». И вот эти добрые или злые плоды свидетельствуют против него вовеки! Они его каратели и его судьи, пока он не искупит злых страданием, а добрые не искупят его самого во спасение вечное бессмертного духа. Многие думают: какое счастие облегчать страдания и печаль! И так рассуждают многие, не додумываясь до простой сути, которая стала бы ясна даже младенцу,

если б человечество правильно понимало свое назначение и цель бытия. Как думаешь ты, что составляет, собственно, личность человека: тело ли, данное на самый краткий срок, предопределенное к уничтожению, или высшее, бесплотное начало? Бессмертное ego — дух, осмысливающий и одушевляющий эту бренную оболочку?

— Зачем спрашивать? — возразила Майя. — Неужели может быть сомнение в таком вопросе, ясном даже ребенку!

— А разве ты не знаешь, что, как золото в огне, так и дух человеческий страданием тела и нравственными испытаниями очищается и совершенствуется? Разве не знаешь ты, что исполнение закона воздаяния по заслугам столько же возмездие, сколько и стимул и что никто не властен его отвращать?

— Знаю, без сомнения… Сколько раз ты сам объяснял мне, что даже лучшие люди так беспечны, что забывали бы и думать о приращении данных им талантов и зарывали бы их в землю, по притче евангельской, если бы горести и болезни не являлись стимулами их нравственного развития.

— А если ты так хорошо запомнила это, так можешь ли дивиться, что мы не являемся тотчас на помощь, как только видим где-либо матери-

альную нужду или недуг? Ведь тут спасение было бы на гибель. Нет, друг мой! Пусть уж слепые к истине или преднамеренно от нее отвернувшиеся прельщают людей скоропреходящими благами. Не наше дело заботиться о временном в ущерб вечному! — Белый брат подошел к столу и, взяв в руки одну из проволок нижнего ряда стекол, приложил ее к зеркалу и произнес: — Смотри в зеркало, Майя, и скажи мне, что ты видишь.

Майя устремила внимательный взор на стекло.

— Я вижу что-то очень смутное, очень темное… — заговорила она через минуту тихо и медленно, будто вдумываясь в каждое слово. — Какой-то хаос. Что-то будто бы движется, но ничего не разобрать… Погоди! Вот что-то блеснуло… Огонь?.. Да, огонь. О, как это красиво, как величественно! Это небо… Пространство… да! Темное воздушное пространство, и на нем отделяются искры… Звезды! Лучи и… какой-то огненный шар. Он все ближе! Растет, словно бы расплавленная планета вся кипит и переливается разноцветными огнями!

Майя вдруг подняла голову и воззрилась на неподвижно стоявшего возле нее Белого брата.

— Что это, Кассиний? — спросила девушка. — У

тебя тоже магическая проволока, как у…

— Молчи! — властно остановил он ее на полуслове. — Не произноси здесь имени этого несчастного! Та сила, действия которой он вам показывал, — одна только искра, грешно добытая искра великого света, действующего здесь. Чрез эти проволоки в зеркале отражается то, что видно в те стекла там, наверху: все, что искони веков и навсегда запечатлелось в астральных лучах мирозданья. Это картины из «Книги Завета», списка прошлых, настоящих и грядущих событий. Видишь ты эти семь ожерелий из семи бус каждое? — Наставник указал на ряды круглых окон. — Это семь периодов, семь круговращений нашего цикла времен. В первом, нижнем ряду ты увидишь, постепенно меняя проволоки, прохождение нашего мира — не всего мироздания, а лишь нашего земного шара с его спутниками на видимом нам горизонте; прохождение его чрез элементальные видоизменения: век минеральный, растительный, животный, до происхождения человека, высшей земной формы. Ты видела начальный, вулканический период. Приложи вторую проволоку, и тебе представятся картины века минералов… Видишь?

— Вижу!..

Перед ней был теперь тот же земной шар, но уж остывший, распавшийся на моря и сушу; испещренный горными цепями, скалами со сталактитовыми пещерами и снеговыми вершинами. Снежные хребты и льды Северного полушария сияли в ярких солнечных лучах, как алмазные покровы; южнее кое-где еще искрились и пылали растопленной лавой кратеры огнедышащих гор; бесплодные степи желтели на материках, словно разостланные ковры, но зеленой растительности нигде еще не было приметно. По мере медленного вращения этого изображения первобытной земли пред глазами Майя замечала, что серые, бурые и желтоватые материки, резко обозначенные на зеленоватых и голубых водах океанов, переливающихся всеми тонами от светлой бирюзы до темного изумруда, имеют совершенно другие очертания, чем нынешние части света… Она указала на это своему учителю.

— Еще бы! — подхватил он. — Сколько же катаклизмов с той поры изменяли их форму! Сколько раз материки покрывались водами, моря превращались в пустыни, а на океанах возникали острова и громаднейшие горные вершины выбрасывались под облака из глубины пучин. Если пожелаешь, ты можешь видеть один из

этих страшных переворотов… Вообще, знай, что отдельные картины данных периодов зависят от твоего желания.

И точно! Не успело такое желание возникнуть в уме девушки, как перед ней воочию разыгрались страшные картины разрушения, один из великих космических переворотов, изменивших положение земного шара. Но все же отдельные части земной поверхности не стали еще похожими на их настоящие размеры и формы. Для того, чтобы Майя могла узнать нынешние Азию и Африку, Кассинию пришлось еще раз, и другой переменить проводник света, показать периоды, когда на бесплодной почве сначала появились лишаи, мхи, папоротники; когда, наконец, земля покрылась растениями, зацвела и затенилась, исподволь, несмело, словно прячась и крадучись, давая приют и пищу проявляющейся на ней кой-где жизни.

Глава XII

Со все возраставшим интересом следила Майя за оживляющейся землей, поочередно приходя то в ужас, то в восторг от разнообразных зрелищ, что отражались в магическом стекле с поразительной живостью и полнотой. Кассиний дополнял описаниями и объяснениями то, что было в этом зрелище непонятного непосвященному уму молодой девушки.

— Ты изумляешься яркости красок, жизненности всех подробностей, передаваемых отражениями, — говорил он. — Но как же может иначе быть? Ведь это непреходящие краски, они не подвержены действию разрушительных сил: это вечные, непрестанные снимки лучей предвечного сияния. Собственно, этот астральный свет есть низший принцип космического начала, чей высший принцип — великая Аказа, матерь и источник всего. Разлагаясь лучами, всюду проникающими, свет этот воспринимает любую деталь всецело и навеки. В нем запечатлено все — от самого великого до самого малого. И не только материальное, но каждое слово, каждая мысль, каждое намерение человечества! Ничто не со-

кроется и ничто не исчезнет из этой великой сокровищницы, из этой кладовой мироздания. Она неустанно воспринимает события, формы, душевные движения — безразлично, неподкупно, но обессмертивая всякий образ навеки. В этих великих скрижалях каждое создание — материального ли, или духовного мира — в конце концов прочтет о себе все, от альфы до омеги, и целиком узрит себя во всех фазисах своего внешнего и внутреннего бытия. В них же непосвященные смертные часто черпают свои сны и пророческие видения, а более развитые духовно могут по собственной воле к ним обращаться за всякими сведениями. Но в возможности, в уменьи видеть есть различные степени…

Майя оторвала взгляд от вещего зеркала и устремила вопросительно на лицо учителя:

— А можно рассказать людям то, что я прочту здесь? — Она указала на зеркало.

Кассиний молча наклонил утвердительно голову.

— В общем, это не будет новостью для них, — заметил он, — но людям известно далеко не все, даже из этих первичных периодов, несколько поверхностных изображений которых ты сейчас видела и которые представляют наименьший ин-

терес. Промежуточные эпохи с их бесконечными переворотами, с их явлениями в материальном и духовном мире, с зарождением фаун и новых человеческих рас, с расцветом цивилизаций, падением их и конечным исчезновением на пользу и процветание вновь зарождающихся и вновь бесследно исчезающих деятелей, — эти эпохи даже в гипотезах не представлялись ученым. О влиянии же невидимых сил на природу, о деятельности агентов, которых существования даже не допускают слепые светочи западной науки, — я и говорить не буду! Ты сама знаешь по опыту, до чего люди глухи и слепы… Теперь мы живем в Черном веке отрицания и грубого материализма. Но приближается новый, пятый цикл, в продолжение которого духовной стороне творения суждено наконец восторжествовать над одолением грубой плоти.

— О! Дай бог, чтобы скорее наступило такое время! Как ты назвал его — новый цикл?

— Да, пятый Юг: так мы на Востоке называем круг многих веков, многих тысячелетий. Этот цикл, или круг времен, вероятно, будет назван веком Прозрения.

— Возрождения, быть может? — восторженно предложила Майя.

Белый брат отрицательно покачал головой.

— Хорошо, если бы хоть следующий, шестой период удостоился такого названия, — вздохнул он. — Первый цикл носит прекрасное наименование. Его назвали Сатиа-Юг — век правды. Но последующие утратили права на светлые прозвища; а наш четвертый цикл вполне достоин называться Черный Кали-Юг. Так зовут его у нас — и не зря! Ибо не было от века круга времен чернее настоящего.

Кассиний умолк, задумавшись глубоко, в то время как Майя вновь углубилась в созерцание картин первобытной земли со всеми красотами ее флоры и величественными ужасами баснословно-фантастической фауны. Громадные пресмыкающиеся, крылатые гады, птицы-драконы, чешуйчатые исполины, черепахослоны и млекопитающие гиганты, словно движущиеся горы, шевелились перед ней, извивались, вздымались в уровень с деревьями, налетали друг на друга, вступали в борьбу и один другого пожирали, топили, уничтожали. Грандиозные и страшные зрелища показало девушке шестое окно! Но едва взялась она за седьмую проволоку нижнего яруса, надеясь увидеть наконец человека, Кассиний опомнился и остановил Майю.

— Нет, — сказал он, — довольно… Теперь пора тебе возвратиться домой, иначе мы погрешим против первой заповеди нашего закона: против милосердия. Твой сон, Майя, продолжается слишком долго. Отец твой в тревоге. Да и нет пока тебе нужды здесь долее оставаться. Ты теперь знаешь, какая задача ожидала бы тебя, если бы ты вошла в обитель нашу непорочной, чистой сердцем и помыслами, какой была доныне. Еще скажу тебе: ты видела шесть периодов первого цикла веков. Следующее, седьмое окно показало бы тебе первобытных людей, ведших жизнь простую, близкую к природе, от которой еще они не успели отдалиться, едва пройдя первые стадии бытия. Следующие за первой цепью шесть остальных ярусов окон могли бы показать тебе дальнейшее развитие человеческих рас, мировых или частных событий в истории наций, стран или отдельных личностей — по твоему желанию и по твоим запросам. Во втором, третьем и четвертом ряду, где заключается наш цикл, ты бы все, вероятно, видела.

Но на конце Кали-Юга, думаю, твоя способность видеть и остановилась бы — пока. Будущее ты сейчас не увидала бы. Теперь, если хочешь, возьми проводник последнего стекла из четвертого

ряда, из нашего Кали-Юга, — и, что бы ты ни пожелала видеть, оно тотчас тебе покажет. Знай, что первая мысль твоя, о ком или о чем бы то ни было, тотчас приведет в соотношение с зеркалом тот самый луч света, в котором отражается в данное мгновение то лицо или тот предмет, о которых ты подумаешь…

«Что делается дома? Что мой отец?» — невольно мелькнуло в мыслях Майи в ту же секунду.

Кассиний уже потянул к стеклу проводник последнего, седьмого стекла в четвертом круге и, приложив его, произнес:

— Ну, прощай, Майя. Не забывай нашей обители и борись с жизнью, чтобы к нам возвратиться… А талисман мой береги! Он от многого охранит тебя. Еще совет: чуждайся света и тщеславных его развлечений!..

Последние слова Кассиния едва долетели до Майи, слабо, будто издалека.

Она увидала отца, стоявшего на коленях у ее изголовья; увидала еще какую-то незнакомую молодую даму, которая вливала капли в ложку из темного маленького пузырька, и увидала самое себя на кровати. Майя привстала и удивленно воскликнула:

— Папочка, что с тобой? Ты, кажется, плачешь?..

Успокойся, милый, я здорова!

Крик радости был ей ответом.

— О Майя, Майя! До чего ты напугала меня!.. Боже мой, знаешь ли ты, что вот уже другие сутки спишь без просыпу!

— Неужели?.. Зато, ах, папа, где я была!.. Какой я сон видала! — поправилась Майя, вспомнив о присутствии незнакомой женщины. — Я после расскажу тебе, — прошептала она отцу на ухо.

— Хорошо, хорошо! Слава богу, что все благополучно кончилось. Это, вероятно, ваши капли, милая кузина, помогли моей Майе… Вот, дочка, поблагодари нашу добрую и милую новую соседку, мою кузину — Софью Павловну Орнаеву. Она вчера приехала…

При этом имени Майя вздрогнула.

— София?.. Какая София, папа? О ком ты говоришь?

— А вот, моя душа: о Софье Павловне Орнаевой. Она всю ночь над тобой просидела…

Гостья, очень красивая женщина средних лет, но казавшаяся гораздо моложе, склонилась к Майе, ласково улыбаясь.

— О! Cousin, не беспокойте m-lle Marie… Еще успеем познакомиться. Я так рада, что она очнулась! Вернее, проснулась, так как она уверяет,

что прекрасно спала и видела золотые сны. N'est-ce-pas, chère mademoiselle Marie? [6]

— Да… Только, пожалуйста, не называйте меня так! Меня никто, кроме… впрочем, неважно. Все зовут меня просто Майей…

— Прелестное имя! — начала было Орнаева. — Je ne demande pas mieux… [7]

Но Майя вдруг села в кровати, обвела всех беспокойным, печальным взглядом и, схватив за руку отца, прошептала:

— Папа, а что Газель?.. Снился мне этот ужас или он в самом деле задушил ее, этот самозванец, этот отвратительный колдун?

Профессор в испуге растерянно посмотрел на дочь и отвечал как можно мягче:

— Душа моя, успокойся, тебе померещилось…

— Неужели?.. Газель жива?!

— Нет, голубушка моя, Майинька, дорогая… Ведь мы все видели: бедная Газель задушена волком! Она, помнишь, всех нас напугала. И ты, и я, и все обитатели дома сбежались вчера ночью, когда бедная собака выбила дверь, почуяв зверя, бросилась в сад и наскочила прямо на волка.

---

[6] Сноски: 6
Не так ли, дорогая мадмуазель Мари? (*фр.*)

[7] Сноски: 7
Лучшего и не нужно… (*фр.*)

— Так вот как вы всё объяснили? — проговорила Майя как бы про себя, усиленно размышляя. — Нет, папа, того волка, который задушил мою бедную, славную Газель, к несчастью, никто не убьет.

Потом девушка овладела собой и обратилась приветливо к незнакомой родственнице, благодаря ее за заботы.

— Если ты в самом деле здорова, Майинька, — несмело заметил отец, — может быть, встанешь с постели?

— О да, непременно! — к величайшей его радости, уверенно сказала Майя. — Я сейчас оденусь и сойду вниз.

— Да? Вот и отлично! Так пожалуйте, Софья Павловна, пойдемте ко мне, пока эта негодная барышня, напугавшая нас так крепко, встанет и оденется. Пожалуйте!

И профессор любезно подал руку гостье и повел ее вниз, в то время как Майя с невольным неудовольствием думала: «Откуда взялась эта соседка?! Никогда не слышала, чтобы она тут жила поблизости…»

Глава XIII

Так неожиданно проявившаяся родственница Ринарди очень часто стала навещать отца с дочерью. Однако, сверх ожидания, гостья оказалась премилой и презанимательной. Ни профессор, ни дочь его нимало не тяготились ею. Напротив, никогда и ни с кем Майя так близко и скоро не сходилась, как с этой остроумной, объездившей весь свет и, по-видимому, чрезвычайно добродушной женщиной.

Софья Павловна Орнаева была вдовой, известной красавицей, схоронившей двух мужей, и, как говорили злые языки, не возражала бы найти, а то и схоронить еще и третьего… Особенно если бы он отличался благородными преимуществами de ses deux anciens [8], а именно: был бы богат не менее ее «покойников», оставивших Орнаевой большие деньги.

Злая молва опять-таки говорила, что за последние годы беспрерывных перемещений по белу свету, во время которых прелестная женщина не только видала виды, но и жила в свое удоволь-

---

[8] Сноски: 8
Двух ее бывших (*фр.*).

ствие, не считая трат, она значительно растрясла по чужестранным дорогам российские мошны покойных супругов, но этого совсем не было заметно по образу жизни, который красавица продолжала вести.

На берега Балтийского моря Софья Павловна попала совсем неожиданно, по непредвиденной ею необходимости; но об этом факте она хранила строгое молчание, а рассказывала, будто ее давно влекло на здешние живописные и дикие берега… Мол, ей надоела Европа, надоели все страны света, которые она изрядно объездила, а более всего надоели дальние путешествия. Эту зиму Орнаева задумала прожить в Петербурге, но прежде водворения на зимние квартиры ей вздумалось проехать посмотреть продававшуюся поблизости от имения Ринарди мызу. Кузине профессора захотелось иметь дачу в этих местах, проводить иногда летний месяц или два в одиночестве…

Так она говорила, но столь анахоретские намерения не были заметны в ее образе действий. Начать с того, что она скромной мызы не купила, а задумала снять поблизости целое аббатство — старинный замок, несколько лет стоявший пустым, хотя поддерживавшийся в порядке. Оказалось, что она интимно знакома с владетелем

аббатства, безвыездно проживающим в Париже. Софья Павловна ему написала, а тот ответил любезным посланием, предоставлявшим в ее распоряжение на зиму, лето — «et bien d'autres saisons, à discretion illimitée» [9], — хоть навсегда, это «совиное гнездо» его знаменитых рыцарей-предков, «со всеми его крысами и привидениями, par dessus le marché! [10]»

Разумеется, оказалось, что для житья в этих залах и башнях требуется много приспособлений, поправок и новой обстановки. Позолоченная мебель, инкрустации, штофы и гобелены были очень декоративны, но грозили быстрым разрушением при употреблении серьезном — не как декораций, а как обыкновенной мебели. Пришлось выписывать обойщиков, столяров с приличным материалом; пока они работали и устраивали по-царски резиденцию новоприезжей, она сама, по приглашению профессора, переехала из города к нему, чтобы быть поближе к будущему месту жительства.

Вознамерившись поселиться в целом замке и решив к тому же прожить там осень, а то и

---

[9] Сноски: 9
И прочие времена года, по неограниченному усмотрению (*фр.*).

[10] Сноски: 10
В дополнение, сверх уговора! (*фр.*)

всю зиму, Орнаева весьма натурально пришла к заключению, что она одна с крысами и рыцарскими привидениями умрет не только со скуки, но, пожалуй, и со страху… Произошла капитальная перемена в намерениях светской красавицы, метившей было в анахоретки: приглашения и письма полетели во все страны; знакомства, посетители, старые и новые друзья посыпались в замок по всем дорогам со всех сторон света…

Так, по крайней мере, казалось Ринарди и его дочери, никогда не видавшим в окрестностях такого оживления и многолюдства. Разумеется, и к ним посетители стали наведываться гораздо чаще; да к тому же «милая соседка» не давала дальним родичам ни задумываться, ни засиживаться дома: она была из тех, кто мертвых поставит на ноги, если живых поблизости не окажется. В Орнаевой столько было жизни, энергии, желания всех веселить и самой веселиться, что тишины и спокойствия возле нее быть не могло. Замок Рейхштейн теперь настолько был полон гостями, что Майя уверяла его временную хозяйку: любые привидения, не только замковые, но и со всей округи, наверное, материализовались, чтоб принимать участие в празднествах. Майе, ранее не видавшей таких многолюдных собра-

ний, серьезно казалось подчас, что они не совсем естественны. Рауты Орнаевой часто напоминали девушке пестрые сборища не от мира сего — ее прежние видения, сокрывшиеся для нее, как видно, навсегда после того, как побывала она в приюте Белого братства. Приютом мира называла его Майя, рассказывая о сне отцу и своему дневнику, в который записала от слова до слова все, что произошло с ней в том зачарованном месте, куда она стремилась всем бытием своим, каждую ночь надеясь быть призванной и каждое утро просыпаясь в печали от несбывшейся надежды. Не только не бывала Майя более в семиконной вещей башне или на мраморном холме Белых сестер, но проходили недели и месяцы, а она по-прежнему не видала Кассиния и не слыхала его голоса.

Mademoiselle Ринарди, несмотря на все старания Софьи Павловны оживить и развлечь ее, первое время не поддавалась стараниям родственницы, хотя — странное дело! — она не тяготилась ни ими, ни обществом Орнаевой. Девушка не любила большие сборища в Рейхштейне, но хозяйку замка охотно посещала и еще более любила видеть ее у себя. Орнаева имела счастливое свойство всем нравиться, владела

средствами на любые вкусы; она к тому же усиленно заботилась о дружбе и доверии Майи, а той, увы, изменяли, со всяким днем полнее, ее прежние способности прозорливости и даже ясновидения.

Упадок духовных сил дочери вскоре заметил и профессор, хотя Майя по-прежнему старалась помогать ему и теперь часто даже принимала участие в практических опытах отца в его лаборатории, куда девушка прежде совсем не допускалась из-за страха ее живой, смелой деятельности. Теперь полудетская живость Майи совсем исчезла. Ринарди не узнавал своей прежней веселой и беспечной помощницы, до того она стала спокойна и равнодушна ко всему.

Зима пролетала в вечных треволнениях, незнакомых доныне отцу и дочери. Среди постоянных отвлечений от дела, не видя к тому же в нем никакого успеха, профессор терял способность и желание заниматься исследованиями своих изобретений, остановившихся на точке замерзания. К тому же с ним в последнее время стало твориться что-то странное, совершенно небывалое: он положительно начал предпочитать общество Софьи Павловны своим научным занятиям.

Ринарди уверял себя, что общество кузины, бе-

седы с нею имеют для него научный интерес. Она столько знала, столько видела и так красноречиво рассказывала! Он невольно заслушивался. В особенности любил он принимать Орнаеву у себя в кабинете. По просьбе гостьи он с нею делился своими знаниями и показывал интересные опыты в области механики и химии. Ее особенно занимали проявления сил электричества. Она даже выказывала необыкновенные для женщины знания по этому предмету и с увлечением беседовала о нем.

Судьба, будто бы сжалившись над потерей профессором участия дочери, послала ему новую собеседницу. Теперь очень часто Майя была у себя, наверху, училась, занималась музыкой или живописью, а отец ее «работал» у себя в кабинете в присутствии Орнаевой. Он всерьез был убежден, что работает и что прелестная кузина ему не только мешает, но и помогает в научных трудах. Профессор даже ей заявил, что присутствие ее его вдохновляет.

— Ну что ж! — шутя, сказала Софья Павловна. — Я очень рада быть вашей нимфой Эгерией, если вы желаете стать Нумой Помпилием. Хватило бы только мудрости.

— У меня или у вас? — уточнил профессор.

— Ну разумеется, у меня! — расхохоталась Орнаева.

— У вас-то хватит! Недаром зовут вас Софией… Вам, конечно, известно, что значит ваше имя?

— Да: кажется, наука, знание?

— Вот именно. Мудрость — небесная дева, которой поклонялись гностики и которая не раз воплощалась в образе прекрасной женщины, чтоб вдохновлять ученых. Не верите? Право же, я докажу вам.

Ринарди снял с полки своей библиотеки старинную книгу и, найдя страницу, подал гостье:

— Прочтите. Это письма розенкрейцера Гихтеля о его любви и духовном союзе с таинственным существом — лучезарной красавицей Софией, долгие годы помогавшей ему в научных занятиях. У меня есть и еще книга: «Древние верования, воплощенные в древних именах». Ваше имя одно из самых старинных… Так хотите прочесть?

— Давайте. Но кто тот чудак — как вы его назвали?

— Гихтель. Известный германский мистик, оккультист; член братства розенкрейцеров, живший в средине семнадцатого века. Извольте послушать, что он писал вам…

— Мне? Помилосердствуйте!

— Софии! Не вам, так вашей тезке, с которой вы многим сходны. Послушайте же. — И профессор прочел:

> *Божественная Мудрость, во образе небесной девы Софии, явилась мне впервые воплощенной в день Рождества Христова, в 1673 году. Вид ее был величествен и прекрасен. Она сияла белизной своих одежд и осияла меня светом своих божественных знаний.*

А вот, позвольте, тут дальше:

> *София – воплощение премудрости и истины в возрожденном духовном теле. О, сколько в тебе силы, и мощи, и власти в исполнении душ, тобою избранных, светом предвечной правды, блаженством чистейшей, неиссякаемой любви!..*

Вот какие чародейки бывают Софии, Софья Павловна. Dérogeriez vous a votre not? [11] Не думаю, чтобы вы опровергали вековечную славу вашего имени.

---

[11] Сноски: 11
Вы же не откажетесь от своего? (*фр.*)

Орнаева очень мило засмеялась. Только присутствие дочери заставляло ее несколько умерять кокетство с отцом.

Глава XIV

Раз Орнаева попросила Ринарди рассказать ей об увеличителе Велиара.

— Мне кажется, я уже слышала о чем-то подобном, — добавила она.

Профессор с готовностью исполнил ее желание и, докончив объяснения, спросил:

— Вы, вероятно, знаете барона? Встречались с ним?

— О нет! Никогда. Почему вы так решили?

— Он человек известный. Я думал, вы встречались в Париже. Вы сказали, что слышали о его увеличителе?

— Не о его увеличителе, собственно, а о подобном изобретении, о средствах его устроить. Кажется, следует закалить проводники каким-то особым огнем…

Ринарди посмотрел на нее в изумлении.

— Да-да, — продолжала красавица. — Позвольте, я же знала… Вспомнить бы! — Орнаева встала, сосредоточенно устремила в пространство взгляд и, будто читая перед собой невидимые слова, медленно, явственно произнесла: — «Священный, первобытный, бесконечный, вечный, божествен-

ный огонь, который есть — оплодотворение, усовершенствование, в коем сила, жизнь, любовь — всё!» Откуда это? Узнаете ли вы слова?

— Слова — не знаю откуда! Но их отвлеченное значение мне ясно, — ответил профессор в восторженном изумлении. — Но откуда вам они известны?

— Откуда? Да, теперь вспомнила: у меня есть целый трактат об этом огне и возможности его добывать.

— У вас?! — вскричал профессор. — Боже мой, но откуда?

— Откуда? От самого графа Калиостро, блаженной памяти! — рассмеялась Орнаева. — Не верите? Вы забываете наших общих предков, милый братец: прадедушку нашего, сен-симониста, чародея, предсказателя — chevalier Constant d'Yzombard [12], казненного во время террора. Забыли?

— Нет, помню. Но как же…

— Как его бумаги попали ко мне? Очень просто: прабабушка d'Yzombard со своею дочерью, которая, как вам известно, была матерью моей

---

[12] Сноски: 12
Шевалье Констана д'Изомбара (*фр.*).

матери, а вашей grande tante [13], успела заранее перебраться в Италию и увезла туда все бумаги мужа своего. А в них оказалась целая переписка с его другом, графом Алессандро Калиостро, иначе — сицилийцем Джузеппе Бальсамо.

— И она цела, эта переписка?

— К несчастию, ее и след исчез. Но одну рукопись деда мать моя сохранила и мне передала. И я ей очень благодарна, теперь даже больше, чем когда-либо, поскольку могу вручить документ вам. Это руководство к добыванию того самого таинственного огня, первобытного, божественного, в котором и дух, и материя, и любовь, и всё во всём… Из этой рукописи я и запомнила сказанную фразу.

— И вы мне дадите эту рукопись, Софи?

— В вечное и потомственное владение, милый мой! На что мне она? — пожала плечами Орнаева. — Детей у меня нет; некому, кроме вас, в семье нашей, всегда отличавшейся духом мистицизма, пропагандировать тайное знание в потомстве. Берите документ вместе с французским переводом, приложенным к латинскому оригиналу.

— Неужели писанному самим Калиостро? Вы

---

[13] Сноски: 13
Прабабушка (*фр.*).

меня просто облагодетельствуете, кузина!

— Про перевод, право, не знаю, очень вероятно. В бумагах прадеда сказано только, что Калиостро дал ему этот драгоценный документ, добытый где-то в храмах Египта или Халдеи. Граф Калиостро относил его к учению провозвестника гностицизма, иудейского Симона Мага.

— Вот так драгоценность! Просто клад! Исторический и библиографический клад; уж не говоря о научных и оккультических тайнах, которые, быть может, в рукописи заключаются, — восторгался Ринарди. — Как это вы раньше не сказали мне об этом, Софья Павловна? Вот уж настоящая просветительница моя, премудрая София, носительница божественного огня!

Орнаева хохотала, очень довольная.

— Огонь, по указанию рукописи, точно надо добыть божественный или, по крайней мере, небесный. Там, я помню, сказано, что каким-то образом «седьмая молния седьмой весенней грозы» должна воспламенить проводник электричества; разумеется, при разных дополнительных условиях и всевозможных таинственных приспособлениях, — рассказывала она.

— Какое счастье, что вы не отдали никому рукописи! — воскликнул профессор.

Пришла Майя, и Ринарди принялся восторженно рассказывать дочери о рукописи Софьи Павловны и о любезной готовности кузины отдать ему документ.

Майя, конечно, была очень довольна за отца; гостья же казалась еще довольнее. Она ласково упрашивала Майю непременно на днях приехать в Рейхштейн на целый день.

— Не бойтесь, милая: презираемых вами танцев не будет. Приезжают исключительно серьезные люди и между прочими Бухаров, вы знаете — известный живописец. Он мой давний приятель! У нас с ним маленький заговор против вас, предупреждаю.

— Насчет живых картин? — спросила Майя, которой Орнаева говорила уже о затеянных ею картинах.

— Да, и насчет живых картин также; он мне поможет их поставить. Но не только: бедный Бухаров в отчаянии, что нигде не может найти хороших типов Эдипа и Антигоны для своей исторической большой картины.

— И что же?

— Вот я его тоже хочу облагодетельствовать: я написала, что нашла для него здесь живые оригиналы нужных типов, чтобы приезжал.

— Это кто же такие? — слегка краснея, спросила Майя.

— Кто? Вы не догадываетесь? — Орнаева бросилась целовать молодую девушку. — Вы и отец ваш — воплощение этих величественных мифов. Нет-нет, не протестуйте! Вы должны ради меня согласиться осчастливить моего приятеля! Вам это ничего не стоит. Бухарову вы доставите лишний лавр в его венок великого художника, а он вам даст ваши портреты, писанные рукой мастера. Ведь картины его авторства ценятся на вес золота!

Глава XV

Уютно было в девичьей спальне Майи. Широкое окно и дверь на балконе светились белой зимней ночью. В средине комнаты стоял письменный стол. Направо занавесы алькова были приподняты, и там белела постель, освещенная горящей на ночном столике лампой под голубым абажуром.

Печально задумалась Майя. Ей было о чем горько сожалеть: вот уж много недель, как ей нечего было записывать в свои дневники. Живые видения, с которыми девушка сжилась до того, что считала их неотъемлемой принадлежностью своего существования, все ее сверхнормальные способности, которые так ярко красили жизнь, неуклонно исчезали. Майя теряла свою вторую жизнь!..

Она могла еще примириться с тем, что перестала видеть странных созданий не от мира сего, окружавших ее с колыбели и никогда не оставлявших в одиночестве. Узнав двусмысленные свойства и часто нечистое происхождение этих эфемерид природы, Майя не особенно горевала, что не видит более ни уродливых, ни даже

чудно красивых их представителей. Но теперь с ее горизонта равно уходили и другие, чистые, благодетельные создания, наполнявшие доныне светом и смыслом всю жизнь ее, руководившие своей подопечной, как добрые наставники руководят послушным ребенком. Вот что безмерно смущало Майю, страшило и огорчало.

Кассиния она не видала уже более двух месяцев. София и таинственные сестры ее, никогда не посещавшие девушку вне сна, в повседневной жизни, как прежде постоянно посещал ее Белый брат, правда, мерещились ей иногда. Раз даже она увидала себя снова в их волшебном приюте. Они старались утешить Майю в предполагаемом ею «забвении» со стороны друга детства и юности, говорили о Кассинии, смеясь над ее страхом, не признавая возможности подобного «забвения», уверяя, что наставник удаляется для ее же блага. Пусть ее ждут великие тревоги искушения и печали, но все в мироздании должно очищаться, проходя чрез горнило испытаний и несчастия.

«Тем лучше для тебя, — послышался вдруг голос, — тем легче тебе идти верным путем; уметь отличать добро от зла и выбирать благое…»

Что это?.. Кто говорит с ней?

Майя оглянулась, но никого не было возле

нее. Она стояла у своего стола, опершись на него одной рукой, другою прикрыв глаза в глубокой задумчивости.

Много ли времени девушка провела так, забывшись? Она сама не знала. Но, судя по глубокой тишине, царившей в доме, все уже спали в нем. Белая, лунная, морозная ночь смотрела по-прежнему в окна. Вдали пропел петух, и где-то внизу мерно и гулко часы пробили двенадцать ударов.

«Уж полночь? Так скоро? — подумала Майя. — А я еще собиралась писать… Да что мне писать — нечего! Все пусто, холодно, скучно. Отец — и тот больше во мне не нуждается… Тоска!»

«Тоска и уныние, когда жизненные испытания и не начались еще? Разве так готовятся на брань с неправдой и злом? Стыдись, малодушная, безверная, бессильная!» — услышала снова Майя все тот же, давно ею не слыханный голос.

Радостно забилось сердце девушки. Она встрепенулась, обвела комнату ожившим взглядом, выпрямилась и, широко раскрыв глаза и сияя радостной улыбкой, прямо пошла к дверям балкона.

Оттуда, из парка снизу, летели к ней мелодичные, как звуки арфы, призывные аккорды, говорившие: «Я здесь!.. Я жду!.. Иди же!..»

И Майя пошла. Пошла по видимой ей одной дороге, по сияющей розовой радуге, переброшенной аркой из глубины парка в средину ее спальни. Там, вдали, не в снежных сугробах, а в кущах молодой зелени, зацветающей черемухи, роз и сирени, стоял верный друг ее, улыбаясь приветно, но с опечаленным взором…

Утром горничная, войдя в обычный час в спальню барышни, отступила в изумлении: постель была не измята, лампа догорала на ночном столике, а сама хозяйская дочка мирно покоилась, запрокинувшись в глубоком кресле. Правая рука ее свесилась, и перо выпало на пол; очевидно было, что барышня писала всю ночь и, утомленная, крепко заснула под утро. Горничная удивилась только тому, что барышне вздумалось писать в темноте: на письменном столе ни свечи, ни лампа не были зажжены… Или так уж ночь была светла, что освещения не понадобилось?

Майя проснулась довольно поздно и очень смутилась тем, что заснула не раздеваясь и всю ночь провела в кресле. Она позвонила горничной, чтоб спросить об отце: девушка знала, что опоздала к завтраку.

Оказалось, что батюшка давно позавтракал один и, велев сказать барышне, что будет к обеду

дома, поехал по делу в Рейхштейн.

Майя даже обрадовалась нечаянной свободе. Ей было необходимо сосредоточиться, многое обдумать; наконец, перечесть записанное ночью: все ли она вспомнила, простившись с наставником?.. О боже, а если они простились навсегда — кто знает? Всю свою волю, всю энергию приложит она к тому, чтобы устоять в искушениях, победить, заслужить вечное благо! Но сам Белый брат говорил, что трудно это, почти невозможно…

Девушка боролась с душившим ее горем, но едва, одевшись и наскоро выпив чашку чая, осталась одна, не совладала с собою и вновь залилась слезами.

Теперь она, перечитав записанное, уж знала достоверно, что более не увидит и не услышит ни Кассиния, ни других обитателей неведомого остальным мира, которым она была окружена, научена, поддерживаема доныне.

Учитель сам это сказал: он приходил проститься.

— Не нужно слез! Не нужно малодушия! — говорил он, прощаясь. — Разлука со мной — первый искус, который ты обязана выдержать, не падая духом. Только сильный волей способен умерить страсти и прозреть истину, в коей содержится

главное. И как раз такие люди нужны для блага мира, а не слепцы малодушные, не умеющие справляться с личными себялюбивыми чувствами!

Это были последние слова наставника, последнее его поучение. Майя запомнит их навсегда! И неужели не найдет она достаточно в себе силы, прозорливости и стойкости, чтобы пройти прямым путем, преодолеть препятствия, победить врагов, прежде всего начав с самой себя? Она не позволит с первых шагов малодушию и страху овладеть собою…

И едва возникла эта решимость, молодая девушка почувствовала прилив энергии и сердечной бодрости.

Она встала, горделиво выпрямилась и даже улыбнулась. В уме ее с поразительной ясностью отразилась величественная фигура Кассиния. Майя видела перед собою его ободрительный взор, его довольную улыбку. Она закрыла глаза, чтобы дольше сохранить в душе сияющий отблеск образа, и торжествующе улыбнулась.

«Сон? — мелькнуло у ней. — Ведь кому ни скажи, не поверят! Для иных мои рассказы — сны, для других — ложь, но для всех — невозможность и сказка… Никому не надо говорить о Кассинии.

Никому, даже отцу. Скажу только, что распростилась со своими видениями навеки, пусть батюшка будет спокоен, а я в своей душе схороню воспоминание. Пусть все уверятся, что это был сон, обман воображения, мираж — Майя. Такая же Майя, как я сама, как всё на свете в этом видимом, обманном, скоропреходящем жизненном круговороте…»

Профессор Ринарди между тем, приехав в замок слишком рано по образу жизни временной госпожи аббатства, нетерпеливо ходил по картинной галерее, в десятый раз осматривая портреты рыцарей и дам баронов Рейхштейн в ожидании, пока кузина выйдет к нему.

Софья Павловна в то утро имела право подняться поздно: она слишком поздно легла накануне, несмотря на раннее возвращение домой, и вообще дурно провела ночь.

Войдя с вечера в свою спальню, она быстро разделась и, набросив пеньюар, села к письменному столу с намерением заняться своей всесветной корреспонденцией, как вдруг ее внимание было привлечено мраморной доской камина, по которой, как показалось, пробежал фосфорический огонек.

Орнаева вздрогнула и побледнела.

«Что еще?.. Чем еще он недоволен?» — мелькнуло у ней в голове.

Словно трусливый ребенок, красавица на секунду зажмурилась, отвернулась от камина и попробовала представить, что ей лишь показалось. «Отблеск свечей, какое-нибудь блестящее отражение», — уверяла она самое себя, самой себе совсем не веря.

Однако надо же посмотреть, удостовериться.

Она не ошиблась: вот оно!

К зеркальному стеклу, между башней средневековых часов и мраморной группой Лаокоона со змеями, было прислонено письмо. И письмо престранное: оно светилось, будто конверт был пропитан фосфором. Послание можно было отличить от тысяч других и увидать даже ночью.

Затаив вздох и сдерживая беспокойное биение сердца, Софья Павловна встала, взяла письмо и вскрыла конверт. Послание было написано по-французски, слогом решительным, хотя утонченным, почерком изящным и тонким, как у женщины, и вместе с тем уверенным и твердым, как у человека, привыкшего повелевать.

Взявшись исполнить поручение, заведомо важное, не следует его откладывать

и забавляться игрой, не стоящей свеч. В последнее время служба ваша весьма неудовлетворительна; берегитесь, чтобы и награда не стала таковой же. Мы щедро платим, но строго взыскиваем. Обещанный документ прилагаю. Это вы устроили хорошо, но, передав его старику, отойдите в сторону. Остальное само сделается. Обратите все внимание на дочь. Она должна быть отвлечена. Понимаете? С нею задача нелегкая. Пока ее сердце молчит, голова ее не затуманится: она не забудет прошлого и не изменит будущему ради настоящего. Следует так устроить, чтобы ее сердце заговорило! На средства – карт-бланш. Время – шесть месяцев. В случае неудачи найдем агента способнее.

Подписи, разумеется, не было, да послание в ней и не нуждалось.

Последняя фраза письма заставила Орнаеву вскочить и забегать по комнате в злобе и тревоге. «Агента способнее»!.. Способнее, в самом деле? Пусть ищут! Уж кажется, ее служба недюжинная. Кто на ее месте согласился бы закабалиться

на всю зиму в этой лесной берлоге, выбросить несколько месяцев, чуть не год из жизни? А ему, этому безжалостному Мефистофелю, всё мало!

Подумав так, Софья Павловна опомнилась: что, если он узнает? Услышит ее негодование — еще хуже обозлится! Ведь у него уши и прозорливость на все и везде. В самых мыслях даже нет для него тайн. Это соображение заставило красавицу умерить раздражение, покоряясь неизбежному року, каковым считала свою многолетнюю кабалу, не на себя, а на судьбу за нее пеняя. Орнаева словно забыла, что шла на договор вольной волею, вполне сознательно; именно для настоящего — ведомого, ощутительного настоящего забыв о неведомом, о далеком будущем. Она сама практично предпочла синицу в руках журавлю в облаках, превосходно зная, что поворота нет, что отречение невозможно… Да, она это знала, но не догадывалась, что добродушная синица в руках превратится в злобного коршуна, готового при малейшей оплошности обращать на отступницу свой кровожадный клюв. Она поздно опомнилась, хотя ее предупреждали, что измена клятвенно принятой миссии влечет гибель.

«Отщепенцам — смерть!» — таким было одно из правил братства, в которое Орнаева вступила

десять лет тому назад и теперь несла ярмо с отвращением, сгибаясь под его часто непосильной тяжестью, — но сбросить не могла: боялась.

Она до ужаса боялась исполнения над ней, в случае измены, жестокого приговора; боялась до малодушной готовности исполнять любые указания слепо и беспрекословно, лишь бы не навлечь на себя гнев братства. Ждать милосердия было немыслимо: Софья Павловна слишком достоверно видела и знала, как непреложно исполняются братством обеты его членов. Награда ли за службу или жестокая кара за преступление обязательств следовали быстро и неумолимо. Бдительный надзор никогда не ослабевал; это явствовало из незамедлительных действий исполнительной власти этой сильной корпорации. Наказание, как и содействие, равно приходили вовремя.

Орнаева еще только собиралась известить своего принципала — единого известного ей члена во всем братстве, того самого барона Велиара, от знакомства с которым она вчера в разговоре с профессором так торжественно отреклась, — о том, что пообещала дать Ринарди определенный документ, и вот, едва она вернулась, нужный ей автограф знаменитого мага графа Калиостро уже на ее столе!.. Посмотреть ли, каково воплощение

ее задумки?

Красавица развернула грубую серую бумагу, бывшую в одном конверте с письмом. Два листа, подшитые полуистлевшей шелковинкой, исписанные выцветшими, пожелтевшими чернилами, во всем, до мельчайших подробностей, были сходны с самой же Орнаевой измышленной латинской рукописью с французским переводом. Софья Павловна пробежала текст, невольно улыбаясь, а затем, дочитав, самой себе громко сказала:

— Прекрасно! Будто под мою диктовку писано, но я сама так искусно никогда бы не сумела.

Она не могла не сознавать, что такое магическое содействие доставляет ей удовольствие и заставляет гордиться своими неведомыми, но очевидно всесильными сообщниками. Но, с другой стороны, как тут надеяться на послабление, на оплошность соглядатаев? Нет, надо быть настороже, действовать усердно. Играя с такими партнерами, нельзя дремать, потому что ставка слишком высока.

И вот Софья Павловна невольно провела совсем бессонную ночь. Чуть не до зари бродила она по своей средневековой спальне. Как львица мечется в клетке, ища исхода, так и Орнаева металась,

ища скорейшего и лучшего разрешения заданной ей задачи. Потом, на заре, она села к письменному столу. Часы пробили пять ударов, а рука обитательницы замка все еще быстро мелькала по почтовым листкам. Десяток запечатанных конвертов красовался на ее столе, когда она наконец, уже под утро, истомленная, бросилась в постель…

Что мудреного, что профессор и другие гости прождали появления хозяйки до часу дня?

Зато, дождавшись, никто не был разочарован, и Ринарди менее всех: Софья Павловна была в тот день особенно очаровательна и сдержала все свои обещания.

Глава XVI

Вернувшись домой, профессор оживленно рассказывал за обедом об интересном обществе, собравшемся в Рейхштейне, и о том, что завтра они непременно должны ехать обедать к Орнаевой: та особенно просила об этом, потому что завтра окончательно нужно решить выбор живых картин. Художник Бухаров — преинтересный и премилый человек! — остается на неделю, и при нем надо все устроить… Но больше и восторженнее всего профессор рассказывал об удивительной библиографической редкости, подаренной ему Софьей Павловной.

— Это, помимо исторической и научной ценности, просто капитал, — повторял он, — целый капитал! Любая академия за него несколько тысяч заплатит, уж не говоря о частных любителях.

— Ты и сам любитель не хуже других знатоков! — улыбаясь, заметила Майя. — Тебе незачем искать охотников!

— Да я и не думаю, даже не думаю!.. Помилуй, вот придет весна, начнутся грозы, и это завещание величайшего оккультиста последних веков еще может мне принесть услугу неоценимую!

И профессор принялся излагать содержание «рукописи Калиостро». Как только он дошел до средства добывания магического огня, Майя пожала плечами и с уверенностью возразила, что лучше бы отец оставил столь неосуществимые надежды, что сомнительные наставления мистиков и чародеев редко дают удовлетворительные результаты, а очень часто навлекают на последователей большие опасности и беды. Но девушка, однако, скоро умолкла, не желая раздражать отца противоречием. Наступило молчание. Ринарди давно уже приглядывался к дочери.

— Ты ничего не ешь, Майя, — заметил он. — Тебе нездоровится? Ты не больна?

— Не больна… Но расстроена, ты прав! — вздохнула Майя.

— Что случилось? — встревожился отец.

— Ничего особенно страшного… Я сама этого давно ожидала, но все же мне очень тяжело. Сегодня ночью я простилась… нет, не я: он, Кассиний, простился со мною.

— Как простился? Почему? Надолго?

— Да, вероятно, надолго. Может быть, и навеки, если я не сумею заслужить свидания! — горько добавила девушка.

Ринарди помолчал, потом тихо спросил:

— Откуда ты знаешь об этом, дитя мое?

— Знаю. Кассиний сам мне сказал… Он просил меня не огорчаться, быть спокойной. Я постараюсь ради него — и ради тебя. Что ж делать, — вздохнула она глубоко, — если необходимо вытерпеть в разлуке с ним долгие и скучные годы для того, чтоб вступить в Белое братство. А тогда уж я с учителем останусь навсегда! Но, говорит Кассиний, этого не может случиться раньше, чем окончатся мои прямые обязанности в жизни.

— Понимаю. Это значит, пока я жив… Но разве твой всеведущий Кассиний не предвидит, что с течением времени у тебя могут явиться другие обязанности? Узы несравненно сильнейшие, чем привязанность дочерняя.

— Разумеется, он все предвидит. Но я надеюсь, что Бог поможет мне себя ничем не связывать. Я никогда не выйду замуж! — заявила Майя.

— Не выйдешь замуж? Не будешь знать любви? Боже сохрани тебя от такой печальной жизни, дитя мое!

— Боже сохрани меня от тягот, забот и горестей брака!

— Неужели твой Белый брат внушал тебе такие ненормальные помыслы?

Майя отрицательно повертела головой, прямо,

с улыбкой глядя в лицо отца.

— Он, напротив, говорил мне, что это было бы естественно, что греха в любви и браке нет. Но я сама надеюсь на иное и молю Бога помочь мне не ведать любви к кому-либо одному, чтобы полнее и безграничнее любить всех… На что мне эгоистические, сомнительные радости обыденной жизни?

— Ах, Майя, девочка моя дорогая! — невольно воскликнул Ринарди. — Уверена ли ты, что это был не сон, не обман воображения?

Грохот колес и щелканье бича у подъезда прервали беседу отца с дочерью. Оба поднялись удивленные: нежданные вечерние визиты в деревне редкость.

В передней с шумом отворились двери, раздались голоса, веселый смех, и разрумяненное морозом, смеющееся лицо Орнаевой, еще закутанной в меха, опорошенные снегом, заглянуло в столовую.

— Вот и мы за вами — к вам же! — закричала она. — Пообедали? Прекрасно! И мы от стола. Решили не терять золотого времени с Дмитрием Андреичем: он горит желанием познакомиться со своей Антигоной… То есть, pardon, cousin! С вашей Антигоной, а своим оригиналом. Бухаров,

что ж вы стоите? Раздевайтесь же, не бойтесь! В этом доме живут не медведи и не педанты, помешанные на формальных церемониях, а добрые, милые, гостеприимные люди, которые нас обогреют лаской и горячим чаем.

Софья Павловна была необычайно мила и весела.

Спутник ее, уже знакомый профессору художник Бухаров, нелюдимостью тоже не отличался. Это был человек средних лет, красивый брюнет с подвижным, выразительным лицом; глаза его изобличали сильные страсти, не успокоенные еще бурной жизнью. Бухаров был давно женат на прекрасной женщине, замечательной не одной только красотой, но умом и талантами. Он и вообще был баловень судьбы, что доказывало и его счастливейшее супружество.

Благодаря большому состоянию жены и громадным заработкам мужа, Бухаровы жили роскошно и гостеприимно. Их приемы, кроме того, отличались артистической оригинальностью обстановки, разнообразием развлечений и смешанными элементами общества, столпотворение которого для многих составляло самую привлекательную черту их вечеров и обедов. Бухаровы знали и любили весь свет; и весь свет,

за немногими исключениями, знал и любил их.

Оригинальная репутация профессора Ринарди и его дочери давно, по слухам, интересовала Дмитрия Андреича как художника, поэта и, кроме того, мистика по влечению. Он обрадовался, когда Орнаева написала ему, что в своей дальней родственнице, «очарованной и очаровательной Майе Ринарди», нашла ему чудный тип для портрета. Бухаров знал развитый вкус и тонкое художественное понимание Софьи Павловны. Кроме того, не прочь был посмотреть на живописные берега Финляндии зимою, а познакомиться с чудодеем-оккультистом и его «очарованной дочерью» — тем более. У него оказалось свободное время, он и воспользовался приглашением, сопутствуемый наказом жены хорошенько все разузнать и постараться уговорить этих интересных людей оставить свою берлогу и показаться в столице.

С первого взгляда Бухаров увидал, что приехал недаром. Еще утром его прельстила патриаршая осанка и разговор профессора; теперь же мистическая красота Майи привела его в восторг неподдельный.

Но Бухаров был человек хоть и увлекающийся, но воспитанный и светский. Он не подал на

первый раз и виду о том, что думает, но твердо решил не упустить такого клада, не передав его, по крайней мере, своему полотну, если окажется совершенно невозможным увезти девушку с собой на украшение и любование той художественно-артистической среды, в которой проходила его жизнь.

В оживленных разговорах, в музыке и веселых предположениях Орнаевой насчет затевавшихся ею живых картин вечер, затянувшийся до поздней ночи, прошел незаметно. Даже Майя была развлечена и охотно поддалась всем затеям Софьи Павловны. Решено было весь следующий день провесть в Рейхштейне, и, к великому удовольствию Бухарова, ни профессор, ни дочь его нисколько не противились намерению написать их портреты.

Первый сеанс был назначен на завтра же.

Садясь в сани, чтобы ехать домой, художник воскликнул в непритворном восторге:

— Софья Павловна, как мне благодарить вас?! Я сам не смею, но поручу жене обнять и расцеловать вас при первом же свидании.

— Qu'à cela ne tienne! [14] Позволяю вам себе

---

[14] Сноски: 14
Это не проблема! (*фр.*)

это позволить самому, если только жена вам позволит! — рассмеялась Орнаева. — Что, ведь не преувеличивала я, когда писала, что эта девушка — находка для поэта и живописца?

— Какое преувеличивали! Да я и ожидать не мог такого изящества, такого ума, знания, талантов и полного неведения своих преимуществ и красоты! Помилуй бог, она прямо-таки премудрый доктор Фауст в образе прелестнейшей из Гретхен! А этот старик тоже оригинал удивительный — древний пророк, волхв по наружности и по знаниям!

— Ну, она гораздо значительнее отца по талантам.

— Согласен. Она какая-то свыше одаренная и просветленная пифия. Удивительные, загадочные люди! Я страшно вам благодарен, Софья Павловна.

— Я так и знала. Но теперь передам вам свои планы касательно этой прелестной девочки. Вы должны мне помочь ее отшлифовать для света. Лишать общество такой самобытной жемчужины и предавать ее увяданию в этом диком захолустье, вы понимаете, грешно. Надо уговорить их перебраться в Петербург, поехать за границу летом. Вывести их, в особенности ее, на

свет божий!

Нечего и говорить, с какой готовностью ухватился за идею Орнаевой художник. Они до поздней ночи строили на эту тему планы совместных действий.

В то же время Майя думала, засыпая: «Ну что ж, Кассиний говорил, чтобы я не чуждалась людей, не сторонилась общества. Лучше начать жизнь — мою новую, обыденную, скучную жизнь — со сближения с такими интересными людьми, как Орнаева и Бухаров, чем ездить в город или к другим соседям на вечеринки с танцами».

И заснула Майя безмятежно; а на другой день отправилась в Рейхштейн. На третий же день, впервые в жизни, осталась ночевать вне родного дома и прогостила две недели у Софьи Павловны Орнаевой, лишь навещая отца, который, впрочем, и сам целые дни проводил в замке.

Одуряющая атмосфера вечной суетни, лихорадочного веселья, окружавшая новую и пока единственную приятельницу Майи, мало-помалу, исподволь и незаметно втягивала ее в свою трясину.

Глава XVII

Опомнившись через месяц, Майя очень изумилась. В одно зимнее утро она вдруг увидала себя в незнакомой обстановке, вдали от родного гнезда, в большом городе среди шумного общества, где все почему-то интересовались ею, восхищались каждым словом ее и каждым движением. Девушку, впрочем, не смущало и даже не удивляло общее поклонение; ее постепенно приучили в Рейхштейне к восторженным хвалам. Она принимала их как ласку, а не как лесть и сама искренне отвечала приязнью своим новым знакомым.

В Петербурге, в обширном обществе, которое она нашла у Орнаевой и Бухаровых, друзей нашлось ей множество. Театры, опера, выставки, даже презираемые ею заглазно балы произвели на Майю блестящее впечатление. Она охотно осталась бы дольше гостить у Бухаровых, которые ее усердно о том просили, но отец, пробывший только с неделю в столице, писал грустные письма, по которым Майя предположила, что он болен, испугалась и решила тотчас ехать домой.

Тогда и Орнаева собралась, уверяя, что только ради молодой подруги и жила здесь.

На первой неделе поста они возвратились: Майя, как в чаду от множества новых впечатлений, и Орнаева, сильно озабоченная. Из данного ей срока оставалось менее четырех месяцев, а она не видела у Майи никаких признаков сердечных движений.

— Легко ему приказывать: «Устройте, чтобы ее сердце заговорило», а если оно не может, не умеет говорить? Ведь бывают немые от природы! — досадливо иронизировала она сама с собою. — Эта девочка, как истое создание не от мира сего вроде русалки или эльфа, не поддается никаким человеческим чувствам. Уж я ль с ней не бьюсь — и ничего! Ни кокетства, ни тщеславия, я уж не поминаю о влюбленности… Это не живой человек, а поэтическая кукла, набитая мистицизмом.

Так рассуждала Орнаева, но, в сущности, в Майе произошла большая перемена. Она не влюбилась ни в кого, это правда, но вошла во вкус развлечений, начала ценить блеск и удовольствия, которых суетность осудили бы те, чье одобрение в прежнее время доставляло Майе величайшее счастие. Месяц в городе среди вечной суеты и праздности свел ее с колеи, приучил не думать о том, что сказал бы Кассиний о ее препровождении времени. Среди массы развлечений, о

которых прежде не имела понятия, девушка не то чтобы совсем забыла наставника, но уже не так много и часто о нем думала. Однако, едва Майя вернулась домой, ее охватили воспоминания, и она сама себе ужаснулась, сообразив, как мало во все это время думала о прежнем, как редко вспоминала наставления своего духовного друга.

Прошедшее нахлынуло и охватило ее с новой силой, как только она вошла в дом, где протекло ее детство. С непривычки девушке казалось, что она целый век здесь не бывала. Ей так захотелось полнее окунуться в прежнюю атмосферу, что она рада была остаться одна с отцом, когда уехала Орнаева.

Того же нельзя было сказать о профессоре. Целуя и сжимая в объятиях дочь, он смотрел на улыбающуюся ему кузину и припал к руке ее с горячностью не меньшей. Ринарди едва ли не одинаково скучал по ним обеим, пока они были в Петербурге, и не раз ловил себя на размышлениях: как хорошо жилось бы ему на свете оставшиеся годы, если бы так или иначе Софья Павловна навсегда поселилась бы с ними. Пожалуй бы, даже с ним одним, предполагая возможность выхода замуж дочери… Профессор легче примирился бы с последней необходимостью, чем с мыслью

о разлуке с соседкой, о ее отъезде навсегда. Он горячо мечтал — и даже имел некоторое право надеяться, — что не будет осужден на столь несчастную долю: ответы Орнаевой на письма, где Ринарди сетовал на старческое одиночество, давали ему вполне определенные надежды.

Оставшись с Майей один, он попытался в подробностях разузнать об их приключениях в столице, однако дочь, напротив, без конца возвращалась к тому, что было прежде, вспоминала то, что для профессора утратило интерес со времени знакомства с кузиной. В своих стремлениях отец с дочерью теперь совершенно, в корень, расходились. Старика занимали лишь мысли об Орнаевой и нетерпеливое ожидание весенних гроз, которые могли — попросту должны были с помощью строгого исполнения всего, что предписывалось в наставлении Калиостро, — дать профессору ключ к великому могуществу. А дочь его тем временем находилась на каком-то и жизненном, и нравственном перепутье, между влечением сердца к заветам чудодейного прошлого и разнообразием новых впечатлений. Теперь, когда столичные дни миновали, она сильнее была одурманена их богатством и новизной, чем когда они были действительностью настоя-

щего, поскольку тогда, в чаду развлечений, сразу не сумела разобраться в себе.

Но и в деревенском затишье Майя не была ограждена от влияния этих новых в ее жизни сил. Ни Орнаева, ни ее столичные приятели не оставляли девушку без известий. Первая то и дело привозила читать вслух письма их общих знакомых с восторженными панегириками Майе, сожалениями об отъезде ее, чуть ли не с объяснениями ей в любви; вторые и сами не дремали: не только писали самой девушке, но писали и о ней, усердно присылая в имение все нумера газет и журналов, где о ней говорилось. Хотя Майю в заметках не называли прямо по имени, но несомненно говорили о ней, превознося до небес. Поводом к печатным восхвалениям послужила выставка картин Бухарова, где то и дело попадались портреты барышни Ринарди в разных видах: «Эдип и Антигона», «Вдохновенная», «Лесная фея» и далее без конца.

По наружности, однако, никто не угадал бы в Майе поворота к суетности; напротив, она по виду стала величава, спокойна и уверена в себе, как женщина, много испытавшая в жизни. Попав снова в родную обстановку, охваченная прежней атмосферой, воспоминаниями всей жизни,

Майя Ринарди сразу стала серьезнее, сосредоточеннее и с жаром вернулась к продолжению занятий, начертанных для нее Кассинием. Под влиянием этого к ней отчасти вернулось внешнее величавое спокойствие, заставлявшее многих предполагать, что она невозмутимее и недоступнее, нежели то было в действительности.

Тем временем наступала весна — дружная, яркая, смеющаяся.

В прежние годы Майя Ринарди целыми днями пропадала бы в лесах и рощах; теперь она почти не выходила ни в парк, ни в сад, а в Рейхштейн упорно отказывалась ездить. Она едва ли не безвылазно сидела у себя на «вышке», перечитывала прежние нравственные и научные уроки, записанные ею со слов наставника, или продолжала одинокое учение по книгам, им указанным. С отцом она теперь редко проводила время: тот был занят в лаборатории или кабинете опытами, которые ее не интересовали. Майя считала себя вправе не вмешиваться, потому что профессор и сам явно ее сторонился, даже скрытничал с нею по поводу своих занятий, о которых Орнаева теперь знала гораздо больше, чем Майя. Эта добрая родственница, впрочем, сама почти переселилась к ним: дурные дороги не допускали

в замок гостей, а Софья Павловна ничего так не боялась, как одиночества. К тому же близость к отцу и дочери, постоянное наблюдение за ними, именно в настоящее время, для нее были очень важны, так что ей пришлось пустить в ход всю свою изобретательность, хитрость и влияние.

Половина срока, ей данного, истекла. Сюда, в их захолустье, никого нельзя было ожидать в такую распутицу, а профессор под влиянием каких-то особых расчетов решительно заявил, что не двинется из деревни ранее окончания своих опытов — ранее, чем пронесется над ними седьмая весенняя гроза…

Поди жди ее!.. Эта гроза, быть может, не прогремит в их небесах и до июля, — а в июне наступит роковой срок! Орнаева теряла голову. От беспокойства и страха она даже похудела и писала отчаянные письма своему принципалу.

В начале мая, в одну совсем белую ночь, войдя в свою комнату, Орнаева бросилась, утомленная, измученная неудачами, в кресло. Что ж это такое, наконец? Чем виновата она, что ей ничто не удается? Книг, которые она дает Майе, та не читает, советов не слушает, даже к самым речам тетушки невнимательна. Софья Павловна так рассчитывала на влияние этой поездки — и что

же вышло? Ничего!.. Майя теперь и не вспоминает ни о ком из своих поклонников. Да и их, дураков, ни одного не заманишь сюда никакими просьбами. Ухаживать, пока девица на глазах, восторгаться — это им по нраву! А на что-нибудь решительное пойти не хватает силенок. Ах, если бы Майя была богата, если бы за поэтической ее красотой стояла прозаическая, но внушительная цифра приданого, которой можно было бы ослеплять нерешительных претендентов! Тогда они не побоялись бы распутицы. Много бы охотников нашлось очертя голову вступить в конкурсное соискание взаимности барышни и ее руки. Задача тогда была бы несравненно легче, но этот старый дурак, не стесняясь, вправо и влево успел ославить, что разорился на свои аппараты и опыты, а бесприданница-невеста у нас, известно, будь она одарена красами и талантами не одной только крестной матерью-колдуньей, а целым сонмом ведьм и волшебниц, в матримониальной игре банка не сорвет. Она, Орнаева, пыталась было распространять молву о богатстве Ринарди, прекрасно зная, что, если на то пойдет, братство не постоит за суммой приданого; недаром в том письме давали на средства карт-бланш. Но какими средствами заставить отца или дочь взять

деньги? Они ни за что не согласятся принять подарка даже от нее, своей мнимой родственницы. Хоть бы устроили так, чтобы на их выигрышный билет выпал славный куш!..

При этой мысли, ей блеснувшей, Орнаева вскочила, хлопнув себя по лбу.

Это была счастливая идея, но… есть ли у них билеты выигрышных займов? Это еще вопрос. С такими людьми, не от мира сего, всё вопрос! Любые практические дела им по принципу и на практике чужды. Но это можно поправить: заставить купить билет или упросить Майю принять его в подарок.

Или еще вернее: попросить старика разменять ей купон. Мол, давно хотела продать… Как-нибудь можно убедить Ринарди, а тогда уже их дело устроить так, чтоб на этот билет пал выигрыш… Разумеется, огромный! Принципал справится без затруднения, если это нужно для дела. Разумеется, двести тысяч — не Голконда [15], но…

Орнаева вдруг остановилась как вкопанная, пораженная не звуком голоса, а скорее сознанием чужого голоса возле или даже внутри себя.

«Нет! — говорил голос. — Это не нужно».

---

[15] Сноски: 15

Богатый султанат в Центральной Индии XVI–XVII вв., в переносном смысле — неисчислимые сокровища.

И в ту же минуту ей блеснул на камине зеленовато-синий огонек.

Как виноватая, вся холодея внутренне, Орнаева взяла светящееся письмо и прочла его с тяжелым замиранием сердца. Но ничего страшного в нем не оказалось. Всего две строчки:

> *Сами пришлем кого нужно. Примите гостя как родного, как неожиданно навестившего вас сына вашего лучшего друга. Имя ему – Карма.*

Улыбка успокоения, даже торжества вернулась на лицо красавицы, и она со вздохом облегчения прошептала:

— Карма? Символическое имя! На их языке — воздаяние, непреложный закон возмездия. Наконец-то! Авось теперь наше дело выгорит…

И вновь эхо ли собственного ее голоса, или действительно кто другой прошептал вслед за нею, но она явственно услышала свое последнее слово, повторенное тоном насмешки:

— Выгорит!

Глава XVIII

Раз утром, встретясь за завтраком, профессор, необыкновенно оживленный, сказал дочери:

— Ну, милочка, приснился и мне необычайно яркий сон.

Майя посмотрела внимательно на отца и спросила:

— Что ж за сон тебя так порадовал, папа?

— Да уж и не знаю, право, сном или светлым видением назвать мне свою ночную грезу, — начал рассказывать Ринарди. — Меня посетила богиня! Уверяю тебя, милочка, что ко мне нынче спустилась сама Юнона или премудрая Изида. Представь себе, я даже не сумею точно сказать тебе, как я ее увидел и какой у ней был вид. Знаю только, что я вдруг ощутил возле себя чье-то светлое, желанное присутствие. Я открыл глаза и увидел образ женщины, которую вначале принял за тебя, Майинька. Она стояла на пороге дверей на лестницу в обсерваторию и манила меня вверх, за собою.

— И ты пошел за ней? Послушал ее?

— Без сомнения! Во мне даже ни на секунду не родилось колебания. Столько привета было во

взгляде ее, столько повелительности в призыве, что я последовал за ней, как за магнитом…

— Напрасно. Никогда не поддавайся таким видениям. О, красавицы, являющиеся ученым, часто завлекают их в беду! Разве ты не читал…

Добродушный смех отца прервал ее речь.

— Полно, девочка моя! Ты меня смешишь. Разве я волен в своих снах?

— Да, если это был только сон, простой сон.

— Друг мой! Простой иль не простой — разве могу я знать? Ведь я не одарен, как ты… Во всяком случае, выбор действий мне не был дан. Я не мог не идти, пошел — и не раскаялся! Ты помнишь зрелище, что осенью показывал нам с тобою барон Велиар?

— Тсс! Бога ради, не произноси этого имени! Не напоминай мне об этом ужасном человеке! — болезненно-раздражительно отвечала Майя.

— Хорошо, хорошо, дитя мое! Успокойся… Я хотел только объяснить, что виденное нами тогда на одной планете я увидал без всякого аппарата в своем волшебном сне на всех светилах, покрывавших небо. Вообрази это чудное зрелище!.. Едва взойдя на вышку, я обнаружил, что весь небосклон горит чудесными разноцветными звездами, а когда я устремлял глаза на

которую-либо из них, как она мгновенно словно приближалась ко мне, так что я мог свободно различать географические очертания и даже населенные пункты. А моя чудно величественная женщина-богиня стояла возле и рассказывала мне этнографию и историю каждой из планет. Я, помню, во сне подумал: уж не София ли это, о которой ты рассказывала, навестила меня?

Майя отрицательно покачала головой.

— Нет, отец, оставь эти мысли: Белые сестры на такие бесцельные проявления не тратят сил. Не сердись, папа!.. В их глазах, как я говорила тебе, занятия твои бесцельны, потому что прямого приложения им нет: все те открытия, к которым ты стремишься, были бы преждевременны. — Девушка крепко обняла отца и, любовно прижавшись к нему, продолжала: — Ты лучше послушай, что я тебе расскажу: помнишь ты свое раннее детство?

Профессор задумался и переспросил нерешительно:

— Раннее детство? Нет. Я тебе скажу почему…

— Постой! Я сама тебе скажу: потому, что по седьмому году ты заболел мозговой болезнью, после которой потерял память обо всем, что до этого было.

— Да! Я говорил тебе?

— Нет, папа, не ты мне это говорил, а Кассиний. Прощаясь, он наказал мне не забывать ни уроков его, ни тем более его самого, потому что со мною он пробыл необыкновенно долго. С другими Белые братья и сестры не могут быть долее их отрочества, лет до десяти, до двенадцати. Им, видишь ли, очень мешают окружающие избранных ими детей, особенно тех, что живут в людных, больших городах. Большей частью наставники удаляются, как только отрочество приходит на смену детским годам. Со мною же Кассинию посчастливилось потому, что я жила в чистой, здоровой атмосфере и в тихой среде, почти в одиночестве. А главное, потому, что почва, на которой я росла, была необыкновенно благоприятна…

Майя склонилась близко-близко к отцу и чуть слышно шептала ему на ухо, будто боясь, что у самих дверей и окон бывают уши.

— Он говорил, что мои способности с обеих сторон наследственны! Что вы сами, ты и мама, были такие же, как я. Ты — до семи лет, а мама дольше, до пятнадцати.

— Как, и я?.. Твоя мать — быть может. Она часто проговаривалась о таких воспоминаниях и

таких странных понятиях, что, соображая впоследствии, я сам догадался, что она передала тебе отчасти свои способности и свойства. Но я?!

— Да, ты, папа. Только ты совершенно все забыл после болезни, а мама кое-что вспоминала.

— Но, дружочек мой, как могло это статься? Забыл бы я, помнили бы старшие, меня окружавшие, — протестовал Ринарди.

— Ах, батюшка, полно! Мало ли детей рассказывают старшим, что они видят и слышат, какие с ними случаются дивные дива, — но что делают взрослые? Разве помнят они или обращают внимание на эту «болтовню и вздорные бредни»? Так случилось и с тобой. Кассиний знал и тебя, и маму с рождения и любил вас обоих. Он оттого и пришел ко мне, что сначала надеялся на маму, но она умерла, однако успела ему меня поручить.

— Так она видела Кассиния? Узнала его, вспомнила? — дивился профессор.

Он задумчиво слушал рассказы дочери, как слушают старые люди давно знакомую, с детства милую сказку, которую ум отвергает, но признаёт душа.

— Да, когда мама заболела, к ней вернулись ее способности. Она тогда снова увидала и признала учителя. И, видно, ему доверяла, если просила

меня не оставлять.

— Она просила? А между тем он все же, говоришь ты, тебя оставил…

— Оставил, но не совсем! — горячо возразила Майя, в увлечении возвышая голос и не замечая, что на пороге столовой, за спиной их кто-то появился и неслышно замер, прислушиваясь. — Во-первых, он вооружил меня на бой житейский всем тем, чему учил: ведь у меня томы дневников, где записаны под диктовку все уроки Кассиния, всё, что я слышала и видела. С таким оружием мне мудрено забыть его наставления и обещания, хоть он и говорил, что забвение приходит всегда незаметно и скоро. Да и кроме того…

— В такие юные, неопытные годы самые премудрые наставления бессильны без руководящего, живого участия, — возражал Ринарди.

— За неимением руководящего участия Кассиния у меня есть от него память… — И девушка выдернула цепочку, на которой всегда висел на груди талисман, данный ей Белым братом. — Посмотри, отец: вот что он мне подарил! Я во всю жизнь не расстанусь с этим медальоном и надеюсь, что он охранит меня от всех житейских бед.

Шорох, раздавшийся за ними, заставил профессора оглянуться, а Майю — скрыть поспешно

талисман свой на груди.

За дверями раздался голос еще невидимой Орнаевой, которая, лишь мельком увидав талисман и услышав предпоследние слова молодой девушки, быстро отступила назад в коридор и оттуда спрашивала:

— Можно к вам? Или, вход запрещен?

Ринарди быстро поднялся и пошел навстречу кузине с протянутыми дружественно обеими руками:

— Для вас — никогда! Милости просим.

Софья Павловна вошла, как всегда оживленная и приветливая; только тревожный огонек в глазах и маленькая временная бледность позволяли заметить: красавица только что чего-то испугалась или чем-то поразилась до того, что кровь отхлынула к сердцу.

Между веселой болтовней, которой Орнаева привыкла часто прикрывать свои чувства и размышления, она то и дело украдкой бросала тревожные взгляды на Майю и думала: «Вот оно что!.. Вот причина и разгадка ее неуязвимости. Почему же они меня не предупредили? Неужели сами того не знали?.. Неужели Белый брат настолько сильнее их?!»

Но Майя, утратившая свои ясновидящие спо-

собности, не прозревала мыслей Орнаевой и даже не догадывалась, что та слышала что-либо или видела заветный талисман.

Глава XIX

Прошло еще несколько дней, и весеннее солнышко так пригрело землю, что из нее брызнули не сеянные людскими руками, а щедрой матерью-природой рассыпанные красы. Окружные леса и рощи оживились щелканьем, свистом, жужжанием, приодевшись в светлые наряды, и благоухали первоцветами.

Раз Майя, подойдя к окну, увидела, что садовник в цветнике снимает с тачки молодые ландыши и пересаживает их на гряды.

Уж ландыши расцветают, а она еще не составила ни одного букета, не сорвала в лесу ни одной фиалки, не переступала садовой ограды.

Сегодня непременно пойду гулять подальше в лес, решила Майя и за завтраком сказала отцу, что уходит и чтобы не ждали ее ранее обеда.

Профессор даже обрадовался, что к дочери возвращаются старые привычки. Он только посоветовал не уходить слишком далеко и почаще поглядывать на небо.

— Сегодня необыкновенно жарко, — отметил он. — Так сильно па́рит, а барометр так падает, что, вероятно, к вечеру будет гроза. Смотри не

вымокни.

— Не беда, ведь я не сахарная, — засмеялась Майя.

Отец очень давно не видал ее такой оживленной и веселой. Он и сам в это утро был в прекрасном расположении духа и, глядя на Майю, которая остановилась в цветнике, о чем-то спрашивая садовника, профессор потирал самодовольно руки и думал: «Ах ты, красавица моя! Погоди, озолочу я тебя скоро! Даст бог, с лихвой возвращу достояние твое, растраченное на мои изыскания. И богатство тебе дам, и славное имя! И не одну тебя, а весь род человеческий облагодетельствует твой старый отец, несмотря на твои сомнения. Вот уж третья счетом гроза сегодня будет. Еще четыре, и могут — просто-таки должны исполниться мои лучшие надежды!»

И Ринарди радостно потирал руки, оглядывая яркое, ясное небо взглядом, полным ожидания и вызова.

Майя между тем быстро шла через парк и поле к лесу. Ее вдруг в то утро потянуло к старым привычкам; захотелось подышать ароматом земли и молодой зелени, порыться в сырой насыпи многолетней перепрелой листвы и мха между соснами и березами, набрать в корзину букетики

фиалок и целые вороха ландышей. Но чем ближе подходила она к опушке с колыбели знакомого бора, тем сильнее, помимо воли, ее охватывало чувство тревоги, жуткое чувство не то печали, не то боязни… Печаль легко было объяснить: Майя впервые пришла в эти полные светлых воспоминаний места со времени смерти ее верной спутницы, бедной Газели. Разлука с Кассинием, исчезновение из жизни всех тех светлых видений, которыми та была богата, которыми так оживлены бывали в былые времена эти самые поля и рощи, наконец, трагическая гибель четвероногого друга достаточно объясняли грусть девушки. Но что заставляло сердце сжиматься, как перед бедой? Чего ей бояться?..

Красота стояла в небе и на земле. Птицы радостно реяли в светлой выси, озаренной ярким солнцем. Пригретые им до истомы, луга и леса благоухали, расцветая и нежась в ласкающем тепле и свете; перелетные цветы — бабочки, пчелы, мотыльки — кружились в воздухе, купаясь в нем и упиваясь им для нового возрождения к жизни.

Но вот блеск и сияние полей сменились дымчатой тенью с золотистыми просветами между деревьев, с перебегающими по земле круглыми

солнечными пятнами: Майя вступила в березовую рощу. Белые березки в светло-зеленых кудрях радостно перешептывались со своими обитателями, суетливыми пташками. За рощей на пригорке темнел бор, а за ним, Майя знала, был глубокий овраг, по дну которого бежал гремучий ручей. Туда она и направлялась тихой походкой, осматриваясь, думая, вспоминая и то и дело наклоняясь, чтобы сорвать фиалку или ландыш.

Вот и частый, темный, неподвижно-таинственный бор. Здесь царили сырость и прохлада; синие тени еле перемежались просветами солнечных лучей, которые играли на красно-бурых стволах сосен и старых, угрюмых корявых елях.

Майя еще более замедлила шаг. Вся детская любовь ее к лесу, к этой заповедной обители чудес, наяву и во сне с ней случавшихся когда-то, вернулась и охватила девушку чувством блаженного ожидания, надежды на нечто, чего сама она определить не умела. Полной грудью вдыхала она тонкие ароматы леса, зорко присматривалась и чутко прислушивалась, останавливаясь на каждом шагу.

Нет! Ничего не видно и не слышно прежнего, но и нужды нет: Майя всем бытием своим чуяла, что прежнее окружает ее! Хоть невидимая

и недоступная прямому ощущению, но золотая сеть видений, озаривших ее детство, никогда не чувствовалась ею ближе, и давно уж настороженному слуху провидицы не чудились так ясно посторонние голоса.

Чу!.. откуда этот лай?

Майя вся подалась вперед, прислушиваясь.

Лай доносился явственно, все ближе и ближе, будто собака мчалась к хозяйке большими скачками и на бегу радостно лаяла.

У Майи дыхание остановилось в груди, а сердце, болезненно сжавшись, забилось: лай этот так был похож на голос ее Газели, что девушка готова была принять его за обман воображения.

«Эхо прежних радостных прыжков Газели?» — подумала она, но в ту же секунду вся задрожала и, выронив корзину с цветами, рванулась к мелькнувшей между деревьями белой собаке.

— Газель! Газель! — сама не зная как и зачем, закричала Майя и, пораженная, остановилась, словно приросла к месту…

В первую секунду она было опомнилась, что поступает безумно; но когда белая собака, вылитая ее Газель, остановилась, повернув голову на зов, и с радостным визгом устремилась к ней, Майя потеряла всякое соображение. У нее подкосились

ноги, и она упала на колени, прямо на грудь приняв собаку, забросив ее лапы себе на плечи, будто сразу узнав в ней старого друга.

— Газель!.. О боже мой… Да что ж такое? Ты ли это, голубушка, дорогая моя Газель?!

Девушка обнимала собаку, гладила, целовала, ощупывала ее и себя, стараясь понять, в чем дело, убедиться, что это не сон, не обман чувств и зрения.

И красивая собака ластилась к хозяйке, лизала ей руки, радостно взвизгивала.

Наконец Майя опомнилась, шатаясь поднялась с земли и закрыла глаза обеими руками, уверенная, что это только видение. И точно, все смолкло.

Собака не прыгала, не лаяла более; все замерло и было тихо.

В полной уверенности, что ей это привиделось, Майя отняла руки и открыла глаза.

Открыла — и отшатнулась.

Нет! Не привиделось. Собака тут, смирно сидит у ног ее, но на хозяйку не смотрит. Она подняла свою красивую тонкую морду и устремила умный взгляд вперед, будто выжидая оттуда кого-то.

В нескольких саженях от них, между двумя могучими соснами, стоял, держа лошадь в поводу,

молодой человек в рейтфраке [16] и с хлыстом в руке.

— Arzèle ici! [17] — тихо позвал он свою собаку.

Но та не двинулась с места, а только тихонько, жалобно взвизгнула, слегка рванулась грудью вперед, но тотчас снова замерла; сидя на задних лапах и хвостом выбивая дробь по земле, она так смотрела на хозяина, словно звала его самого приблизиться.

Незнакомец улыбнулся и повторил настойчивее:

— Arzèle, viens donc!.. Viens ici, mon bon chien [18].

Тут наконец опомнилась и Майя.

— Извините меня, — сказала она тоже по-французски, потому что молодой человек почему-то показался ей иностранцем. — Я подозвала вашу собаку оттого, что она удивительно похожа на мою, которую… которая погибла прошлой осенью. У них и имена оказываются очень сходны. Вашу зовут Арзель, да? А мою звали Газель, и…

---

[16] Сноски: 16
Короткий фрак для верховой езды.

[17] Сноски: 17
Арзель, сюда! (*фр.*)

[18] Сноски: 18
Арзель, иди же! Иди сюда, моя хорошая собачка (*фр.*).

боже мой, до чего они сходны! — вырвалось у нее со вздохом.

Собака, услыхав снова свое имя, бросилась ласт иться к девушке, и та горячо возвращала ей ласки, готовая заплакать.

— Это я, напротив, должен просить у вас прощения, — произнес молодой человек, ласково глядя на Майю своими черными бархатистыми глазами. — Моя глупая Арзель напомнила вам потерю вашей собаки, и мы с ней стали невольными виновниками вашей печали.

Майя не успела ответить, как незнакомец спохватился:

— Ах, боже мой, вот еще несчастие! Вы рассыпали цветы… Позвольте мне хоть в этом загладить свою вину!

И он, бросив поводья лошади на сучок дерева, сам кинулся собирать в корзину рассыпанные фиалки и ландыши.

Майя со смехом присоединилась к нему, смущенно извиняясь и смущаясь еще более тем, что руки их то и дело сталкивались на мху и кочках, посыпанных благоуханной жатвой.

Наконец цветы были собраны. Траурные фиалки и жемчужинки-ландыши, похожие на слезы, легли в корзину в беспорядке, кое-как, пополам

со мхом и землей. Майя первая встала.

Поднялся и наездник, выпрямился и подал корзину девушке со словами:

— Ну, слава богу, дело наполовину исправлено… Все же с моей совести снята часть прегрешения.

— Которого и не было совсем! Во всем я одна виновата. Благодарю вас и… до свидания.

— Надеюсь! — сорвалось у него с языка.

Девушка, наклонившись, гладила в эту минуту Арзель.

Услыхав его «надеюсь», Майя вскинула глаза и вдруг рассмеялась.

— Без сомнения, если вы не проезжий, а думаете здесь пробыть несколько времени. У нас немного соседей, и все мы знакомы.

— Если, как я предполагаю, вы m-lle Ринарди, — перебил молодой человек, — то не далее как завтра я надеюсь увидеться с вами… Я гость Софьи Павловны Орнаевой.

И на удивленно устремленный на него взгляд Майи владелец собаки с поклоном прибавил:

— Позвольте мне себя назвать: граф Ариан де Карма.

— Иностранец — и так свободно говорите по-русски? — не могла не изумиться Майя.

— О, это неудивительно: моя мать, княгиня

Белопольская, урожденная княжна Малорукова, по второму браку рано овдовела и безвыездно поселилась в России, в своем имении, тотчас после смерти отца моего. Я вырос на берегах Днепра и, несмотря на имя, больше русский, чем итальянец. — Молодой граф снова снял шляпу и, поклонившись, добавил, весело глядя на новую знакомую: — Итак, я надеюсь, вы позволите мне, на этот раз с полным убеждением, сказать вам: до свидания!

— И, вероятно, очень скорого! — так же весело отвечала ему Майя и протянула руку.

Граф быстро сдернул перчатку и крепко пожал протянутую ему, тоже без перчатки, руку. И странное дело: едва сблизились пальцы их, с обоими молодыми людьми сталось нечто чудесное, никогда прежде не испытанное… Он сразу почувствовал, что эта девушка ему бесконечно дорога, — явление бывалое если не с ним, так с другими, и вполне понятное; но почему на Майе первое же пожатие руки сразу полюбившего ее человека отозвалось таким болезненным ударом в сердце? Почему она побледнела и похолодела, и в глазах ее свет помутился до того, что она едва устояла на ногах под гнетом невыносимо тяжкого ощущения, а сердце сжалось и замерло, как под

ударом ножа, лишившего его жизни…

Собрав все силы, Майя кивнула новому знакомцу и, не глядя, хотела скорее уйти, но не сделала и двух шагов, как граф Карма воскликнул:

— Позвольте, m-lle Ринарди! Не вы ли это потеряли?

И наклонившись, поднял что-то с земли.

Майя взглянула: в руках его был ее талисман с порвавшейся цепочкой. Он, вероятно, выскользнул из-за корсажа, зацепился за что-нибудь и оборвался, пока она ползала по земле, собирая цветы; а она и не заметила своей потери.

— О, слава богу, что вы нашли… Да, это мой медальон. Благодарю вас!

И дрожащими руками девушка снова надела подарок Белого брата, связав тоненькую цепочку несколькими узлами. Она совсем забыла слова Кассиния: «Никому не позволяй дотрагиваться до своего талисмана. Ты не будешь более ограждена от влияния человека, который возьмет оберег в руки. Если же это будет любящий тебя человек, ты совершенно не сможешь устоять перед его волей…»

Таковы были слова наставника, но Майя совсем упустила их из виду и, подумав: «Так вот отчего мне было так тяжело!», с облегченным сердцем

взглянула на графа, доверчивая и улыбающаяся.

В эту минуту со старой сосны над головой ее слетел огромный ворон. Зловещая птица, тяжело рассекая воздух крыльями, пролетела над Майей, и троекратное громкое карканье запечатлело свершившееся.

Глава XX

Был чудный вечер конца весны. В замке Рейхштейн все окна и двери были открыты, комнаты утопали в цветах. Солнце, розово-огненное, уж полчаса ползло вдоль деревьев парка, проливая на округу золотистый туман, полосуя поляны светом и сине-прозрачными тенями, зажигая пламенем стекла окон замка и красным заревом озаряя воды, и никак не могло решиться исчезнуть за горизонтом.

У Софьи Павловны, кроме профессора Ринарди с дочерью, графа Кармы и постоянно гостивших друзей, обедали в тот день приехавшие из Гельсингфорса двое ученых, из которых один оказался большим знатоком этого края, местных сказаний и легенд. Он высказал намерение пройтись по всему замку и даже подняться в башню, всегда запертую, потому что она более других пострадала от времени.

Оказалась, что хозяйка и сама не бывала там.

— Так, значит, вы не поинтересовались увидеть и оживающую картину? — спросил ученый.

— Какую это оживающую картину? — изумилась София Павловна.

— Как? Неужели вам не знакомо самое замечательное предание этого замка?! В восточной башне, наверху, есть знаменитая «зала влюбленных», названная так потому, что некогда там жили молодые супруги, коих изображения вы и ныне найдете на стене. Это большая картина, все фигуры на ней в полный рост; она изображает свадебный пир тех самых влюбленных, дамы и рыцаря, давших зале ее название.

— Вот как… Но почему же картина оживающая? — спросила Орнаева. — Как и когда она оживает?

— Предание говорит, что, как только входят в эту залу будущие супруги, все лица на картине начинают двигаться и принимают участие в их веселии.

— То есть как же это принимают участие?.. Оживают?! — спросили несколько голосов.

— Да, вероятно… — ответил ученый.

— Ах, да-да, как же! Я было позабыл эту историю, а ведь знаю ее давно! — вмешался профессор Ринарди. — Рассказывают даже, что в ночь годовщины той достопримечательной свадьбы все действовавшие в ней лица, изображенные на картине, сходят со стены и начинают танцевать.

— Без музыки? — засмеялась Орнаева.

— Этого не могу доложить вам. Если воскресают и музыканты, тогда, может статься, бал проходит по всей форме.

— Ах, да это преинтересно! Пойдемте туда, пожалуйста! — заговорили все кругом.

Орнаева послала к управляющему: надо было отпереть башню, осмотреть лестницы и удостовериться, что туда возможно добраться безопасно.

Разговор, попав на любопытную тему таинственного, на ней, разумеется, и остановился. Кто-то из скептиков заспорил с Майей, поддержавшей отца. Граф стал за нее заступаться…

Со времени первой встречи молодых людей прошло около двух недель; они виделись за это время каждый день и очевидно «между собою ладили», как говорила Софья Павловна. В ежедневной близости уединенных бесед, долгих прогулок, которым никто не мог и не желал мешать, Ариан и Майя сблизились так коротко, что обоим казалось, будто они всю жизнь друг друга знали… и любили! Да, любовь с обеих сторон пришла бессознательно и вполне самобытно. Граф Карма, слепое орудие в руках сил, о существовании которых он и не подозревал, временно подпал под их волю в силу некоторых посторонних влияний, ему совершенно неведомых.

Возвратившись из-за границы в свое русское имение, где граф провел все детство и отрочество, нашел в бумагах матери несколько писем, где любовно поминалось имя Софьи Орнаевой, и тут же получил от этой дамы приглашение навестить ее в Рейхштейне. Не останавливаясь нимало на странности того факта, что он лично ничего не помнил об этой особе и никогда ее не видал, Ариан, повинуясь лишь необъяснимому влечению, решился тотчас воспользоваться приглашением Софьи Павловны, ответил, что едет, отправился в те места и чуть ли не в первый же день повстречался с Майей.

Граф Ариан был неизбалованный, честный человек. Любовь к Майе, охватившая его сразу, стала для него первым серьезным чувством. Он полюбил ее именно той искренней, беззаветной любовью, которая имела власть бороться с воспоминаниями девушки, с заветами ее прошлого и могла иметь силу побороть их, заставив Майю все забыть. Принципал Орнаевой барон Велиар недаром писал ей о Майе: «Пока ее сердце молчит, она не забудет прошлого и не изменит будущему ради настоящего…»

Вероятно, опыт показал соратника барона, что избранники их светлых противников — адептов

духовных начал бытия — обезоруживаются лишь тогда, когда сами более или менее погрязают в индивидуальных, эгоистических чувствах.

Увы! Майя уж и теперь начинала забывать многое, что ею самой записано было со слов Белого брата. Она еще поддерживала память о наставлениях учителя чтением собственных дневников и сама изумлялась, как часто находила в них фразы, казавшиеся ей незнакомыми; но вот уж много дней девушка не касалась своих записей и, верно, удивилась бы, если бы ей напомнили некоторые в них строки и сказали, что они ныне именно ее касаются. «Когда на помощь темным силам пробуждаются в юношах страсти, — говорил ей когда-то Кассиний, — отречение от духовной жизни совершается незаметно. А едва наш избранный окунется в материализм окружающей жизни и постигнет сладость плотских наслаждений, его неминуемо охватывает полное забвение не только учения нашего, но и нас самих — всего, испытанного им в детстве и отрочестве благодаря общению с Белым братством…»

Еще очень недавно Майя в разговоре с отцом поминала подобные слова оставившего ее учителя; еще недавно она была убеждена, что жизнь ее пройдет одиноко, вне влияния эгоистической

любви; еще недавно с ужасом говорила, что неспособна к забвению, «этой худшей из неблагодарностей», — а между тем теперь уже была на рубеже измены и отречения, хотя сама того не сознавала и никак не думала, что отношение ее к молодому графу очевидно и ни для кого не составляет тайны.

Когда гости обошли замок и восточную его башню и поднялись по витой лестнице в «залу влюбленных», огненно-алое солнце решилось наконец до половины скрыть свой диск за горизонтом, но лучи его и румяная заря заката еще долго играли на земле и небе. Большая зала со сводчатым потолком была насквозь пронизана отблесками через мозаику цветного окна. И в самом деле, освещенная фантастическим, перемежающимся светом, фреска на дальней стене, по первому взгляду, будто волновалась движением, оживлением на ней лиц. Такое расположение освещения отчасти объясняло поверье, о чем и заговорили гости Софьи Павловны. Но это не помешало дамам протестовать, уверяя, что выражения лиц на картине стали живее именно после того, когда в залу вошли поотставшие на лестнице граф Ариан и Майя.

Эти замечания подали повод к вопросам и шут-

кам, каковые застигли девушку врасплох.

Пораженная неожиданностью, испуганная и огорченная, Майя онемела в первую минуту; не находя слов от изумления; она хотела протестовать, в негодовании отречься от всего, но, взглянув на графа, невольно умолкла и опустила взгляд. Бледность, покрывшая было ее щеки, сменилась ярким румянцем, и вдруг Майя почувствовала в себе такое счастие, такая горячая радость охватила все ее существо, что у нее словно выросли крылья. Казалось, вот сейчас она подымется и улетит под облака, как в былое, счастливое время… Но не одна! Вместо Селии, заоблачной подруги детства, ей хотелось видеть рядом Ариана.

В эту решительную минуту благое лицо наставника и старинного друга было далеко от ее помыслов, но зато явственно мелькнуло перед ней другое, хитро улыбавшееся в низком поклоне лицо… Майя отпрянула от картины с громким криком, отмахиваясь от видения, как безумная:

— Он!.. Черный маг! Велиар!.. Дух зла!..

Граф и профессор едва успели подхватить бедняжку, которая, отшатнувшись, упала без чувств к ним на руки.

— Что с ней?! Какой дух зла, где?.. Что случи-

лось? — заволновалось все общество, ничего не понимая.

Одна Орнаева, проследив взгляд Майи, сама побелела как полотно. С фрески свадебного пира на стене на Софью Павловну, точно живыми глазами, смеющийся тонкой, насмешливой улыбкой, смотрел барон де Велиар. Он снял свою черную шляпу, весь изогнулся в изысканном поклоне, так что длинное перо на тулье касалось пола…

Видение длилось не более мгновения, но так было живо, что Орнаева сама еле на ногах устояла. В ней мелькнула мысль: «Что он делает?.. Зачем?! Он все испортит, появившись!»

Но, словно ей в ответ, в ту же секунду презрительно-насмешливый взгляд, скользнув по Орнаевой, потух, и на миг оживший образ совершенно переменился.

Майя приходила понемногу в себя, окруженная общими соболезнованием и заботами. Вот она открыла глаза, очнулась…

— Боже мой, простите меня! Почему-то голова закружилась, — смущенно объясняла она. — Теперь прошло, слава богу… Извините меня, пожалуйста.

Все спешили ее успокоить приветом и лаской.

Орнаева тоже приблизилась, объясняя обмо-

рок удушливой атмосферой башни, подъемом по вьющейся лестнице… Увидев, что профессор успокоился, а Майя, благополучно опираясь на руку графа Кармы, следует к выходу, по-видимому забыв свое видение, Софья Павловна остановила незаметно Ринарди и, указывая ему на картину, вполголоса сказала:

— Взгляните! Что могло ее так испугать в фигуре этого темного человека? Майя смотрела на него, когда упала в обморок.

— Не понимаю, — признался профессор.

На стене перед ними было изображение какого-то пастора или квакера, который в толпе других гостей приветствовал чету новобрачных: совершенно бесцветная фигура, сливавшаяся с остальными.

«Что в нем могло напомнить ей барона Велиара? — недоумевал отец, задумчиво спускаясь по бесконечной винтовой лестнице под руку с Софьей Павловной. — Одна надежда, что замужество излечит девочку от всяких галлюцинаций».

Глава XXI

«Это несомненно. Любовь и брак, счастливая семейная жизнь с человеком, преданным ей на жизнь и смерть, — вот верное и единственное лекарство от фантастических галлюцинаций и бредней, преследовавших Майю всю жизнь» — так говорила Орнаева профессору на другой день после происшествия в «башне влюбленных»; так порешили и все знакомые Ринарди. Но сам он скептически относился к уверениям кузины. Впрочем, отчасти старик и сам надеялся, что простое житейское счастие излечит дочь от бесплодных, казалось ему, порывов к неким сказочным, недосягаемым миссиям.

В порыве искренности Ринарди высказался прямо Орнаевой. Оставшись с ней вдвоем в ожидании «детей», ушедших после обеда в парк, они сидели на балконе, любуясь наступавшим румяным вечером. В виду пышного цветника и блестящей дали, где пронеслось волшебное детство Майи, Ринарди вдруг вспомнил всё, и прошлое охватило его так сильно своей несомненностью, что он не мог не поделиться мыслями с кузиной. Да и зачем было скрывать их

от женщины, такой близкой их семье, так горячо любящей Майю, относящейся к ней с чувством матери, место которой Софья Павловна и в действительности могла не сегодня завтра занять?.. Профессор давно чувствовал необходимость полной откровенности. Лицемерить он вообще умел плохо, а с красавицей кузиной окончательно чувствовал себя к тому не способным.

Раз начав речь о прошлом — о вмешательстве в их жизнь Белого брата, о влиянии наставника на Майю, о дивном детстве ее, о видениях, полетах, о «приюте мира» и его чудных обитателях, — Ринарди уж не мог найти предела откровенности и рассказал ей всё без утайки.

Орнаева слушала, скептически вначале, потом все внимательнее и задумчивее; она перестала видеть нужду в слепом, упрямом отрицании всего, чему, в сущности, не имела права не верить. Кому ведомо существование носителей злых начал, распространителей плотской греховности между людьми, тот не может не признавать и обратной стороны мирского бытия, не верить в существование носителей света и духовной правды.

Эта женщина, подпавшая под власть зложелателей человечества, не была от природы плоха.

Ею овладели не через коварство ее или преступность, а воспользовались ее легкомыслием, любовью к роскоши, тщеславием и эгоизмом. Раз овладев красавицей, нетрудно было направить ее на всякое зло путем страха жестоких возмездий. Ослушаться, не свершать требуемых услуг, как бы ни были они преступны, в ней не хватало решимости; Орнаева прежде всего была рабыней своего эгоизма, своих страстей и плоти. Но вынужденное повиновение не мешало ей втайне возмущаться своим рабским положением. Будь ей дан выбор теперь, когда она знала многое и еще о большем догадывалась, она не пошла бы, вероятно, в кабалу… Так ей, по крайней мере, часто казалось в минуты терзаний духа и страха за будущее — за дальнее, неведомое будущее.

Она и рада была бы упразднить такую заботу, вполне отрешиться от веры в возмездие, в бессмертие духа и загробное существование, но не могла, потому что такое отвержение казалось ей противоречием и абсурдом. Если бы учение, проповедуемое Белым братством, было пустым измышлением, из-за чего же биться со светлыми силами их противникам? В мире плоти и осязаемых фактов даже без стараний адептов темных начал торжествует зло. О чем же им хлопотать?

Зачем стараться отымать духовные утешения и отвлеченные верования у идеалистов, которым и без того плохо живется на свете? Из одного лишь зловредства? Так ведь страдания и беды рушатся на безвинные головы идеалистов именно в силу их непрактичности и заоблачных стремлений; зложелателям человечества не вернее ли оставить несчастных при опасных их увлечениях, если те заблуждаются и напрасно простирают руки к пустым небесам? Очевидно, так бы и делали Черные братья, лишь смеясь над глупцами, мечтающими о призрачных идеалах, — если б точно небеса были пусты. Но нет! Темное братство изощряется над задачей отвлечь их, заставить забыть, обратиться к плотским радостям и стремлениям. Так, значит, в этом забвении, в обращении от духа к плоти и есть то зло, которое Велиар с его приспешниками стремятся нанести человечеству?

А если так, то служить им орудием — не только преступление, но и величайшее безумие!

Орнаева не была безрассудна; напротив, в ней логика и ум до сих пор преобладали над сердцем, движения которого парализовались эгоизмом. Сомнения часто тревожили ее. Теперь же искренность, убеждение и красноречие профессора

подействовали отрезвляюще. Ринарди бессознательно терзал ее, открывая глаза на то, во что сам веровал, вселяя в Софью Павловну невольный страх, что она погубила себя. Она слушала, дивилась, соображала, а в душе у ней возникало эхо давно слышанного где-то и совсем было забытого великого слова: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить…» [19]

Не это ли самое она творит над собою, не убивает ли вечного своего духа из-за страха в противном случае неизбежной телесной смерти?

В тот вечер Софья Павловна уехала от Ринарди сама не своя. Она даже не дождалась возвращения графа Кармы с прогулки; отговорилась сильной головной болью и распрощалась со своим родственником в очевидном волнении. Она чувствовала, что не осилить ей дум, вопросов и сомнений, наплывавших на нее невольно, как ни старалась она заглушить их. Она внутренне трепетала от страха, чтобы ее повелитель не прочел того, что в ней творилось, но не могла в душе не проклинать оков принципала и его самого, властелина своего и мучителя.

Орнаева так боялась всякого явления, от него

---

[19] Сноски: 19
Мф. 10: 28.

исходящего, — отзвука насмешливого голоса или светящихся писем, а тем более облика барона, иногда пред ней мелькавшего, как накануне в башне, пугая своей реальностью, — что нарочно долго не шла к себе, беседуя, сама не зная о чем, с двумя-тремя гостями Рейхштейна, никогда не оставлявшими ее в полном одиночестве. Она даже дождалась возвращения графа Ариана и его задержала очень надолго. Софья Павловна сама себе не отдавала ясного отчета о том, что с нею творится, — но творилось что-то положительно странное. Ее тревожили беспокойные мысли, причем не о себе самой: с той самой минуты, как им мелькнул злобно-радостный взгляд на картине в башне, в красавице пробудилось раскаяние относительно Майи. Теперь, после рассказов профессора, Орнаевой страстно хотелось убедиться, что ее вмешательство в жизнь молодой девушки не нанесет той непоправимого вреда…

Продолжительный разговор с графом Кармой ее несколько успокоил. Не надо было даже обладать соображением Софьи Павловны, чтобы убедиться: юноша действует искренне, он горячо любит свою невесту и не имеет ни малейшего подозрения о том, что служит кому бы то ни было бессознательным орудием для достижения каких

бы то ни было целей.

Из их разговора Орнаева вынесла убеждение, что граф Ариан де Карма лишь направлен к встрече с Майей в известный психологический момент, когда его сердце было открыто любви, когда ему опостыло одиночество последних лет его жизни, а возвращение к тихому домашнему очагу, где протекло его отрочество в тесной дружбе с матерью, еще сильнее расположило юношу к семейным привязанностям.

«Он недалек, но искренен, добр, честен и горячо ее любит… Чего же более желать? Могло быть несравненно хуже! — утешала себя Орнаева и заключила под сурдинку собственного сознания, сама себе боясь формулировать мелькнувшую мысль: — Добрые силы ее хранили! Слава богу, что покровители Майи осилили злобу врагов добра!»

Было далеко за полночь, кричали уж вторые петухи, когда Софье Павловне наконец пришлось остаться одной… Но тут ею еще сильнее овладела боязнь сна, боязнь просторной, высокой, мрачной спальни. Она сама негодовала на такое детское безумие: не все ли равно, та комната или другая?.. Разве и здесь, сейчас, Велиар не мог точно так же проявить свою власть над нею? Она

стыдилась собственного малодушия, но не могла с ним совладать.

Ее тянуло на воздух, на балкон.

Широкий балкон второго этажа не выступал наружу, а прятался в глубь дома, опираясь на три массивные каменные арки, закрытый тремя стенами. Внизу открывалась живописная панорама пригорков, лесов, дальнего моря, а вблизи сияло озеро, и темные кущи парка выплывали, словно острова, из серебристого тумана, застлавшего землю. Полная луна стояла невысоко над росистыми испарениями, растянувшимися, словно саваны, по долам и по полям, между деревьями; печальный, белесоватый лунный свет придавал еще более таинственности темным дубравам и аллеям парка… Тут Софье Павловне почудилось в них движение. Так и казалось, что кто-то прячется в глубине, таится и вот-вот выступит на свет из мрака тенистых чащ.

Балкон был меблирован как гостиная. У большого стола стояли кресла; в одном из них, особенно покойном, хозяйка дома по утрам читала газеты и журналы. И сейчас ее потянуло в нем вольготно растянуться, но не хотелось отвести глаз от сияющей пред ней панорамы, наводящей на душу небывалое очарование. Орнаева реши-

тельно себя не узнавала в этот вечер, в эту белую ночь. Сердце тоскливо билось, ее смущала боязнь, а вместе с тем какая-то нежащая истома овладевала всем существом, сладко замирала в груди, захватывала дыхание чувством неопределенной радости. Словно в груди оттаивало предчувствием неведомого блага заледеневшее сердце.

Не спуская глаз с горизонта, где в вечном неумолчном движении переливалось море безбрежной пеленой, Софья Павловна бессознательно пятилась, отступая в глубь балкона, пока не наткнулась на свое кресло и не упала в него, обессиленная охватившей ее сонливостью. Она не могла бороться с неодолимой дремотой. Последним сознательным движением мысли было: «Что это со мною еще? Я будто под влиянием магнетизма. Я положительно засыпаю…»

А последним чувством болезненно сжалось сердце от страха: зачем повелителю понадобился ее сон? Но в ту же секунду страх отошел от Софьи Павловны, будто кто снял его рукою с трепещущего сердца и заменил чувством блаженного спокойствия. Она явственно услышала незнакомый голос, который говорил:

— Не бойся! Не на мучение, а на спасение призывают тебя… Иди!.. Очистись в горнем эфире,

куда не достигает злоба людская.

Чувство глубокого мира вселилось в Орнаеву, и ей показалось, что она вдруг проснулась — освеженная, бодрая. Кровь горячо струилась по жилам; все способности оживились и обострились до такой тонкости ощущений и понимания, какого никогда она еще не испытывала, и Софья Павловна встала, пораженная величественной красой, ее окружавшей.

— Что это?.. Где я очутилась? Что все это значит? — невольно закричала она.

Она стояла на недосягаемых, по-видимому, ничему живущему заоблачных высотах. Девственный снег был под ногами ее; девственные ледяные вершины окружали ее отовсюду, сверкая, как алмазы и опалы, но она всех их превышала. Вокруг струился лишь светозарный воздух. Громадный, ничем не ограниченный горизонт правильным полукругом исчезал за небосклоном; бесконечно торжественные пейзажи — скалы и горы, долины и ущелья, леса и поля, реки, моря и озера — расстилались безбрежным ковром в однообразии бесконечного разнообразия.

— Как хорошо… Какое великолепие!.. — восхищенно повторяла Орнаева, оглядываясь в

недоумении и дивясь, что ей среди этих льдов и снега нисколько не холодно. — Но… как я здесь?.. Зачем?

И она смотрела вокруг в восторженном ожидании того, что будет дальше.

И вот над нею снова раздался голос. Бесстрастный, ровный, повелительный, он говорил:

— С высот своих заоблачных жилищ, куда ушли они от мирской суеты, от нечистых и порочных испарений греховного человечества, носители света, Божией любви и премудрости неустанно следят за меньшими братьями — страждущими, колеблющимися и погибающими. Светозарным существам видны пороки, но видно и раскаяние. Малейший проблеск любви в грешной душе возжигает их чистые души желанием протянуть кающемуся руку помощи, совлечь его с гибельной стези самоуничтожения. Грех нераскаянный — и есть самоуничтожение духа! Человеку, отмеченному искрой предвечного Божества, дана свобода выбора: возжечь эту священную искру в пламя неугасимое во веки веков или затушить ее похотями плоти. Вечность дается лишь стремлением духа к самосовершенствованию или же великодушным порывом «душу свою положить

за други своя» [20]... Первый проблеск любви к ближнему есть и первая ступень к самосовершенствованию; безграничное милосердие, даже до забвения себя, до самопожертвования — подвиг и заслуга великие, далее коих дух, облеченный греховной и страждущей плотью, идти не может... Вникни в себя и реши: желаешь ли ты искупления прошлых злодеяний? Желаешь ли стяжать спасение кратковременным страданием, жизнь свою положив за ближнего? Или предпочитаешь и далее тянуть земное существование под гнетом злой воли, овладевшей тобою?

Голос умолк.

Призванная произнесть приговор над самой собою, Орнаева поникла головой. В ней возник вопрос, которого высказать она не смела: что же ей предстоит в обоих случаях? Но едва вопрос этот мелькнул в глубине души ее, она в один миг сама сознала и ответ на него. Блаженное ощущение мира и покоя, сияющий свет познания высшей премудрости в союзе общего благоволения, вдруг осенившие ее, были слишком сильны для телесной оболочки: они ослепили и одурманили Софью Павловну неземным восторгом...

---

[20] Сноски: 20
Ин. 15: 13.

Но вслед за тем она в одно мгновение пережила будто годы страданий нравственных и физических. Она увидала себя измученной, угнетенной злым черным произволом. Почувствовала себя изнывающей в сознании собственной преступности, но изнывающей без раскаяния, а лишь в мучительной истоме страха возмездия за черные свои деяния… Ужас объял красавицу, и вне себя она воскликнула:

— Хочу искупления! Ненавижу свои прошедшие заблуждения!.. Готова на любые муки телесные ради спасения моего вечного духа! О вы, которые так сильны любовью к ближним, что увидали мое раскаяние, — дайте мне возможность доказать его, спасти свою грешную душу!

И в ответ она услыхала не один уж строгий, бесстрастный голос, а целый хор, торжественно-радостно ей отвечавший:

— Благо тебе! Не мы дадим тебе возможность обновить свой дух в горниле страданий, а сама ты найдешь дорогу, не убоявшись самопожертвования, когда ему пробьет час! Благо тебе, избравшей путь спасения, если не отступишь в минуту испытания… Отныне да будет мир и покой в душе твоей, устремившейся от мрака к свету!..

Сладостные голоса замирали вдали. Софье

Павловне казалось, что ее влечет с этих светлых высот вниз, вдаль, в темноту… Она стремилась всей своей волей остановиться, не покидать так скоро чистых заоблачных сфер, — но была бессильна, как лист, уносимый ветром…

Мрак полного забвения обуял ее. Она не знала, долго ль оно продолжалось; не знала, сколько времени длился весь сон ее, — казалось, очень долго, но когда Орнаева открыла глаза, луна стояла на том же месте, над туманным пейзажем, а на востоке небо ничуть не заалелось больше прежнего. Софья Павловна подумала: «До чего странный и чудный сон! Как это я так крепко заснула?.. Зачем не легла вовремя спать? Заснуть на балконе, рискуя простудиться, — что за блажь?»

Но ее отнюдь не поразила новая странность: память о страхе, о силе над ней Велиара — исчезла! Мало того, ушло самое воспоминание о нем и о многих жестоко мучивших ее собственных поступках, связанных с бароном… Она спокойно вошла в свою спальню, быстро разделась, потушила свечу и заснула мирно, без всяких дум и размышлений.

Не тревожили ее и сны. Проснувшись утром довольно поздно, Софья Павловна себя чувствовала спокойной, бодрой, в отличном расположении

духа, чего с ней очень давно не бывало. Сначала она будто без внимания оставила и странный сон свой на балконе, но потом он ярко воскрес в ее памяти, и — удивительная вещь — чем более проходило времени, тем рельефнее выступали подробности видения, тем последовательнее воскресали в уме речи невидимых сил, говоривших с нею на снежных горных высотах… Орнаева восстановила беседу от слова до слова. Наконец ей стало казаться, что это не сон, а прозрение, действительно ниспосланное во спасение ей. Красавица, всегда боявшаяся одиночества, в последующие дни искала уединения. Как только оставалась Софья Павловна одна с самой собою, дивный сон вставал пред ней в малейших подробностях.

Помнила она и свой ответ и дивилась, чувствуя, что готова повторить его снова, что решимость ее отречься от прошлого, хотя бы путем великого страдания, растет и крепнет в душе ее и теперь, наяву. Помня, как недавно боялась мести и злобы покорившего себе ее волю чародея, она дивилась нынешней стойкости и решимости и радовалась им, с каждым днем сильнее проникаясь убеждением, что все это недаром ей послано, что она вступила на путь спасения благодаря чудесному

вмешательству добрых сил в ее судьбу.

Глава XXII

Уж лето вошло в права свои; Майя была объявлена невестой графа Кармы, и приближалось время, назначенное для их свадьбы. Ввиду близости венчания Орнаева тоже отложила отъезд свой, хотя ей пришлось неожиданно оставить замок Рейхштейн: владелец аббатства скончался, а наследников его она совсем не знала. Поскольку жила она не по найму, а как бы в гостях у покойного приятеля, пришлось немедленно очистить замок, куда явились представители новых собственников. Ринарди и Майя радостно предложили родственнице пожить у них, разумеется вместе с единственным гостем, не желавшим уезжать quand même [21]: граф Ариан тоже принял приглашение будущего тестя. Таким образом шумный Рейхштейн, в продолжение почти года веселившийся и гремевший на весь округ, опустел и затих; зато старый деревенский дом профессора оживился невиданным многолюдством и веселием. Кроме постоянных обитателей, в нем часто появлялись сторонние

---

[21] Сноски: 21
Вопреки всему (*фр.*).

гости, которых молодая хозяйка теперь не только не чуждалась, но сама охотно приглашала. Вскоре ожидали приезда ее петербургских приятелей Бухаровых, будущих посаженых отца и матери невесты, и с ними двух-трех молодых людей в качестве шаферов.

Майю совсем нельзя было узнать, так она стала оживлена и весела. Теперь жених ее казался бóльшим любителем уединения и сельской тишины, нежели она. Ариан любил жизнь в деревне и предпочел бы тотчас после свадьбы ехать в свое имение, но Майя мечтала о поездке в чужие края, и будущий муж, разумеется, ей не противоречил.

Вообще, роли странно переменились. Майя не любила теперь не только говорить о чудесах своего детства, но даже думать о них. Она избегала всякого напоминания о прошлом. Казалось, будто она стесняется, стыдится признавать его из ряда выходящие особенности. Она, которая так самостоятельно и безбоязненно прежде отстаивала самые невероятные события своей духовной жизни, теперь настойчиво их замалчивала, не желая даже графа посвящать в проявления того таинственного мира, который ныне сам от нее удалился.

— Все это ушло! Ничего более такого со мной

не бывает и никогда не будет, — нетерпеливо отзывалась она на вопросы заинтересованного жениха и Орнаевой, которая вдруг стала особенно часто и настойчиво возвращаться к обсуждению «изумительных общений Майи».

Раз даже девушка сердито одернула Софью Павловну, когда та спросила:

— Не желаете ли, чтобы ваш наставник, Белый брат, благословил союз ваш с Арианом на счастье всей жизни?

Майя вспыхнула, и сердце ее болезненно сжалось.

— Зачем вы! — вскричала она чуть не со слезами негодования. — Зачем тревожите прошлое, невозможное? Зачем говорить о том, чего нет?

— Как о том, чего нет? — изумленно вскричала Орнаева. — Что ж, неужели вы будете теперь отрицать существование вашего учителя, Майя?

— Не буду. Не могу отрицать того, что было, но я хочу сказать, что… они не вмешиваются в такие житейские дела — в мелочи жизни, — тихо возразила она.

— Мелочи жизни, Майя?.. Что может быть важнее, серьезнее, священнее брака в человеческой жизни? — воскликнул граф Карма, присутствовавший при этом разговоре. — Что вы говорите,

дорогая моя!.. Рождение, брак и смерть — три главных события в человеческой жизни.

— Разумеется, но не для Белых братьев… Они не так смотрят на задачи бытия, как мы, простые люди. Для них реальность — мелочь, скоропреходящая подробность земного существования, которое и само по себе не стоит заботы, — объяснила девушка, почему-то жестоко краснея.

— Разумеется, нам недоступны их знания, а потому невозможен их взгляд на вещи, — согласилась Орнаева. — Нам незнакомы источники, откуда проистекают любовь, красота и радости земные. Но братья наши по смертной плоти, достигнувшие возможного на земле совершенства и мудрости, должны, однако, понимать: хотя корень духовных благ и сокрыт от нас, но цветы доступны и составляют для многих единственную отраду в жизни, переполненной тяжкими испытаниями… Не правда ли, профессор?

— Без сомнения, но что вы хотите доказать этим?

— А то, что, зная наши немощи, Белые братья…

— Если таковые точно существуют! — вставил, улыбаясь, граф Карма, часто с недоумением слушавший такие беседы, не совсем ему понятные.

— Конечно! — кивнула ему Орнаева и про-

должала, не смущаясь: — Зная нашу слепоту и беспомощность, Белые братья, казалось бы, должны в общении с людьми не смотреть со своих высот, а снисходить до нашего немощного уровня. Я, по крайней мере, уверена, что покровитель Майи готов напутствовать ее своим благословением в новую жизнь.

— Если только сам покровитель этот не плод воображения нашей маленькой фантазерки, — тихо шепнул граф Карма невесте, отойдя вслед за ней к дальнему окну.

— Ах, если бы только Софья Павловна оставила меня в покое! — раздражительно прошептала Майя.

— А что? — снисходительно улыбнулся жених ее. — Взрослую барышню конфузят напоминания о детских фантазиях, которыми девочка морочила близких?

— Нет, не то! — пробормотала, неопределенно улыбаясь и сильно краснея, Майя. — Но сама я никогда ничего не говорила ей — папа, верно, рассказал! Так зачем же она ко мне пристает?!.

И, быстро повернувшись, девушка вышла на террасу и в сад, куда последовал за ней и граф Ариан, мало интересовавшийся отвлеченным разговором Орнаевой с хозяином дома.

Профессор же и гостья его надолго углубились в мистическую беседу. По мере того как в помыслах Майи все дива прошлой жизни отходили на второй план, как яркие краски видений и самые речи Кассиния бледнели, испаряясь из памяти, будто невидимая рука стирала их, — Софья Павловна, напротив, все более интересовалась ими, вникала в рассказы профессора, сама наводила его на них. Беседы с ней теперь были единственным развлечением Ринарди. Он отдыхал в обществе кузины более чем когда-либо. Их всегда можно было видеть вместе, когда профессор не был специально занят в лаборатории; она даже часто с ним запиралась и в кабинете его. Но в одном пункте с нею тоже произошла капитальная перемена, которую Ринарди никак не мог себе объяснить: Орнаева сделалась вдруг ярой противницей эксперимента по указаниям графа Калиостро. Несколько раз даже она принималась горячо уверять профессора, что рукопись может быть поддельной, а если и нет, то ведь и Калиостро мог ошибаться, и в любом случае такие опыты не могут быть безопасны.

Она несказанно смущалась увлечением старика и несколько раз уже готова была признаться ему в истине. Но трудно было сознаться в такой

лжи, в столь искусном лицемерии, а главное — в помощи Велиара и братии его… В том, что она их сообщница и слуга!

Конечно, если бы предвиделась какая-нибудь опасность, какой-нибудь вред Ринарди или дочери его, Орнаева в настоящем своем настроении решилась бы на всё; но она была совершенно убеждена, что «седьмая гроза и седьмая молния» — плоды ее собственного измышления — пройдут, как и все другие молнии и грозы, не дав ни малейших результатов. Она желала лишь одного: чтоб скорее они грянули, чтоб и будущие молодые, и сама она могли оставить Ринарди безбоязненно, зная, что он разочаровался в своих надеждах еще раз и окончательно успокоился.

Перед свадьбой Майи, дня за два, приехали Бухаровы и еще несколько гостей. Старый дом Майиных предков давно не видывал такого оживления и многолюдства, а сама она впервые прельщала всех своими хозяйскими заботами, любезностью и лаской. Всех — за некоторыми, впрочем, исключениями.

Бухаров в первый же день приезда заявил Орнаевой конфиденциально, сжав губы и вздернув брови со вздохом разочарования:

— Эге, как изменилась наша бесплотная фея!..

Я надеялся, что любовь лишь возвысит ее духовную красоту, но совсем нет! Как ни божественно хорош ее избранник, ей, видно, тоже нужен был сильф или полубог, чтобы она могла любить, не заражаясь плотскими свойствами.

— Ты находишь, что Майя подурнела? — удивилась его жена.

— О нет! — возразил художник. — Она так же прелестна; многие, вероятно, найдут, что она еще похорошела, но в ней… что-то изменилось, и сильно. Не могу даже определить, что именно. Выражение ли всего лица или взгляд ее утратил прежнюю искру «не от мира сего», но в ней чего-то недостает. Что-то ушло…

— Перестань фантазировать! — смеясь, остановила его жена. — Вам, художникам и поэтам, только бы витать в облаках и среди людей искать неземных идеалов. Я так нахожу, что Майя стала еще красивее, что она выиграла в живой окраске и блеске ее прежде туманных и гораздо менее выразительных глаз. Не правда ли, Софья Павловна?

— О женщины, женщины! — с комической печалью вскричал Бухаров. — Вы видите одну только внешность, красивую окраску… Где вам уловить и оценить искру Божью в глазах чело-

века!

Орнаева ничего не отвечала, неопределенно улыбаясь им обоим.

Она давно сама замечала изменение в наружности Майи, но духовная, внутренняя перемена девушки, которая лишь отражалась на внешности, казалась Софье Павловне куда серьезнее и печальнее. Сердце ее теперь часто сжималось страхом сознания, что она во многом повинна в столь разительной метаморфозе и ответственна за нее.

Дом так переполнился гостями, что весь нижний этаж был занят ими; Софья Павловна на правах родственницы хозяев любезно уступила свою комнату Бухаровым, а сама спала наверху. Майя предложила разделить с ней свою спальню, разгородив ширмой. Эта большая комната была составлена из двух разделенных аркой помещений; в одном находилась спальня молодой девушки, где та и осталась; в другой половине был кабинет Майи, в котором она теперь совсем не нуждалась, никогда более не занимаясь науками с тех пор, как стала невестой. Там и поселилась Орнаева на последние сорок восемь часов, проводимые ею у родственников. Софья Павловна имела в виду уехать тотчас же после венчания и

отъезда графа и графини де Карма, как ни противился тому и как ни упрашивал ее не покидать его в полном одиночестве профессор, все еще лелеявший свои надежды. Красавица и сама их у него не отымала, выжидая, что даст будущее. Вопрос, как устроится ее жизнь, почему-то ее совершенно перестал занимать. Орнаева сама себе дивилась! Ни прежних забот, ни сомнений, ни боязни за свое благополучие она теперь не знала. Ей и думать лично о себе не хотелось… Она очень много размышляла о Майе и отце ее, сожалела и боялась за них обоих, но едва пыталась перенести заботу на себя, ей представлялась совершенная пустота без желаний, без всяких чувств, стремлений или интересов. Кроме, впрочем, одного: жажды проникнуть в смысл своего загадочного видения, удостовериться, что это не пустой сон безо всякого значения. Удостовериться Орнаевой очень хотелось бы! Ее к тому побуждала память о прежней практичности, но, в сущности, Софья Павловна давно была убеждена, что переживает великий кризис и что ее нравственная перемена должна закончиться чем-либо решительным и неожиданным, — хотя самой себе не признавалась в этой уверенности.

Не без смущения, но все чаще и дольше заду-

мывалась Софья Павловна над своим обетом — обетом искупления прегрешений неведомой чашей страдания. Какова-то будет эта чаша и когда пробьет ей час?.. Орнаева не колебалась, хотя не могла порой не содрогаться в предвидении неведомого искуса.

Но стоило ей вспомнить свое видение, стоило перенестись к тому тяжкому мигу, который в ту минуту, когда стояла Софья Павловна на девственных вершинах, где ей предложили свободу выбора, было так трудно пережить; стоило ей подумать, что́ ее ожидало бы, не избери она сама благой удел, — и прежняя решимость овладевала ею. А вместе с решимостью в душе водворялись мир и спокойствие. Как видно, не напрасно напутствовали ее неведомые голоса, когда роковая сила тянула новообращенную с горних высот обратно на землю, в юдоль слез и страданий.

Сравнивая прежнее свое тревожное, часто мучительное существование, когда она покорно несла непосильно тяжкое иго Велиара, не смея помышлять об избавлении, с тем состоянием блаженного умиротворения и ясности духа, которые она обрела в последние дни, несмотря даже на неведомый дамоклов меч, висевший над нею, — Софья Павловна еще более укреплялась в

доверии к своим новым покровителям и в надежде на помощь их.

Глава XXIII

Накануне дня, назначенного для бракосочетания графа Кармы с дочерью Ринарди, профессор прислал за Майей рано утром, едва та успела встать и одеться.

Встревоженная, несмотря на разумное предположение Орнаевой, что отец просто желает переговорить о делах без свидетелей, пока еще никто не выходил к завтраку, девушка быстро спустилась к отцу и, войдя в кабинет его, остановилась, пораженная.

— Папа! Ты болен?

— Нет, душа моя, нисколько! — спокойно отвечал Ринарди.

— Но ты ужасно изменился за эту ночь… Отчего же?

Старик протянул дочери руку, ласково улыбаясь, привлек ее к своему креслу и, обняв, заставил сесть на подлокотник, как, бывало, она часто сиживала в задушевных беседах с батюшкой. Туг Майя увидала, что в руке у него открытый медальон — лучший портрет ее матери.

Профессор не дал дочери времени выговорить нового вопроса.

— Оттого, моя душа, — продолжал он, — что, во-первых, в мои годы душевное беспокойство о счастии единственной дочери и о разлуке с ней даром не проходит. А во-вторых…

— Но, папа! Еще вчера вечером ты смотрелся совершенно здоровым, — перебила Майя, — а теперь…

— А во-вторых, — продолжал, не обращая внимания на ее слова, Ринарди, — я отвык за давностью лет, — он печально улыбнулся, — от таких радостных потрясений, в каких для меня прошла эта ночь…

— Что такое? Опять «белая женщина»? — тревожно осведомилась Майя.

Отец помедлил, любовно глядя на нее и загадочно улыбаясь. Наконец он прошептал, крепче прижав дочь к сердцу:

— Да, голубушка моя Майинька: белая женщина! Но на этот раз я не буду тебя спрашивать, кто она. Мы ее хорошо знаем…

— Мама?!. — закричала вне себя Майя, вскакивая и глядя на отца такими испуганными глазами, каких он никогда у ней не видел. — Мама была у тебя, отец?! Зачем?..

Странный испуг и огорчение слышались в голосе ее. Они поразили профессора.

Он смотрел на девушку задумчивым взглядом, ожидая объяснений или сам размышляя.

— Зачем же она… явилась? — спросила опять Майя.

— Пришла, а не явилась. Сделалась видимой мне и говорила со мной, — поправил профессор.

— Ну да… Но зачем? И как раз накануне моей свадьбы!..

В голосе ее отцу послышалось небывалое раздражение.

Он посмотрел на нее вопросительно, долгим взглядом.

— Разве тебе и благословение матери теперь кажется столь же излишним, как на днях ты заявила, будто благословение Кассиния тебе более не нужно? — тихо спросил он.

Майя растерянно огляделась и вдруг, закрыв лицо руками, горячо заплакала.

Профессор совсем растревожился и напугался.

Он начал успокаивать дочь; объяснять ей, что не знал, не думал никак, что она так примет… Напротив, рассчитывал ее порадовать. Майя, с своей стороны, просила прощения, объясняла отцу, что это «от неожиданности, от маленького расстройства духа», весьма понятного в ее обстоятельствах — накануне разлуки и с батюшкой,

и с любимыми ею от колыбели людьми и местами, накануне бесповоротного решения всей ее участи.

— Так мама сказала тебе, что благословляет меня? — наконец спросила она, успокоившись.

— Да, — подтвердил профессор. — Она сказала, что мы вместе будем молиться о твоем земном счастии и… и небесном спасении.

— Как вместе? — опять испугалась Майя.

— Конечно, вместе! Разве ты думаешь, что я о тебе не молюсь? — слабо улыбаясь, объяснил ей отец и тотчас заключил: — Но знаешь ли, милочка моя, я лучше не стану более с тобой говорить об этом… Ты так нервно настроена сегодня. Зачем же расстраивать тебя окончательно накануне свадьбы и путешествия?.. Поди с богом, поди к жениху, к гостям… Я тоже сей час выйду.

Ринарди встал, довел дочку, обняв, до порога, там горячо ее поцеловал и отпустил. Но, печально глядя на девушку, удалявшуюся в раздумье, он вдруг будто встрепенулся, пораженный каким-то соображением, и закричал:

— Майя!

Ей послышалось сдержанное рыдание в этом призыве.

Она быстро обернулась и, вся бледная от вол-

нения, подбежала к порогу комнаты, где отец еще стоял.

— Майя, милое дитя мое! Я вспомнил… видишь ли…

Он, видимо, пытался подобрать слова, искал их в жестоком волнении, борясь между боязнью испугать дочь и необходимостью исполнить задуманное им.

— Я должен тебе сказать… Передать слова твоей матери. Послушай: что бы ни случилось…

— Боже мой!.. С кем?! — отчаянно перебила его дочь.

— С кем? Все равно!.. Я не знаю. Она не сказала мне. Но слушай, Майя, и не забывай моих слов: помни, что чрез меня с тобой говорит твоя умершая мать. Майя! Что бы ни случилось с нами… со мною, с кем-либо из нас, знай, Майя, что это случится к лучшему! Время великой перемены близко! Не забывай слов этих, Майя, и да послужат они тебе всесильным облегчением в час испытания. Прости, что огорчаю тебя, дитя мое! Но я размыслил, что обязан не медлить и тотчас передать тебе завет твоей матери. Мало того: уж прости мне, Майинька, еще одну просьбу…

Ринарди быстро запер дверь кабинета и, увлекая дочь за собою в следующую комнату,

докончил:

— Я хочу здесь, с тобой наедине, сейчас благословить тебя. Майя, дитя мое милое! Пойдем туда, в нашу с твоей матерью спальню… Я покажу тебе, где она, матушка твоя, стояла, и там же за нее и за себя благословлю тебя!

Когда через несколько минут Майя, растроганная и заплаканная, встала с колен и вышла от отца, старик, проводив ее, заперся на ключ и долго в этот день не выходил из своих комнат. Все заметили, что он побледнел и осунулся, как после болезни, но понимали, что профессор не может быть равнодушен к разлуке с дочерью, и, уважая его горе, молчали, делая вид, что не замечают ни его расстройства, ни заплаканных глаз Майи.

Только после обеда, когда все разбрелись по парку, Ариан, оказавшись наконец наедине с невестой, привлек ее к себе и спросил, в чем дело. Неужели временная разлука с отцом так ужасно огорчает девушку, что утешить ее не может даже его любовь и их будущее счастие?

Майя рассказала ему все без утайки.

— Я боюсь, дорогой мой, чтобы это видение не знаменовало чего-нибудь печального, — прибавила она. — Какое несчастие нас может ожидать, что мать нашла необходимым предупредить о

нем?

Но граф Ариан лишь улыбнулся ее словам, как взрослый улыбается неосновательным печалям ребенка, и поспешил уверить, что сон ее отца лишь означает расстройство духа профессора и беспокойное состояние чувств.

— Да если и придавать какое-либо вещее значение предупреждению твоей матери, то и тогда чего ж тебе бояться, когда сама она просила тебя быть спокойной? Знать, что «это поведет к лучшему», уже истинное благо! — успокаивал он невесту.

Ему успокоить Майю было нетрудно: она скоро забывала с ним свои печали и сомнения, а против ее самых дорогих убеждений он один мог ратовать и заставлять их устранять, принимая на веру его собственные принципы. Уж такова всемогущественная сила любви.

Под влиянием ласк жениха Майя не только успокоилась, но и развеселилась до того, что и не заметила, как пролетел этот последний день ее девичьей жизни. Бухаров, вечный boute-en-train [22] всякого общества, предложил вечером танцы на террасе — в зале было бы, по общему мне-

---

[22] Сноски: 22
Заводила, душа общества (*фр.*).

нию, жарко. Мигом рояль прикатили поближе к дверям и за него усадили жену Бухарова; террасу освободили от лишней мебели и осветили канделябрами, поставленными на все окна, и цветными фонарями, развешанными в цветнике, после чего закипело веселье.

Стар и мал приняли участие в этом импровизированном бале. Майя и Бухаров объявили, что все, искренне желающие счастливой и радостной жизни будущим молодым, должны напутствовать их веселием, а по этому случаю и профессора волей-неволей поставили в пары.

Часа в два ночи едва успокоились и крепко заснули после денной устали и добровольного вечернего беснования хозяева и гости, переполнявшие дом профессора. Он бы и сам охотно лег, но, взглянув на барометр и выйдя вслед за тем на балкон, весь встрепенулся, а сон и упадок мигом с него отлетели.

После жаркого июльского дня, очевидно, собиралась гроза, в это безгрозное лето всего седьмая по счету — давно и нетерпеливо ожидавшаяся профессором гроза.

Ринарди мигом распорядился, собрал свои пожитки, захватил глухой фонарь и, осторожно отпирая и тщательно запирая за собой двери, про-

крался из дома в цветник, а там, тотчас свернув направо, углубился в чащу сада. Минуя дорожки, он прямиком спешил к павильону, в глухую часть парка, где им все было заранее заготовлено ради приближавшегося «великого события». В профессоре не было ни искры сомнения, что эта гроза — великое событие и результаты ее не для него одного будут велики.

Весь дрожа от тревоги, от боязни не поспеть, пропустить желанное мгновение, Ринарди наконец, задыхаясь от быстрой ходьбы и волнения, достиг маленькой избушки, крытой соломой. Это и был так называемый павильон, склад старых садовых орудий и глиняных цветочных горшков, который недавно был хозяином поместья изъят из ведения садовника и тщательно заперт на ключ. Сие маленькое, никуда не годное строение профессор издавна решил предать возможности сгореть. Большого пожара бояться было нечего: павильон от всего был удален, стоя особняком на полянке у рва, окружающего парк. Даже деревья не могли воспламениться его огнем, потому что их густая стена возвышалась на некотором расстоянии.

Дрожащей рукой отпер профессор замок низенькой двери, усердно прислушиваясь и при-

глядываясь. Едва он чиркнул спичкой, собираясь зажечь фонарь, голубой отблеск молнии мгновенно осветил окрестности, и не успел старик сосчитать до десяти, как глухой внушительный гул разнесся по лесам и долинам.

«Ого! — подумал ученый. — Близка гроза! Надо спешить!»

Совершив несколько необходимых приготовлений, Ринарди вышел из павильона и стал вдали, под навесом деревьев, не обращая ни малейшего внимания на тяжелые капли дождя, начинавшие шлепать по листве. Он устремил пристальный взор на крышу павильона, стараясь сосредоточить на нем всю силу воли, весь магнетизм интенсивного желания, на которое был способен.

Ринарди что-то шептал побелевшими дрожащими губами, считая молнии и мысленно вычисляя быстроту приближения грозы. Мучаясь опасением, что тучи, может быть, изменят направление, пронесутся мимо, он беспокойно следил за их ростом.

Теперь облака черной грядой тянулись с запада на восток, откуда подымалась луна на ущербе. Ее осколок, точно четвертушка гигантской жемчужины, заброшенной на горизонт, печально

сиял, озаряя фантастическим светом тянувшиеся к нему облака. Они живописно клубились в просветах молний, то и дело вспыхивая от их перелетных изломов.

Эффект этих разнородных освещений, молочно-белого сияния луны и огненных вспышек электричества в недрах туч, был поразителен. Между ударами грома, сотрясавшими воздух, шепот начинающегося дождя и заунывные песни ветра в деревьях разносились подобно гулу дальнего водопада.

Поэт в душе, Ринарди, несмотря на крайнее возбуждение, не мог не любоваться этой величественной картиной. Вдруг хижина-павильон в просветах деревьев озарилась сторонним красноватым светом. Что это значит?.. Профессор быстро оглянулся: ничего не видно. Ему, вероятно, показалось.

Яркая молния, разорвавшая тьму почти одновременно с рокотом грома, прервала его размышления и отвлекла от всего, кроме ожидания следующего удара — роковой седьмой вспышки электричества. Сбудутся ли его ожидания, расчеты, мечты?.. Сбудутся ль, нет ли?.. Ринарди весь превратился в ожидание, в страстный порыв призыва, надежды и воли. Кровь стучала ему в

виски, сердце то билось отчаянно, то замирало так, что дыхание спирало в груди до боли.

Глава XXIV

Не сводя глаз с расстилавшегося по небу мохнатого безобразного чудища, стояла в это время и Софья Павловна на балконе вышки, где она временно поселилась в Майиной комнате. В другом конце хозяйка спальни, утомленная беспокойным днем и вечерним весельем, почивала безмятежно, несмотря на раскаты грома, но Орнаеву они не допустили заснуть. Не боясь грозы, она вышла, осторожно притворили за собой двери балкона и стояла, любуясь живописным хаосом.

Крупный ливень приближался, быстро наполняя светлую ночь мглой и шипением. Черное чудище на небе разрасталось, надвигаясь и развертываясь клубами; вот одна из широких лап его доползла до востока и набросила на месяц темный покров.

Сразу потемнело, будто бы небо, как нахлобученная шапка, опустилось на землю, прикрыв ей лицо, и все слилось в бесформенный, завывающий, шипящий хаос, от времени до времени разрываемый молниями и сотрясаемый раскатами грома.

Но что это за странные багровые вспышки по-

рой пронизывают мглу непогоды? То вспыхивают совсем другим светом, чем молния, то полосами ложатся на туман и сквозь дождевые потоки бросают на ближайшие предметы алые отблески. Откуда этот свет?..

Вдруг Орнаева ахнула и, несмотря на ливень, решительно перевесилась за перила, глядя на лабораторию профессора и вышку над ней. Софье Павловне пришла мысль: не седьмая ли это, роковая гроза? Не профессор ли там, увлекшись своими опытами и калиостровской магией, наделал какой-нибудь беды, поджег что-нибудь?.. Нет, слава богу! Там все темно… Старик, вероятно, тоже заснул крепко, утомленный.

«Проспит свою седьмую грозу и магического огня не добудет!» — подумала, невольно улыбаясь над завтрашней досадой родственника, Орнаева.

В эту секунду послышался продолжительный треск, багровый свет вспыхнул ярче, а вслед за ним дом ярко осветился, и огненная заря легла на цветник и ближайшие деревья.

«Пожар! — мелькнуло в Софье Павловне страшное соображение. — Загорелось в гостиной: красный свет от обоев, от занавесей, пока они не загорелись».

— Майя, дитя мое!.. Вставайте! — закричала она,

пробегая мимо сладко спящей девушки. — Скорее! Скорее, ради Господа Бога! Внизу, в гостиной и столовой, кажется, горит!..

Майя вскочила, протирая глаза, ничего еще не соображая.

— Скорее одевайтесь, Майя! Накиньте что-нибудь… Внизу пожар! — еще раз крикнула ей Софья Павловна и бросилась к дверям следующей маленькой комнатки, откуда была дверь на лестницу.

Но едва Орнаева ее открыла, клубы дыма, пополам с пламенными языками, ворвались снизу. Коридор был полон огня и смрада.

Отчаянный продолжительный крик обеих женщин окончательно перебудил всех спавших в доме. Внизу, впрочем, и без того уже просыпались от трескотни, дыма и жару. Из нижних комнат ходы были свободны; горели только смежные с помещением хозяина дома приемные да та сторона коридора, откуда шла единственная лестница в покои Майи. По ней пройти нельзя было уже задолго до того, как вверху, в дверях, показалась Орнаева.

Едва успела она захлопнуть створки, внизу что-то затрещало и с грохотом повалилось. В то же время отчаянные крики и шум поднялись по

всему дому, во дворе раздались звон в колокол, топот, чьи-то громкие повелительные распоряжения.

Майя, поняв наконец, в чем дело, бросилась было на лестницу с отчаянным воплем: «Ариан! Отец!» — но Орнаева ее перехватила и захлопнула перед племянницей и вторую дверь в ее комнату.

— Туда нельзя! Разве не видите вы?.. Лестница горит!.. Нам одно спасение — балкон! — кричала она, схватив за руку девушку, лишившуюся всякого соображения. — Поймите же, медлить нельзя! Скорее туда, на балкон… Боже мой!

Тут только она заметила, что Майя совсем раздета. Софья Павловна сорвала с вешалки какой-то пеньюар, схватила одеяло с постели и, закутав вырывавшуюся из рук Майю, потянула ее к выходу — но тщетно.

Наконец Орнаева поняла, что напрасно теряет с ней время, что надо действовать не убеждениями, а собственной волей. С удивительным присутствием духа и быстротой красавица бросилась к дверям, заперла их и, прихватив ключ, подбежала к балкону.

Цветник был полон народа. Никого не узнавая, Софья Павловна отчаянно стала звать на

помощь:

— Сюда! Сюда!.. Несите нам лестницу!

Тут она увидела молодого графа и Бухарова, метавшихся внизу; люди со двора уже тащили лестницы.

— Сюда! Скорее, Ариан! Спасите Майю, скорее!.. Я не могу одна справиться… Ей дурно…

И точно: Майя в эту минуту схватилась за голову и без чувств упала на пол. Черный дым и огненные струйки врывались в замочную скважину, ползли в щели из-под дверей. Еще минута, и упавшее с Майи одеяло задымилось и вспыхнуло… Девушка лежала в обмороке на полу в двух шагах от огня.

Вне себя, Орнаева бросилась к ней.

Поднять ее, дотащить только до балкона — и Майя спасена. Но бедная женщина чувствовала, что у нее подкашиваются ноги, кружится голова, что она сама обессилела и готова упасть.

— Боже мой!.. О Господи! Дай мне сил!.. Помоги мне ее спасти! — страстно вскричала она, забывая о себе самой.

В эту секунду в средине комнаты, между балконом и пленницами огня, раздался треск, и пол вспыхнул синим пламенем. Но Софья Павловна смотрела не на пламя, а на внезапно восставшего

пред ними человека в белой одежде.

Величественный, спокойный, печально улыбающийся ей, он простер руку свою над безжизненным телом девушки, и вдруг оно стало легким в руках Софьи Павловны, как тело малого ребенка. Без усилия донесла она Майю до балкона, а сама неотрывно смотрела на белого человека.

Он стоял у самого огня, не обращая на него внимания, глядя на Орнаеву глубоким ласковым взглядом.

В эту минуту над перилами балкона показалась голова графа Кармы. Миг, и он перепрыгнул на балкон, где, на пороге пылающей комнаты, принял свою супругу.

— Вот она! Забирайте ее! Невредима — благодаря Белому брату! — прошептала Орнаева, с рук на руки передавая бесчувственную Майю.

Но Ариан не расслышал ее слов.

Он схватил в объятия возлюбленную, перешагнул через перила со своей дорогой ношей и закричал Софье Павловне:

— Сейчас! Я сейчас помогу вам сойти!

Но когда граф передал Майю на руки Бухарову, стоявшему на полпути к земле, и поспешно взбежал снова вверх, он не успел подать руки Софье Павловне: она лишь мелькнула перед ним на

пороге комнаты, падая внутрь ее, вся охваченная пламенем, и пропала в дыме и грохоте провалившегося пола.

Через несколько часов, когда не столько усилия людские, сколько дождь, не перестававший идти до утра, прекратил пожар, обугленное тело Орнаевой было найдено среди дымящихся головней гостиной, откуда и занялся огонь по неизвестной и совершенно непонятной причине. Софья Павловна и хозяин дома оказались единственными жертвами этой ужасной катастрофы.

Но профессор Ринарди погиб не от огня. Смерть его тоже оказалась фактом загадочным.

Остывшее тело профессора было найдено на другой день на некотором расстоянии от дома, в чаще парка. Фонарь, оброненный по направлению к павильону, и отворенная дверь строения указывали, что профессор зачем-то ходил туда ночью. Предполагать надо было, что он, занимаясь чем-то в хижине во время грозы, неожиданно заметил в стороне дома огонь, побежал к нему, но, увидав пожар, был сражен на месте. Вскрытие тела подтвердило предположения: профессор скончался мгновенно от разрыва сердца.

Дом сгорел не совсем: только пустые ночью приемные комнаты, гостиная и над нею вся

спальня Майи. Этим обстоятельством и объяснилось, что ни одна душа, кроме хозяина дома и его так несчастно погибшей родственницы, ничем не поплатилась, кроме разве испуга. Майя Ринарди не пострадала от огня ни единым ожогом, зато впоследствии едва не поплатилась жизнью или рассудком — оба эти бедствия ей одинаково грозили во время ее продолжительной болезни. Тем не менее многие доктора нашли, что нервная горячка явилась благодетельным исходом и спасла бедняжку от сумасшествия.

Бухаровы, с истинным самоотвержением приютившие и вынянчившие Майю, потом во всю жизнь не могли достаточно надивиться последовательности болезненных видений страдалицы и ее удивительному бреду.

В полном забытьи, но с широко открытыми глазами Майя вела целые разговоры с личностями, порожденными ее фантазией. Что ей представлялись умершие — отец ее, мать и Софья Павловна, — тому не удивлялись окружающие: это было в порядке вещей Но всего дольше и чаще девушка беседовала с каким-то Кассинием — личностью совершенно неведомой ее новым друзьям и, предполагали Бухаровы, измышленной больным воображением. Но граф Ариан,

знавший более их, сердито хмурил брови, когда Бухаровы ему рассказывали об этом бреде, хотя намеренно не желал ничего объяснять по этому предмету.

— Очень, очень странный вид бреда! — говорили доктора. — Он только и может объясниться тем, что субъект и вне болезненного состояния ненормален… Ведь эта девушка с рождения была подвержена галлюцинациям, не так ли? Вероятно, этот друг ее, так называемый Кассиний, к которому она питает также неограниченное доверие, — воплощение одного из ее пунктов. Отсюда и последовательность и кажущаяся осмысленность свиданий с ним и бесед.

— Да, может быть, — задумчиво отзывались на такие определения Бухаровы. — Тем не менее очень жаль, что мы осуждены слышать лишь одну сторону этих бесед.

Когда Майя наконец вернулась к действительной жизни и начала поправляться, она, казалось, утратила всякое воспоминание о своих видениях. Жестокая скорбь по умершему отцу превратилась в тихую печаль, да и та понемногу улеглась и забылась, как забывается все на свете, в особенности если человек счастлив.

А Майя была и впрямь счастлива в супружестве

и в семейной жизни. Муж ее, граф Ариан де Карма, сдержал все свои обещания: он горячо любил жену и всю жизнь посвятил семье.

Прошло лет десять. Старый дом профессора Ринарди стоял пустой, угрюмый, наполовину разрушенный, наполовину заколоченный. Никто не жил в нем. Имение сдавалось в аренду; со времени катастрофы молодая хозяйка ни разу не возвращалась на родное пепелище, вероятно и его предав забвению, как и свое чудесное детство и юность. Графиня Мария де Карма жила то в столицах, то за границей, то в имениях мужа в Малороссии. Последние годы супруги чаще зимовали в Италии, а летом жили на берегах Днепра, где добрые знакомые любили проводить у них дни и недели, не скучая нимало в этой счастливой и богато одаренной семье. Бухаровы были, разумеется, желанными гостями. Оба они, муж и жена, находили неисчерпаемые предметы интереса в беседах с молодой четой. В графе Ариане развилась в последние годы страсть к искусствам, в особенности к живописи, а жена его была такая замечательная музыкантша, что истинному художнику наподобие Бухарова с ними проводить время было настоящим наслаждением.

Дружба их возрастала с каждым годом, но как

зорко ни следил Бухаров — в котором с годами все сильнее развивалась склонность к мистицизму — за образом жизни, занятиями и разговорами молодой графини, никогда не находил он в них ни намека на былые проявления неведомых сил и таинственных явлений, ее окружавших.

Майя даже не любила разговоров о чем-либо отвлеченном, выходящем из обыденного и вполне реального. Но что окончательно было странно и приводило всех, знавших графиню прежде, в изумление, так это непритворное, искреннее, полнейшее забвение ею того, что она так горячо прежде отстаивала. Она не только позабыла свои сны, волшебные путешествия, Приют мира или уроки Кассиния — она утратила воспоминание о самом учителе! Благо не оставалось у нее ничего, существенно о нем напоминавшего: ее тетради, дневники, самый медальон — талисман, данный ей Белым братом, — все было уничтожено пожаром, все исчезло в этом переломном моменте ее жизни. Майя в общих чертах сохранила впечатление, что в детстве и ранней юности была большой фантазеркой и мечтательницей, чуть ли не ясновидящим истерическим субъектом, подверженным всяким галлюцинациям. Она стыдилась этих болезненных явлений, как она

говорила, «милостью Божией исчезнувших»; радовалась, что и памяти об этом ни у кого не осталось, что она порвала навсегда с той местностью и людьми, где могли еще помнить о прежних «безумиях».

Муж ее, зная, как неприятны супруге напоминания о прошлом, никогда не говорил о нем; он просил и Бухаровых, и всех, кто мог что-либо слышать о «болезненном детстве» Майи, не спрашивать ее и никогда не напоминать о нем, в особенности быть осторожными при детях их.

Раз только, оставшись наедине с графиней на балконе их деревенского дома, Бухаров, задумчиво глядя на ясное и красивое лицо ее, спросил:

— Скажите, Марья Францевна, вы не помните, что именно вам представлялось во время вашей болезни, когда мы с вами приехали в Петербург после похорон вашего батюшки?.. Простите, что я вам напоминаю такое тяжкое время, но, право, ваш бред был так последователен, так интересен, что я давно хотел спросить вас: не вспомните ли вы, с кем вели такие продолжительные беседы?

Майя посмотрела на него большими глазами, вся вспыхнув от волнения, но взгляд ее был прямым, без признаков смущения, и только слегка удивленным.

— Нет, — ответила она, отрицательно покачав головой. — А что же я говорила в бреду? Скажите!

— Вы много беседовали с кем-то, с каким-то Кассинием… Упрашивали не оставлять вас в свете, не лишать возможности снова увидеть некий Приют мира; умоляли Белых братьев и сестер научить вас читать в какой-то книге земного бытия… Вы уверяли их, что не хотите земного счастия, а желаете обречь себя на служение миру, на ознакомление людей с таинствами бытия… Ничего не вспоминаете?

Опять медленное, сознательное качание головой, любопытствующий взгляд и вопрос:

— А что же отвечали мне эти белые люди?

Бухаров засмеялся.

— Ответов-то ваших таинственных собеседников я никак слышать не мог! Они, видно, для вас одной предназначались… Мы с женой только могли отчасти судить о них по вашим возражениям. Мы поняли, что ваш таинственный Кассиний указывал на невозможность возвратить прошлое… Кажется, он вам внушал, что теперь, когда вас любит Ариан и вы его полюбили, вы более не свободны и обязанности ваши изменились. Он даже утешал вас, очевидно, потому что раз вы

закричали в ужасном возбуждении: «Не утешай меня, Кассиний! Это не то! Не то!.. Не в мирской жизни хотела я найти счастие и спасение»… А в другой раз вы перепугали жену мою отчаянными рыданиями и возгласом: «Так все потеряно?!. О! Карма! Карма! Карма!»

— Вот странно! — изумилась Майя. — Зачем же я звала Ариана?.. Неужели я его в чем-нибудь упрекала?

— А уж не знаю. Вы часто произносили его фамилию, без всякой видимой связи с другими словами, — подтвердил художник.

— Это-то понятно, — засмеялась Майя. — Какую же связь захотели вы найти в бреду!

— Так ничего в этом вы не понимаете, не помните и объяснить не можете? — раздумчиво переспросил Бухаров.

— Совершенно ничего, — подтвердила графиня. — И вообще, должна вам признаться в одной странности, которой сама часто дивлюсь: моя детская и девичья жизнь будто стерта из памяти. Уверяю вас, что мне даже все труднее вспоминать отца и нашу с ним жизнь вдвоем до самого знакомства с Арианом. Со времени моей встречи с будущим мужем жизнь светлеет, а до того — будто сплошной туман… Ничего не осталось

в памяти после той ужасной катастрофы и моей болезни. — Она глубоко, но не печально вздохнула и прибавила: — Мне часто кажется, мой друг, что я родилась на свет божий в девятнадцать лет, в год моей свадьбы. Ну право же, настоящая, сознательная и, слава богу, счастливая жизнь для меня наступила лишь десять лет тому назад!..

Святолесские певцы. *Старинные предания*

Дела стародавних, далеких времен,
Преданья невянущей славы!

А. К. Толстой. Песня о походе Владимира на Корсунь

Несколько лет тому назад привелось мне прожить лето в деревне, на юге России, в очень живописной местности. В окрестностях нам показывали много древних курганов; возле озера, в красивом дубовом лесу уцелели еще многие развалины, по преданию, целого города, по имени которого будто бы и вся эта местность называлась Святолесскою. Неподалеку от озера, среди богатого черноземного поля целая груда камней указывала место церкви, носившей странное название «выпетой». Собственно церкви не было и следа — всего несколько кучек булыжника, проросших травой, — но местные жители утверждали, что здесь именно, до татарского погрома, стоял древний храм, называвшийся так, и в доказательство пережившего века уважения к этому месту на нем крестьяне от времени до време-

ни возобновляли здесь простой неотесанный бревенчатый крест. Зимой это место представляло собой снежный курган, а летом — довольно цветущий бугорок с покосившимся крестом на верхушке.

Я долго не могла добиться, почему это место называлось «выпетым». Кто его выпевал? Никто не знал и сказать мне не мог, пока не познакомилась я с одною старой-престарой старушкой-помещицей, которая заявила мне, что знает хорошо предание о Святолесской Выпетой церкви и что у нее хранится даже об этом рассказ — семейная рукопись чуть ли не прадеда ее.

Эту рукопись она показала мне, а я, переписывая манускрипт, постаралась только немного поновить слог, придерживаясь по возможности близко подлинному рассказу.

Глава I

Было то давно, не при отцах, не при дедах наших, даже не при прапрадедах, а и того гораздо пораньше — в те времена, когда славные богатыри по святой Руси похаживали; похаживая, дубинками, кистенями помахивали; помахивая, с басурманов головы сымали, из-под семи замкóв у крылатых змиев клады выкрадывали, у злых кощеев из теремов красных девиц выручали.

В те ли темные, дальние дни свет веры Христовой редкими огоньками по лицу земли русской теплился.

Бóльшая часть людей Перуну грозному кланялася, Дид-Ладо [23] не в одних игрищах да песнях славила, а уж Чернобога до того страшилася, что слугам его — кудесникам — работа не переводилась: чрез них и мольбы воссылались, и жертвы идолам приносились.

Чем дальше от первокрещенного Киева, тем реже сияли кресты на храмах Господних, тем чаще вздымались жертвенники в честь языческих богов. От града ко граду не видать было церквей

---

[23] Сноски: 23
По некоторым данным, высшее божество языческих славян.

христианских, да и в самих-то градах невелика была истинная паства Господня… Искренних, убежденных христиан не очень много еще водилось.

Однако городок Святолесск, даром что лежал в стороне от проезжего пути к стольному граду Киеву, промеж черных дремучих лесов, за холмами высокими, за песками сыпучими, но величался своим кремлем с многоглавым собором. И то сказать: мог он точно величаться! Красой его Бог не обидел. Каждый путник — будь он злой нехристь-татарин аль крещеный человек, все одно, — как выходил из-за темного леса, так сразу метался в очи ему на зеленой на горе, по-над озером светлым, городок с пригородьями, валы крепостные с частоколом высоким, а за частоколом — собор пятиглавый, озолоченный, воеводский дом с расписными теремами боярскими, со столбами витыми, крылечками да резьбой узорною. Как, бывало, солнышко-то еще ударит в красу города, да вся она как есть целиком опрокинется в ясное зеркало вод лазоревых — каждый поневоле остановится и подумает: «Экая краса благодатная!.. Ай да Святолесск — залюбуешься!»

Глава II

Невдалеке от городка, на лесной опушке, был погост с малою часовенкой. Церкви при кладбище не было: куда еще! Будет и того, что в кремле бревенчатый пятиглавый храм всем на диво вздымался. О новой церкви святолесцы еще не думали. Покойники побогаче да поважнее в городу отпевались, бедные — в часовенке при погосте. А бóльшая часть жителей в обрядах христианских и вовсе нужды не видала: кто просто умерших земле предавал, кто втихомолку курганы над ними вскапывал, тризны языческие по-прежнему правил.

Часовенка при кладбище была заложена временная купчиной богатым. Собирался он на место нее и всю церковь выстроить, потому что уж крепко напуган был: стал купчина помирать, а помереть ему крепко не хотелось. Вот и пообещался он, если выздоровеет, во имя Успения Божией Матери храм на погосте построить. Захворал он как раз об этом празднике, а на самое на Успение с него как рукой хворость сняло. Делать, стало быть, нечего: приходилося мошной тряхнуть. Заложил он будущую церковь, возле

выстроил часовенку, и весь бы храм, статься могло, достроил, да только пришлось ему по делам из городу выехать. Уехал он — и был таков! Не стало о нем слуху, не осталось и духу.

Так и пришлось святолесским покойникам одною во имя Успения часовенкой пробавляться.

Никто о том не тужил, кроме разве одного попа Киприана, духовника пропавшего купца. Был он человек совестливый и пастырь добрый; мучило его сознание, что восприял он обет духовного своего чада, сам и место для храма святил и первый камень его заложил — и все то дело вышло облыжное! Ему казалось, что сам он отчасти ответствен и виновен в обмане: хоть не намеренно, а допустил ложный Богу обет… И сокрушался поп Киприан.

Тем горше сокрушался, что не видал себе ни в ком соучастия, и ясно было ему: сколь много он ни старайся, как усердно ни обращайся к благостыне христианской, век не собрать ему казны нужной для построения заложенного храма.

Отец Киприан был родом не русский. Малым ребенком прибыл он из православной Греции с батюшкой своим, иереем. Того сам князь Владимир Красное Солнышко с другими пастырями выписал из Константинограда. С годами обрусела

семья; Киприан женился на дочери природного киевлянина, красавице Миловиде, во святом крещении названной Любовью, и сам приял священство.

Верно было дано жене Киприановой христианское имя: ни в ком христианское милосердие и чистая любовь не могли горячее гореть, как в сердце этой красавицы, обращенной благочестивым супругом в ревностную христианку.

Бог благословил брак их тремя детьми: дочерьми Верой и Надеждой и сыном Василько. Не могли поп с попадьей наглядеться на деток своих, души в них не чаяли! И то сказать, все трое красавцы были писаные и душой столь же хороши, как и обликом.

Надежда с Верой были близнецы и столь сходны, что отличить их, кроме отца с матерью, никто не мог. Даже брат, млаже их на два года, часто смешивал сестер и, смеючись, говаривал: «Не все ль мне едино, кто из вас Вера, кто Надежда? Где одна, там и другая! Делить вас нельзя, и люблю я вас ровно… Для меня вы обе и матушка — третья — нераздельны. Все вы трое — в единой Любови и Любовь единая!»

И точно! Горячо друг друга любили дети отца Киприана. Брат и сестры не разлучались и всегда

ходили обнявшись, привлекая взоры и улыбки встречных своею миловидностью.

Глава III

У всех троих были чудесные голоса. Отец и мать научили чад многим священным напевам; кроме того, поп Киприан натаскал своего десятилетнего сына играть на гуслях. И так они втроем сладко играли и пели, что в праздничные дни, особенно долгими летними вечерами, народ толпами стал собираться под окно поповской избы, чтобы послушать песнь об Иове многострадальном, о чудном спасении трех отроков в пещи огненной или другое подобное сказание, которые отец Киприан умел искусно в стих перекладывать.

Слушал их народ, заслушивался и уходил умиленный…

И вдруг осенила благочестивого иерея дума: «Не расточаются дары Господни напрасно. Не дана ли мне в сладостных голосах невинных моих отроков возможность снять со своей и с чужой души тяжесть невыполненного обета? Сам Спаситель учил не зарывать в землю талантов… Пойду-ка я к старцу Евфимию, попрошу его разрешения и, коли он благословит, поставлю у порога моего кружицу для добровольных приношений на построение храма на бедном погосте нашем.

Пусть народ слушает пение моих детей и в умилении подает, во спасение душ своих, посильные лепты».

И пошел Киприан в Святолесскую пустынь, в скит отшельника Евфимия. В глухих дебрях лесных основал святой старец одну из первых иноческих обителей на Руси, но вскоре соседство с несколькими братьями-монахами, последовавшими за ним в пустыню, показалось ему тягостною суетой… Удалился он от заложенного им скита в еще бóльшую глушь дремучего бора, вырыл себе малую пещерку и там спасался в денных и нощных молитвах, видясь только с теми, кто имел до него неотложное дело. Без особой нужды не дерзали нарушать уединение святого старца даже братья его иноки. По очереди, раз или два в неделю, тайком крадучись, они навещали пустынника, с низким поклоном клали на пороге пещерки его просфору и удалялись, не промолвив ни слова.

Однако тех пришельцев, кои к нему обращались с просьбой: «Благослови, отче, на беседу, во спасение души!», Евфимий осенял крестным знамением, выслушивал и давал наставление.

Радостный возвратился из скита отец Киприан и тотчас принялся за дело.

Перенес он свою убогую хижину к самому кладбищу; поселясь возле часовни, и стал безвозмездно совершать все требы: отпевал, хоронил, поминал православных, ничего для себя не желая, лишь указывая просившим молитв его на вделанную в камень у самого входа в часовенку железную кружицу, с поклоном говоря каждому:

— Не для меня жертвуете, православные, — для себя самих, на построение храма во имя Пресвятой Матери Господа нашего Иисуса Христа, храма, по обету здесь заложенного, да не выстроенного.

И давали добрые люди полушки и гривны, кому сколько в силу-мощь было; давали тем щедрее и охотнее, что нигде никто не слыхивал столь сладостного пения, как на служениях отца Киприана. Две дочери и отрок-сын служили ему клиром.

Когда же наступали вешние дни, оконца и двери отворялись в поповой избе, и семья выходила коротать долгий золотой сумрак на крылечко; туда Василько выносил свои гусли и, присев с сестрами на ступеньки, первый подавал им зачин. Когда юные голоса их разливались в хвале Богу, Создателю утренней и вечерней зари, солнца жаркого, кроткого месяца и ясных звезд, что вокруг них зажигалися в румяных еще небе-

сах, — тогда лужайка пред погостом покрывалась народом. Соседи из пригородов и горожане из-под самого кремля стекалися послушать дивное пение. Многим казалось, что Божия благодать, мир и любовь нисходят вместе с волнами звуков в смягченные сердца. И людям хотелось молиться: им чудилось, что ангелы Божии сходят с ясных небес и свои голоса примешивают к пению отроков… Полушки и гривны тогда частым дождиком стучали о дно кружки церковной, и радовалось сердце отца Киприана, слыша стук этот и внемля просьбам народа, говорившего его детям: «Пойте, отроки Божии! Славьте еще Отца Вседержителя, и Духа Святого, и Христа-Спасителя, и Пресвятую Матерь Его!.. Добро нам слушать вас. Пойте! А уж мы порадеем на построение храма».

И точно: радели не скудно. Чаще и чаще приходилось Киприану соборного протопопа, отца-казначея, тревожить: считать жертвенные сборы на храм Успения и сдавать их в кремль на хранение.

— Еще до будущей весны повременим, да уж можно будет, с помощью Господа, помалу к постройке приступать! — радовался отец Киприан, а за ним радовались и благодарили Бога за ниспосланную им благодать жена его и дети.

Откуда что бралося у этих Божиею благодатью взысканных детей! Последние годы отец, удрученный службами и добровольными требами, перестал заботиться им песни складывать: сами они их на лету составляли. Особливо сестры доходчивы на стих были! Лишь прочтет что отец в Священном Писании или во Псалтыри — сейчас у них и пересказ, и песнь готовы.

Словно премудрость свыше осеняла их разум — из чистых сердец и чистых уст их славословия сами собой изливалися.

Глава IV

Славословия певцов-отроков изливалися простосердечные, всем понятные, до глубины самых черствых душ доходившие и лучше вкоренявшие веру Христову в окрестном населении, чем требы церковные, не всем понятные.

Вскоре слухи об ангельском пении в семье святолесского священника разошлись далеко, добрались до самого Киева; множество богомольцев стало нарочно с пути сворачивать, чтобы послушать гусли отрока Василько и пение его с сестрами. Из Киева же был прислан от начальства запрос: что за притча творится в семье отца Киприана? Нет ли обману какого, нет ли прельщения бесовского, зловредного?..

Но еще ранее запроса пришел из скита старца Евфимия к протопопу святолесскому инок со словесным наказом, что так-де и так, если будет запрос об отце Киприане и семье его, велит старец Евфимий их не замаять лихою отповедью, а все по правде доложить, что доброе дело ими творится с его, Евфимия, благословения. Дело и само было по плодам своим видно: послушали посланцы киевские пения, умилилися душев-

но! Пересчитали казну, для построения храма собранную, — умилилися пуще, похвалили попа Киприана, похвалили богоугодное житие семьи его и сладкогласное пение детей и восвояси отбыли обратно.

Но приключилося тут особое дело, поднявшее грозу и гонения на благочестивую семью. Воевода святолесский боярин Буревод и молодой его племянник Ратибор сами полюбопытствовали послушать пение. Отец Киприан отвез детей в дом воеводы. Обласкали их там; вдовый боярин водил гостей в терем к своим дочерям-невестам, и те, как сказывали Вера и Надежда родителям, хоть и гордо обошлися с ними, но пение одобрили. А уж думные бояре с дьяками и со служилыми людьми в голос захвалили дочек поповских и так-то смотрели на них, что обе не знали, куда глаза девать. И вот зачастили после того воевода с племянником на погост «слушать божественное пение». Василько хвалили в меру, зато на девиц хвала без меры сыпалась, и уже так-то ласков был воевода, и так-то пристально молодой его родич с пригожих дочек глаз не спускал, что попадья сказала мужу:

— Ой, Киприанушко, сдается мне, что недаром зачастили к нам эти бояре!

— А вестимо недаром, — весело отозвался поп. — Гляди, как кружка наша сборная отяжелела: того гляди надо ее опять в кремль везти, казначею сдавать!

— Не то я сказываю, Киприанушко! Смотри, не пришлось бы нам родных дочек из дому свезти… Воевода-то с Веры глаз не спускает, а племянник его как воззрился на Надежду, так никого и ничего опричь ее красы и не видит.

Смутился отец Киприан.

— Ну уж ты, баба, — говорит, — у вас все только этакое на уме! Боярин Буревод в деды дочкам нашим годится, станет он на дитя льститься? Да и Ратибор Всеславович не таких красавиц, я чай, в Киеве видывал.

— Таких красавиц писаных и на всем-то свете мало, — вздохнула матушка-попадья.

Глава V

Отец Киприан жене не возражал, но призадумался. Знал он, что обе дочки его Богу обещанные невесты: с тринадцати годков стали они всем сердцем в монашество рваться. Ныне шел им шестнадцатый год. Не один жених пробовал свах засылать, но ответ всем был один: за честь благодарят покорно, а о браке не помышляют. Монашеских обителей в то время на Руси еще не было; желающие спасаться удалялись в скиты, в пустынях себе кельи ставили, как святолесский старец Евфимий. О женских монастырях и не слыхивали. Но у отца Киприана родная сестра была игуменьей монашеской обители на родине его. Он много рассказывал о той обители семье, и обе девушки рвались поступить под святой кров ее, и хотя сознавали, что это трудно исполнимая мечта, но дали обет безбрачия и заявили о том родителям.

Права оказалась матушка: не откладывая в долгий ящик своих помыслов и на свах не тратясь, сам боярин Буревод за себя и за племяша посватался. Призвал он раз, после соборной обедни, к себе попа Киприана, да и говорит:

— Ну, отче, видно, твое счастье! Вдвойне хочу с тобой породниться: давай нам в жены дочек твоих: мне Веру, а Надежду братнину сыну. На роду им писано боярынями быть.

Побледнел отец Киприан, затрясся даже весь. А воевода смотрит да в седую бороду ухмыляется. «От великого счастья, — думает, — батька голову потерял!»

— Ну-ну, — говорит ему, — успокойся да благодари Бога, что мы с племянником честные люди. Поди объяви семье радость. На той неделе сговоры справим, а там честным пирком да и за свадебку! Сам нас, отче честной, венцами благословишь… Иди с миром. Завтра подарки невестам пришлем.

И ушел поп Киприан, не посмел перечить, сам только мыслил: «Эх, греховодник старый! За что только Бога благодарить наказывает! Ну, что теперь будет?.. Положим, обета настоящего дочки не давали, да и не в таких еще летах они, чтобы Господу их обещания приять. От греха они свободны, но… захотят ли? Прельстятся ли славой мирскою? Неволить их я не могу!»

Глава VI

Как березки под зимним инеем побелели сестры, услыхав весть, привезенную отцом! Обнялись, прислонилися друг ко дружке, смотрят на отца большими, затуманенными, но и сквозь слезы блистающими, как звезды небесные, глазами, а сами дрожмя дрожат, так что и слова высказать не могут.

Испугалися отец с матерью.

— Что вы, что вы, голубки наши белые? Чего испугалися?.. Ведь неволить вас не станем!

Тут Вера, считавшаяся старшею, брови нахмурила и выговорила, строго-престрого на отца глядючи:

— Неволить? Кто ж нас может неволить, когда мы Господу Богу обещаны?! Убить нас можно, но замуж отдать нельзя!

— И как же ты, батюшка, воеводе ответил? — прошептала Надежда.

Потупился отец Киприан под взглядом дочек своих.

— Что ж, — говорит, — я за вас решения класть не мог. Детьми вы замыслили себя Богу посвятить, хоть настоящего обета не давали… Дело это

трудное: у нас женских обителей, куда бы вам приютиться, и вовсе нет!

— Нет — так и без приюта свой век изживем! — твердо выговорила Вера.

— А и век-то наш не гораздо длинен! — прибавила сестра ее.

— Полно-ко: никто не весть ни дня своего, ни часа, — возразил отец.

А мать и братишка заплакали от таких Надеждиных слов. Знали они, что обе сестры уверены в своей скорой смерти: были им — сонные аль явные, сами не ведали они того, — но видения верные.

В тот же день побывал отец Киприан у воеводы, низко кланялся ему на милость, заявлял, что дочки боярам челом бьют за великую честь, будут-де их имена на молитвах поминать с благодарностью, но выйти в замужество не могут: Богу безбрачие ими обещано.

Заявить-то об этом поп заявил, да уж и сам не знал, как его ноги из палат боярских вынесли — до того разгневался на него воевода! Так забранил он и ногами затопал, что света не взвидел отец Киприан и сумрачный вернулся домой. Слышал он, уходя, как меньшой, Ратибор, останавливал дядю во гневе и нехорошие слова молвил.

— Полно-ко тебе, дядюшка, гневаться! — позеленев от злобы, говорил Ратибор Всеславович. — Сами себе девки вороги: не хотят добром за нас идти — силком заберем, вот и вся недолга!

Пуще ярости старого боярина испугала священника злобная решимость молодого. Поведал он об этом матери-попадье, наставлял никуда дочек одних не пускать, беречь бы их денно и нощно, а сам даже двух злющих псов завел, чтобы по ночам никто чужой близко к дому не подошел.

Ночи-то как раз становились длиннее, подходило осеннее, ненастное время. С осенними холодами, как всегда, люди стали больше болеть, простужаться. Прибавилось дела знахарям да попам, а уж такому-то, как Киприан, в народе прозванному бессребреником, пуще всех приходилось работать. Другой день от множества треб хлеба куска не успевал проглотить. Недоедал и недосыпал, так что домашние его почти не видали. Когда же и бывал дома, то все ж в избе мало сиживал, неустанно наблюдая за подвозом и складкой материала для будущей церкви: с осени порешил всё заготовить, а раннею весной приступить к постройке. За усталью да семейными тревогами совсем поизвелся отец Киприан; а тут еще, на беду, и сам застудился и недомогал.

Хорошо, что, к великому облегчению забот его, молодой боярин Ратибор уехал неожиданно в Киев. «Видно, на службу отозвали. Давненько он здесь баклуши-то бил: авось его теперь не скоро отпустят», — утешался отец Киприан.

Примолк и воевода. Поповская же семья о них никогда речей не держала, но втайне все радовались, что не стало у них ни следа ни слуху о дяде с племянником.

«Неужто ж пронесло мимо грозу? Подай, Господи!» — думала мать-попадья и набожно крестилась.

Подошла зима со своими пушными покровами, все обложила лебяжьим пухом, обвешала алмазными ожерельями, посыпала жемчугом. В том году она стала сразу снежная да суровая. С октября уж пришлось отцу Киприану всякие работы по постройке бросить, а в ноябре заготовленный материал потонул под саженными снегами, так что поневоле на отдых больше времени стало перепадать. Свободное время даром в благочестивой семье не пропадало: в долгие зимние вечера при свете яркой лучины прялись пряжи, ткались холсты, а пока женщины были заняты рукоделием, отец с сыном новые псалмы и молитвы на голоса раскладывали. Василько

гусли перебирал, а сестры им обоим помогали и склад налаживать, и голос выводить. И так-то дружно и ладно у них это дело спорилося, что, не глядя на заносы и метели, частенько в ворота их стучались гости: охотники послушать певцов и зимой не переводились.

С благословения отца протоиерея, Киприан стал с собой возить по праздникам детей в город; там становились они на клиросе и своими чистыми, звонкими, как серебро, голосами руководили общим песнопением молящихся. Весь народ вторил им, благоговейно взирая на светлую красоту сестер, коих лики блистали благодатным светом ангельской чистоты и непорочности. Пред всяким двунадесятым праздником вся благочестивая семья постилась, а говела и приобщалась Святых Тайн два раза в году, в Светлый Христов день и в Успение.

Не успели оглянуться, как подошел Рождественский пост. На святого мученика Филиппа заговелися, а с Гурьева дня поститься стали строго, без рыбной снеди, и каждый день дети сопутствовали отцу в кремль к обедне. Особливо дочери усердны были ко святому служению, редко пропуская утрени, не только что литургию. Василько чаще оставался дома с матерью,

которой ради хозяйственных забот нельзя было выходить из дому ежедневно.

Глава VII

В ночь на 20 ноября было сестрам сонное видение. Обе одновременно узрели в светлом небе блистающую причастную чашу, и обе слышали голос, возвещавший великое таинство подлинными словами божественного песнопения: «Тело Христово приимите, источника бессмертия вкусите!»

Сестры сразу поднялись на ложах своих и воззрились одна на другую, спрашивая:

— Что это значит? Что ты видала, сестра?

Поведали они друг другу свой дивный, одинаковый сон и так порешили:

— Господь нам близость земного конца возвещает. Надо нам приобщиться Его Телу и Крови… Да будет над нами Его святая воля!

Наутро, встав, чтобы сопутствовать отцу в Божий храм, они рассказали ему о видении своем и о желании, не отлагая, причаститься.

— Что же, — скрыв тревогу житейскую, согласился отец Киприан, — ежели таково ваше желание, завтра на утрени исповедуйтесь, а за обедней, в день Введения во храм Пречистой Девы Марии, я приобщу вас Телу и Крови Господ-

ним. Только, по слабости нашей человеческой, прошу я вас, дети мои: поберегите матушку вашу, не тревожьте ее предвидениями скорой кончины вашей… Быть может, услышит Господь и мое моление родительское, упасет вас от смерти безвременной.

И было ими решено скрыть от брата и матери свои помыслы о близости смертного часа.

На следующий день, в праздник Богородичный, пели дети отца Киприана в Святолесском соборе; пели они, как в те века водилось, со всеми прихожанами вместе, но их чудные голоса выделялись чистым серебром в общем хоре славословия. А когда Вера и Надежда подошли к пречистой чаше, солнце пробилось сквозь зимнюю мглу и тремя яркими лучами озлатило их благоговейно склоненные головы; сестры предстали народу словно видение свыше, словно чистые серафимы в облаках курившегося фимиама. Многие вместе с ними молитвенно преклонили колена, а другие в толпе умиленно переговаривались:

— Смотрите, православные, будто Божии Ангелы к нам, грешным, с неба слетели! Не по-земному сияют лики сих чистых отроковиц, да и голоса их звучат не по-земному.

И точно: красота сестер была чудно прекрасна.

Она умиляла души избранных, но иных поражала, не умиляя… У дверей храма, в толпе, среди пришлых богомольцев, один парень в лаптях и мужицком зипуне всю службу глаз с девушек не спускал, даже лоб перекрестить забывал, на них глядючи. Не по-мужицки мужицкая одежда на этом парне лежала, а забываясь, когда кто его по тесноте ненароком толкал или пред ним становился, заслоняя поповских дочек, он так гневно да властно черными глазами вскидывал, что видевшие только сторонилися, дивясь: ишь-де, сиволапый, каким соколом озирается!..

Кончилась служба. Воевода со своими пришел на паперть. Остановился там, на посох воеводский опираючись, сгреб в кармане пригоршню полушек, стал нищую братию праздника ради оделять, да вдруг встретился глазами с высоким парнем в зипуне, дрогнул и приосанился.

Кабы кто сумел в душу боярина Буревода прозреть, прочел бы там довольные помыслы: «Ишь ведь, пострел, каково вырядился! И мне не сказался, что уж здесь… Ну, видно, и впрямь надо вскорости гостей желанных поджидать. Велю ключарю потайной калитки на ночь не замыкать!»

Глава VIII

Возвратился отец Киприан с семьей поздно. Приходилось ему в городе еще кое-какие требы свершать; дети его на соборном дворе у вдовой дьячихи-просвирни в келийке обождали. Звал их отец казначей, протопоп соборный, к себе, пирожка с грибами праздничного откушать, да не захотели сестры, убоявшися расспросов да переговоров. Попадьи да поповны городские им проходу и то не давали: корили за спесь, за неразумие. Как-де было им за бояр не пойти?.. Девичье счастье прозевали, чтоб после век плакаться.

Не хотелось Вере и Надежде их вздорные речи бабьи слушать, не хотелось пересмехов девичьих, взглядов да заигрываний нескромных их братьев и мужей терпеть. Не любили они по гостям да по чужим людям ходить.

Едва в полдень поповские розвальни к погосту подъехали, в воротах переняла их Любовь Касимовна; заждалася она мужа да деток и вволю без них нагоревалася. Пошла она утречком, помолившися, животинку в хлеве да на дворе покормить, глядь — а их псы сторожевые, Орлик да Сокол, в разных концах двора лежат мертвые. С чего

им смерть приключилася, кто их извел и почто? Ума приложить не могла попадья и сама не своя ходила, боясь, что недаром такое стряслося.

— Надо нам, поди, лихих гостей ждать! Как сведут у нас Сивку да Буренушку — кто нас прокормит? Как до городу добираться будешь? — сокрушалася мужу мать-попадья.

Нахмурился отец Киприан. Не за лошадь и коровку боялся он… Но вскорости одумался, что на всё, а тем паче на такие дела воля Божья.

— Ну, как быть, — вздохнув, молвил он, — не надо на людей грешить! Как знать, может, Сокол с Орликом какого ни на есть зелья и сами хватили. Достанем других собак, а пока будем сами настороже. Авось Господь помилует… Во всем ведь Его святая воля!

Вошли в избу, потрапезовал отец Киприан с семьей, а после обеда взял заступ, позвал Василько, и пошли они зарыть в землю верных сторожей своих. Мальчик плакал, прощаясь со своими добрыми товарищами, а отец его пожурил: стыдно-де парню из-за псов слезы лить!

А в избе между тем мать, покачивая головой, говорила дочкам своим:

— Ох, ох! Недаром я во сне видела, что тучи, черные-пречерные, над нашим жильем собира-

ются… Быть над нами беде!

— А чему по воле Божией быть, того не миновать, матушка! — отвечали сестры. — Значит, незачем и сокрушаться о том, над чем мы не властны. Только бы самим не грешить, только бы чистыми пред Его престолом предстать! А то — будь что будет, не все ли едино. Земная жизнь недолга, а вечная — в наших руках. Сказано: волос не упадет с головы человека без воли Его! — утешали мать дочери.

— А припомни, как ты нам сны свои рассказывала, — вдруг встрепенулась Надежда. — Не ты ли говорила, что грозные тучи только напугали тебя, а из них великий свет исшел и всех нас осенил?.. Вот, стало, горе-то нам к славе будет.

— Не к земной, так к небесной, — добавила Вера. — По мне, так чем бы скорее Господь на нас оглянулся и в Свои обители призвал, тем радостнее.

Крики, свист, песни, пьяный хохот и резкие задорные звуки гудка прервали речи сестер. Шум этот в последнее время им не в диковину был: как раз против избы отца Киприана и против будущей кладбищенской церкви поселился целовальник. В праздники брага и пьяный мед щедро лились в его притоне, а скоморошные песни и

богохульные речи — еще щедрей! Это соседство очень смущало отца Киприана — не столько для себя, как для погоста, ввиду будущего стечения рабочих на построение церкви. А целовальнику только того и нужно было. Известно: чем ближе народ, тем больше трактирщику прибыли!

Глава IX

Но в тот день уж что-то особенно расплясались и распировались в избе и пред воротами целовальника. Зимние сумерки скоро спустились, но лунная ночка была ясная. Полный месяц стоял высоко в небе, среди большущего жемчужного круга, а на земле, одетой в белые снежные савааны, все таинственно сияло и мерцало мертвым холодным блеском.

Перед вечером наведалися к попу ближайшие соседи из пригорода: старушка-мещанка со слепым сынком-подростком, старик-лавочник да двое-трое калик перехожих, богомольцев, зазимовавших в Святолесске по дороге в Киев. Приходили они проведать, не будет ли ради праздника священного пения у батюшки. Но отец Киприан лишь головой мотнул на окошко, за которым виднелась ярко освещенная изба целовальника, откуда пение и гогот неслися хуже прежнего.

— Разве ж статочно молитвенное пение при таком нечестивом гомоне? — вздохнул иерей. — Нет, православные, приходите уж вдругорядь: нынче несподручно детям петь.

— Да им обеим и не так-то здоровится, — отозвалася Любовь Касимовна. — Они уж к себе в светелку поднялися.

Так и разошлись охотники до «божественного» пения.

Отец Киприан спросил жену, скрывая тревогу:

— А чем неможется дочкам? Аль захворали?

Но она его успокоила: так-де, не по себе им, а не то чтобы хворость. Просто растревожилися, должно, смертью Орлика да Сокола. Жаль их, да и сынка, что плакал. Глядя на его слезы, давеча всплакнула и Надежда, вот и заболела у нее головушка. Ну а ведь уж ведомо: коли у одной сестры что болит, зараз и на другую переходит! — объяснила Любовь Касимовна.

— Ну, Господь их храни! Подь, Василько, зови сестер вечерять, помолимся да ляжем пораньше. Притомился я ноне… До ночи хоть отдохну пока что — на людях не страшно, — а дальше ведь надо только одним глазком спать, караулить нас некому!

Сбегал Василько наверх в светлицу, застал сестер в темноте; они лучинки не вздули, но месяц ярко светил в слюдовое оконце, и мальчик увидал сразу, что сестры его сидят обнявшися; Надежда голову на плечо к Вере положила, а та ей житие

тезоименитых им святых и матери их Софии рассказывала. Слышала Вера о них от одного инока иноземного, которого сестре ее не довелося послушать, и с той поры поповы дочки часто беседовали о погибших в муках за веру Христову святых девах, соименницах своих, о великом их терпении в страдании и блаженной кончине.

Услышав зов брата, они от ужина отказались, но к молитве сошли; помолились вместе с отцом и матерью, приняли их благословение на сон грядущий и снова направились к себе. Брат посветил сестрам, пока они на лестницу взошли, а когда хотел уходить, обе его обняли, перекрестили и сказали:

— Что бы ни приключилось, Василько, смотри не забывай нас! Молись о нас, как и мы о тебе и о родителях наших молиться будем. Кого любовь да молитва соединяют, для тех разлуки быть не может! Запомни и перескажи эти слова наши отцу с матерью.

Рано улеглась семья Киприана, но долго заснуть в ней никто не мог. Сестры наверху о сне и не мыслили, а внизу родители и рады бы забыться, да пляс, гам и пьяные крики у соседей не давали покоя.

Один Василько, забравшись на лежанку, скоро

и сладко уснул.

Глава X

Меж тем кутеж и пирование напротив поповской избы до полуночи не унимались. Еще бы: кому на даровщинку не попируется? Хмельное в тот день было для всех свободное. Воевода ль, сказывали, праздник справлял, или другой кто, на мошну тароватый, мир угощал, только меды и брага лились незапретно, и к полночи все в лоск упились. На версту в любую сторону, кажись, человека тверезого не осталося.

Ан так оно только казалося, а на поверку бы вышло, что человек с десяток больше всех бесчинствовали, да верно меньше всех пили — потому что лишних всех опоив, сами как будто не брагу, а чистую воду тянули, только промеж себя переглядывалися да на своего старшова поглядывали.

А старшой-то их — тот самый соколик, что утром давеча в Божьем храме побывал, да Богу не маливался; с воеводой на паперти взглядом спознался, да словом не перемолвился, а тут, у целовальника, день-деньской пил, да не напился, — как только увидал, что на ногах никого не осталося, опричь его молодчиков, легонько присвистнул да за ворота и вышел.

Белая тишь да гладь безмолвно морозною ночью сияли. Бугры да кресты на могилках узорными тенями погост испещряли; крест на часовне сиял, будто алмазный, а тень от него не далеко ложилася — очень уж высоко полная луна забралась… Прямо над избой отца Киприана она светло-пресветло сияла, так и разливаясь лучами и блестками над островерхою светелкой. В поповском жилье нигде света не было; все там было мирно, тихо, недвижно.

Махнул рукой набольший своим сподручным, и десяток рослых молодцов окружили его молча, глядя в ясные очи ему, ожидая воли его и приказа.

Тихо был приказ отдан. Крадучись по тени, под заборами, несколько человек шмыгнули к поповскому двору, перемахнули через невысокий частокол и разместились по углам да под выходами; другие двое подхватили заготовленную под сараем у целовальника лестницу, побежали с ней на поповский задворок и приставили к оконцу светелки.

В ту же минуту, будто по уговору, в том окошке зажелтел свет.

«Ага! Тем и лучше! — подумал Ратибор Всеславович, сбрасывая на снег свою сермягу. — Виднее

будет, коя моя, коя дядина!»
И вмиг на лестнице очутился.

Глава XI

Тем временем первая дрема только что свела зеницы отца Киприана и жены его, а сынок их Василько до того ль разоспался, что никак, сколь ни старался, проснуться не мог.

А проснуться бедный мальчик очень желал!

Ему привиделся сон дурной, тяжелый. Увидал он сначала обеих сестер своих. Увидал, что Надежда в светелке лежит бледная, неподвижная, а Вера, над нею склонившись, сама белая да холодная, засветила свечку восковую, тихо молитвы читает, целует сестру и мысленно просит: «И меня возьми, Боже! И меня спаси и помилуй, с ней вместе, Господи милостивый, Иисусе сладчайший».

Но вдруг светелка пропала из сна. Видит Василько, будто стая голодных волков окружила их дом, смотрит на месяц и воет!.. Воет так громко, так жалобно, что во сне у мальчика сердечко сжалось от страху, заныло и сильнее забилось. Хочет он кликнуть собак, изумляется, как же так молчат их верные сторожа, и вдруг во сне вспоминает, что Орлика и Сокола извели, что сам же он зарыл их только что в землю…

Вот один волчище от других отделился.

Размашистым сильным прыжком очутился он под оконцем, у светелки сестер Василько; смотрит на окно, смотрит, огненных глазищ с него не спускает, а сам хвостищем виляет по снегу, зубами пощелкивает, кровавым языком облизывается… А вот и привстал, и за ним еще двое серых привстали, и все крадучись к дверям, к окнам их дома пробираются, сторожами рассаживаются. А тот, первый, самый большой, как взмахнет с земли — и прямо в окошко!

Во сне Василько весь съежился и жалобно застонал. Представилось ему, как злой волчище на сестриц его набросился, разорвал, растерзал их на части; кровью их, слезами чистыми упивается, тела их белые по кускам рвет и мечет…

Но вдруг он, спящий Василько, так и застыл в недоумении, в восторге — он увидал сестер.

Вот они обе, Вера и Надежда, не окровавленные, не мертвые, не растерзанные, а сияющие, радостные, блаженные! Облитые холодным сиянием, они, оторванные от земли, несутся к луне жемчужной, в светлые выси небес, сами блистая чистотой и счастьем. Летят они обнявшись, крылами алмазными взмахивают, братцу с высоты улыбаются, — а оттолева, из-за месяца светлого,

из-за звезд золотистых, несутся вовстречу им хороводы таких же блистающих ангелов, какими они обе сделались, и поют: «Свят! Свят! Свят Господь Саваоф!..»

Так громка и торжественна стала их песнь, что Василько проснулся, подхватился и вскричал:

— Батюшка, матушка!.. Слышите ль вы песнь ангельскую, славословие великое?.. Батюшка, видишь ли ангелов Божиих? Они к нам летят, они Веру и Надежду встречают!

Вскинулись перепуганные отец Киприан и Любовь Касимовна. Поп первым делом к окну бросился. Там все казалось пусто и тихо, только еще долетали замирающие песни бражников в кабаке и слабый свет лучины светился из окошек его.

— Что ты, что ты, паренек?.. Бог с тобою, дитятко! — подскочили отец с матерью к Василько.

Но в этот миг где-то сверху послышались стук и треск, будто там что разбивали. Попадья громко вскрикнула, а отец Киприан, обеспамятев, сам не свой бросился вон из комнаты в сени, на лесенку, в светелку дочерей. Одним взмахом руки он распахнул дверь настежь и окаменел на пороге.

В окне пред Киприаном, как и он, неподвижен и бледен, будто мертвец, стоял молодой боярин

Ратибор Буревод, а в светелке были дочери поповские: одна, уж остывшая, лежала на постели, а другая, на коленях возле сестры, не обратив даже лица на влезавшего к ним вора, властно устраняла его прочь протянутою рукой.

Эта рука и вид умершей недвижимо приковали вора-боярина к месту.

На глазах пораженного отца Вера как стояла коленопреклоненная над умершею сестрой, так тихо-тихо к ней притулилась и застыла — сама мертвая.

Глава XII

Похоронили дочек отца Киприана вместе, в одной могилке, у самой церкви кладбищенской, где был намечен алтарь. Осиротела, притихла семья. Не слышно в ней стало ни лепета девичьего, ни смеха молодого, ни песен сладостных. Василько не смел не только голос подать, но даже дотронуться до гуслей. Матушка Любовь Касимовна глаз не осушала, извелась вся, да и муж ее не лучше смотрел, только что явно горевать себя не допускал, от слез воздерживался, а только несчетно раз во дню тяжело воздыхал да выговаривал: «Да будет воля Господня!»

Даже к своему дорогому делу, к построению храма, будто бы обравнодушил иерей. Не то чтобы не желал кончить его — желал душевно! Пожалуй, еще горячее прежнего; всю цель своей жизни полагал в постройке этой именно оттого, что казалось ему: как только церковь окончится, так и он свободен будет от уз земных и скорее всему здешнему конец придет.

Не признавался самому себе Киприан в этих помыслах: пойми он, что земное счастье его не ровно на всей семье держалося, а больше в

дочерях заключалося, он ужаснулся бы такого беззакония… Но так оно было, помимо воли его и сознания. Прежде Киприан никогда не думал радостно о земной кончине, зная, что нужен семье; ныне же часто ловил себя на размышлениях о соединении с умершими и боялся, что вскоре станет в тягость жене и сыну неспособностью своею к труду, к прежней деятельности.

В несколько месяцев ослабел, поник отец Киприан, на десять лет состарился. Через месяц какой-нибудь, на Рождество Христово у службы в соборе, куда не входил он по болезни с самых похорон Веры и Надежды, — прихожане его не узнали.

Но у самой той обедни приключилось дивное диво.

Во время пения Херувимской песни не совладал со своим сердцем Василько. Вспомянулось ему, как певал он эту песнь ангельскую вместе с сестрами, и позабыл он отцовский наказ не петь более в церкви с прихожанами: вознесся мыслью горе и запел… Запел — возносясь к сестрам помыслом, видя их пред духовным взором своим, все земное и себя самого позабыв.

И вдруг как бы трепет какой прошел по всему народу во храме: все смолкли и слушали дивную

песнь в священном изумлении. Откуда она?.. Кто это поет? Где те певцы, которых голоса составляют на земле такой небесный хор, достойный клира ангелов?..

Никто не знал, никто не мог понять! Никто ничего и никого не видел, кроме бледного отрока, певшего за всех.

Василько стоял на коленях против отворенных царских врат в алтаре; затуманенные слезами глаза его были подняты к небу, руки молитвенно сложены крестом, и пел он, вспоминая чудные голоса Надежды и Веры, за них и за себя.

Трепетными руками вознес отец Киприан священную чашу над головой своею и не сдержал, не мог сдержать слез, оросивших лицо его, открывших душу к нисходившей на него благодати. Впервые почувствовал он с собою не мертвую память о дочерях, а их живое благотворное присутствие.

Глава XIII

С той памятной рождественской обедни отец Киприан ожил. Ожил не здравием, а духом — ожил к своим обязанностям, к делу. Воспрянула душой, по милосердию Божию, и Любовь Касимовна. Занялася она снова, как с дочерьми бывало, и хозяйством, и рукоделием — не для себя, так для благостыни неимущим: ткала и пряла для нищей братии.

После водосвятия Крещенского дни стали светлеть да длиннеть, а вскоре по сырной неделе снега начали чернеть, подаваться теплу, сбегать с отдохнувшей земли. В переломе поста прилетели вешние пташки, ветви древесные побурели и вздулись, зазеленели ранние всходы.

С весной начались снова работы по постройке церкви. Стал Киприан ходить да на могилках дочек своих сиживать не только во дни их памяти, но изо дня в день, за работами наблюдая.

Повел он деятельную жизнь, но силами видимо ослабевал: сильно кашлял, и каждый вечер, несмотря на вешнее тепло, его бил озноб, трясла лихоманка.

В Светлую утреню повторился вновь, всему

миру на удивление, хор незримых певцов в лице одного отрока Василько, который пел, ничего не замечая вокруг себя, ни на кого не глядя, но все время видя рядом — не въявь, а в духе — своих умерших сестер. И когда пошел он после того пения с кружкой на сбор для строящейся на погосте церкви, то никому из впереди шедших сборщиков не отсыпали православные так щедро и с такою охотой.

— Как ты делаешь это, дитятко? Как можешь ты один так звонко да голосисто петь? — допытывалась у него мать.

— Не знаю, матушка, право слово, не ведаю! — ответствовал Василько. — В памяти моей — голоса сестер, в душе — радостная любовь, а пред очами — их живые облики, они сами!.. И вот я пою — и они, верно, поют со мною вместе, как прежде певали. Народ дивится, не верит, что живы они в Господе Иисусе Христе. А ведь сказывал я тебе много раз последний их завет, когда прощались они со мною, помнишь? «Кого любовь да молитва соединяют, для тех разлуки быть не может!» Правду они сказывали, матушка!

— Правду, желанный мой, правду! — глубоко вздыхала мать-попадья. — Велики дела Твои, Господи!

Глава XIV

В конце лета поспела постройка «выпетой» отроками, детьми отца Киприана, церкви. В праздник Успения Пречестной Богородицы освятили ее. Стечение народа было огромное. Святолесский воевода и бояре, и все духовенство, и все дьяки и приказные, со своими боярынями, и попадьями, и дьячихами, и приказничихами, съехались из города. Всем хотелося поглядеть на выпетую церковь, из подаянных грошей сложенную, и послушать пения «отрока Божие» Василько.

И пел он, и с ним пели певицы незримые чудными голосами, на дивование всему миру.

Но то было их последнее пение, во славу выпетой ими церкви, и последнее ей и в ней служение отца Киприана. После розговенья, отпостившися и отговевшися напоследок с семьей, благочестивый иерей слег в предсмертной хворости и более не вставал. Недолго пережила его Любовь Касимовна: по осени и ее положили рядом с мужем и дочками, под сенью их трудами воздвигнутого храма.

А Василько?.. Что сталось с осиротевшим отро-

ком? Он сиротой себя не считал! Оставшись на земле один, он видел и чувствовал себя всегда со своими близкими. Никогда не говорил о себе одном. Когда его спрашивали, где он был, что делал, чем жив, Василько с блаженною улыбкой на кротком лице отвечал:

— Мы вот тут живем, возле церкви… Мы ноне на погосте пели, а завтра пойдем в собор. Живы мы, слава Всевышнему, благостью Господа нашего Иисуса Христа.

Когда ему доказывали, что он ошибается, что теперь сестры его уж больше с ним не поют, мальчик только усмехался и возражал, покачивая головой:

— Ой, поют! Да только я один их ноне слышу… Не хотим мы, чтобы все нас слышали.

Святолесцы его прозвали блаженным. Многие над отроком смеялись. Но Василько долго в миру не нажил: ушел в скит к старцу Евфимию. С благословения отшельника вырыл себе келийку возле пещеры схимника и служил ему по самую смерть святого старца, а когда тот скончался, Василько остался один жить в его келье.

И многие годы по смерти Евфимия соседние монахи, дровосеки в лесу, пастухи и перехожие путники слышали на могиле чудное пение. То

«блаженный» Василько вспоминал священные напевы, которые в детстве певал со своими красавицами-сестрами…

Так кончалась переписанная мною старая рукопись.

Князь-рыцарь

Святки!.. Не кажется ли вам, что самое это слово в наше время превратилось в анахронизм? Мне кажется, что оно совершенно утратило свой первобытный смысл и скоро станет нам, россиянам, совсем непонятным термином без всякого внутреннего значения. Разве есть у нас Святки?.. Никаких! Особенно в столице. У нас есть зимние праздники. Время по преимуществу балов, визитов, выродившихся, опошлевших и всем надоевших маскарадов и расходов — преимущественно расходов по мелочам, на извозчиков, на швейцаров. Вот и всё! Даже и в захолустьях нет уже того, что бывало в прежние, сравнительно еще не старые времена. Где наши былые веселые гадания? Где вещие кольца, зерна, кутьи и петухи — предсказатели свадеб? Где веселые переодевания, шумные поездки ряженых из дома в дом, по знакомым? Где былые вторжения в семейные тихие дома со своим перекатным, заразительным весельем, с песнями, музыкой, пляской? Где наши прежние развеселые, широкие, всероссийские Святки?.. Нет их! Нет и не будет уж вечно.

Уж и дети наши не верят рассказам о прежнем задушевном, непритязательном веселье, а внуки его совсем не поймут.

Куда нашей бедной нынешней молодежи — переученной, пересыщенной, отжившей, не успев пожить, — постигнуть бывшее здоровое, самобытное умение веселиться наших отцов и матерей!

Пятьдесят лет тому назад еще бывали Святки по всей Руси. Лет тридцать тому назад еще их знавали по деревням и кое-где в дальних провинциях. Ныне сомневаюсь, чтобы сохранилось такое счастливое захолустье, где девушка в семнадцать лет мечтала бы о святочном гадании, а юноша задумывал повеселиться в ватаге ряженых товарищей.

Я помню много веселых Святок в моей молодости; помню еще старые, деревенские Святки, с медведем и козой, с гудочниками и ворожеей-цыганкой, с бешеной ездой на тройках по снежным сугробам под аккомпанемент колокольцев, бубенчиков, гармоний, балалаек, а подчас и выстрелов ружейных, и встречу с преследовавшими наш поезд из лесу волками, десятками их прыгавших, светившихся ярко глаз.

То были Святки!.. Настоящие разгульные, рус-

ские Святки, где каждый дом, каждая семья, каждое сословие принимали участие. Где господа не гнушались своей прадедовской прислуги, переряженной в тулупы навыворот, в бороды из пакли, горбы из подушек, с лицами, вымазанными пробкой и сажей; где прислуга принимала радостное участие в затеях молодых господ, в успехе их переодеваний, в полночных их гаданиях. Где, наконец, находилось время и место и кадрили, и польке, и мазурке в светлой зале, под звуки фортепиано, а не то и настоящего оркестра; залихватской камаринской с трепаком, мистификациям ряженых вторжений и вопрошениям судьбы с призывами пред зеркалами в темных банях суженых на полночные угощения.

Не знавали мы в те не мудрствовавшие лукаво времена ни гипнотизмов, ни передачи мыслей, ни явлений спиритизма, ни предсказаний медиумов, ни чтения судьбы в «астральном свете»; никаких проявлений наших нынешних, многоиспытанных, без меры теребимых чудесами времен. Но бывали и тогда, как и во все века веков, необыкновенные, загадочные происшествия…

Один такой весьма странный случай произошел именно в разгар святочного веселья лет пятьдесят тому назад.

В одной из губерний средней полосы России, под самым губернским городом, находилось богатое имение Белокольцево помещиков того же прозвища. В ту пору семья была большая, молодежи в ней, особенно барышень, водилось много, и все прехорошенькие. Только старшая была уже замужем за местным начальником губернии. Это обстоятельство прибавляло много значения семье — хотя немного, по-видимому, доставляло счастья самой виновнице этого общественного отличия. Варвара Сергеевна, урожденная Белокольцева, была скромна и непритязательна и особой сласти в титуле «превосходительства» и в том, что жандармы ей в соборе и прочих народных сборищах дорогу очищают, не видела. Близкие, да пожалуй что и все в городе знали, что был у нее в девицах роман с одним молодым человеком, забракованным ее матушкой по бедности и нечиновности, и все жалели молоденькую губернаторшу. Надо сказать правду, что муж ее тут был ни при чем. Он был добрый человек, весьма представительный, очень любил свою хорошенькую супругу и, женившись вскорости по приезде на место, даже не знал, вероятно, ее горя.

Знакомые Белокольцевых поговаривали, что и еще затевает Аполлинария Антоновна свадьбу:

среднюю дочь свою, Сашеньку, прочит за председателя палаты Щегорина; но уж такой брак всему городу на соблазн был и на осуждение: Щегорин, уродливый, тучный шестидесятилетний селадон, уморил двух жен и к тому же имел всем заведомо большую семью с левой руки, где сыновья уж сами были женаты. Но богатство его очень прельщало старуху Белокольцеву! Жадна была до денег и честолюбива чрез меру: все ей хотелось из дочек своих сановниц делать и богачек.

Кроме своих детей в доме Белокольцевых жила родственница, Марья Леонидовна Карницына, когда-то женщина богатая, но разоренная неудачными спекуляциями мужа; покойный генерал Белокольцев приютил всю семью своего родственника и друга, с которым водил не только хлеб-соль во времена его благосостояния, но и большие дела. Ходили слухи, что Белокольцевы недаром дали кров вдове и двоим детям Карницына — Леониду, или Леде, и Наташе; что по старым счетам генерал оставался много должен родственнику, и все были, вместе с Марьей Леонидовной, уверены, что в завещании генерала их не забудут: так как Белокольцев разбогател уже после смерти Карницына, то легко мог уплатить вдове долг, недоплаченный ее покойному

супругу.

Белокольцев сам не скрывал, что имеет такое намерение, но никакого распоряжения по этому вопросу не сделал, а потому, хоть и несладким по смерти его стало житье вдовы в чужом доме, она терпела ради детей. Дочь ее училась вместе с меньшими Белокольцевыми, когда отец их скончался, а сын только что поступил в университет и теперь был уже на последнем курсе.

Жил еще с ними в деревне один юноша, родной племянник покойного генерала Сергея Фомича, Юрий Петрович Белокольцев, или Юша, как его все называли не столько по юности, как по немощи его: он совсем был юродивый. Не то чтобы сумасшедший — он все понимал и всех знал, но как знают все и всех пятилетние дети, не более. Тихий, услужливый, молчаливый, Юша никому не мешал, и к нему относились жалостливо, как к больному, хотя, в сущности, он был рослый, здоровый парень лет двадцати пяти.

Несмотря на житье в деревне, Белокольцевы вели очень рассеянную, шумную жизнь. Несколько верст расстояния препятствием к участию во всех городских увеселениях служить не могли; сами же они то и дело сзывали весь город на свои деревенские пиры, обставленные в ту пору всеми

удобствами и всей доморощенной роскошью и хлебосольством богатого барства на основах непоколебимого крепостничества. Аполлинария Антоновна, хотя была бой-баба, суровая в отношениях к семье и к прислуге, но любила веселую, гостеприимную жизнь; была прекрасная хозяйка и с обществом, уже не говоря про власти, всегда умела прекрасно ладить.

Наоборот всему русскому царству, Белокольцевы зиму почти всегда жили в имении; лето же проводили в поездках за границу. Время между ноябрем и февралем проходило как в чаду, переполненное танцами, домашними спектаклями и всякими увеселениями. Святки еще приносили с собой катания, костюмированные балы с русской и всякой пляской; гадания гуртом, со святочным пением сенных девушек, с кутьей и восколитием; простые маскарады ряженых с плебейскими вторжениями в барские покои деревенского и дворового элемента почти так же невозбранно, как и соседей-помещиков.

Эти последние увеселения часто выходили самыми веселыми именно потому, что в силу святочного закона о сохранении личностей ряженых в тайне вносили новый интерес, принимавший порой занимательный характер загадочности.

Сама Аполлинария Антоновна любила рассказывать, что ровно в такой ряженой ватаге ей самой в молодости были предсказаны и свадьба ее, и многие семейные обстоятельства.

Но как раз вследствие загадочного происшествия, случившегося в семье в этот последний год, о котором идет мой рассказ, такие святочные забавы навсегда были из нее изгнаны.

Было это 27 декабря. Дом в Белокольцеве ломился от гостей. Кроме общего праздника наступили день рождения и вместе именины двух меньших сыновей Белокольцевых, близнецов Феди и Стени, то есть Степана. По случаю такого тройного празднества этот день сначала считался преимущественно детским праздником; обыкновенно на третий день Рождества в семье бывала елка, но с годами, понятно, отличие это утратилось. Нынче героям дня стукнуло по шестнадцати лет. Елку давно бы отменили, если бы не привязанность и привычка к ней всей молодежи, включая и ее двадцатитрехлетнее превосходительство.

— Все равно надо как-нибудь проводить Святки! Надо одаривать молодежь, прислугу, своих и чужих детей на праздник. Так уж пусть в этот день будут по-старому и елки, и ряженые, и, как всегда, дым коромыслом! — решила генеральша

Белокольцева.

И созвала, кроме своих, еще человек до ста гостей, из которых многие, издалека прибывшие с чадами и домочадцами, должны были и заночевать в ее прадедовских деревенских палатах.

День прошел еще шумнее, чем прочие. Какие бы кошки у кого на сердцах ни скребли, с виду все были довольны и веселы.

А что скребли у многих на сердцах лютые кошки, в том не могло быть и сомнения. Немало в этом доме под сурдинку разыгрывалось драм и печалей.

Начать с семьи Карницыных. Как ни работала, часто спины не разгибая, бедная Марья Леонидовна, но с великим трудом концы с концами сводила, живя даже на всем готовом. А уж как ей это готовое теперь жутко приходилось при самовластном, чванном и не совсем-то справедливом нраве хозяйки дома — и говорить нечего! Ну да уж что было делать? Терпела она, порой лишь ночью подушке поверяя свои сиротские печали… Об одном мечтала: только бы сын ее Ледя на ноги стал, только бы ему курс благополучно кончить да на службу пристроиться. Всего лишала себя, чтобы его содержать, и не плакалась бы, если бы не дочка ее, шестнадцатилетняя Маня, которую

матери зачастую до слез бывало жалко. Дело в том, что, живя в богатом доме на правах барышни, во всем равной «дочерям дома», хорошенькой девочке, понятно, хотелось не отставать от подруг ни в выездах, ни в туалетах, а где ж было матери набраться средств одевать ее наравне с богатыми девушками?

В детстве Маня ничего не замечала, да к тому же при жизни Белокольцева и заметить нельзя было большой разницы, потому что генерал постоянно жене напоминал и сам заботился о своих крестниках Мане и Леде, старшем брате ее. Тогда всем им жилось лучше. Теперь было не то!.. С годами возрастали потребности и желания, а позаботиться об их удовлетворении было некому: Аполлинария Антоновна часто о них забывала, а уж напомнить ей — не приведи Бог! Карницына скорее бы проглотила язык, чем заставить его попросить у барыни что-либо для себя или детей.

— Не видит, не хочет, не сознает своей обязанности хоть малым вознаградить нас за потерю всего состояния, за неисполнение воли своего покойного мужа — ну и бог ей судья. Унижаться пред ней мы не будем! — решила Марья Леонидовна.

Тем не менее горько ей бывало за дочку, а самой

девочке и того хуже. Не раз глаза себе наплакивала бедняжка, отказываясь от веселых поездок в город, от вечеров и танцев, потому что не во что было одеться. Вот и к праздникам всем шили обновки: Сашеньке, Наташе, даже десятилетней Соне Белокольцевым по три, по четыре нарядных платья, а ей мать едва одно собралась сшить, шерстяное серенькое, и приходилось одним нарядом все праздники пробавляться дома — куда же тут о гостях думать!..

Заикнулась было Наташа матери, что «бедной Манечке надо было бы нарядное платье сшить», что лучше бы мать ей так много не шила, а позаботилась о Мане, — но так ей за это досталось, чтобы не в свое дело не мешалась, что Наташа сама целый день проплакала. У семнадцатилетней Наташи и свое было горе, как у старших сестер. Положим, мать не собиралась ее еще, как Сашеньку, замуж «за старого урода выдавать», но попались генеральше письма Наташины, из которых узнала Аполлинария Антоновна, что третья дочка ее «с ума спятила»: вообразила, будто влюблена в Леонида Карницына и собирается замуж выходить «за голь перекатную». Ну и досталось же Наташе!

Так крепко досталось, что мать успокоилась:

вообразила, в свою очередь, что достаточно напугала «глупую девчонку» и та о замужестве и думать забыла. Да только нет: хитрая и настойчивая девочка была Наташа Белокольцева. Поплакать-то она поплакала, но студенту Карницыну и даже матери его тут же заявила:

— Мы оба молоды, можем подождать. Леде будет через четыре года всего двадцать пять лет, а мне совершеннолетие минет. Тогда я сама себе госпожа: за кого хочу — за того и выйду!..

— Полно, девочка, вздор городить, — возразила ей печально Марья Леонидовна. — Куда тебе с матерью бороться? Да и по правде, чем вы жить с Ледей станете? Не к той жизни ты привыкла, чтобы быть женой бедного чиновника.

— Мы и не будем совсем бедны: у нас у каждой по сто тысяч приданого. Разве этого мало? Я, как совершеннолетняя, потребую выдела, и всё тут! — резонно решила Наташа.

Но от слов за спиной матери до настойчивой, в продолжении нескольких лет борьбы с ней далеко! Мать и сын это хорошо понимали. Потому-то Леонид Алексеевич и ходил в этот свой приезд на праздники к матери как в воду опущенный, молчаливый и сумрачный. Не будь ее, Наташи, в Белокольцеве, студент ни за что не оставался

бы в деревне и дня. Но ради ее присутствия сдерживался и старался даже сохранить наружную веселость, принимая участие во всех домашних затеях и увеселениях Аполлинарии Антоновны.

И вот 27 декабря громадная елка горела в столовой, вкруг нее готовился ужин; в другой зале танцевали домочадцы и гости, вполовину ряженые; то и дело наезжали новые партии замаскированных. Огромный орган, рояль и доморощенный струнный оркестр, еще существовавший в старом барском гнезде, чередовались непрерывно. В гостиных сидели почетные приглашенные, старики и старушки; губернатор, начальник местных войск, председатели разных палат и прочие сановники играли в бостон во внутренних комнатах, подальше от шума. Один Щегорин не садился играть, предпочитая любоваться молодежью; он страшно надоедал ей, злил бедную Сашеньку, а от других, особливо от бойкой Наташи, терпел всякие насмешки, стараясь их не замечать и приятно улыбаться. Женихом он еще не был объявлен, но все к тому шло, невзирая на слезные протесты намеченной им невесты. Еще в это самое утро Сашеньке крепко досталось за то, что она швырнула в форточку букет, присланный из оранжереи старого селадона.

В самый разгар пляса доложили, что приехало еще трое саней с ряжеными. Музыкантам приказано было заиграть марш, двери в переднюю широко отворились, все высыпали встречать вновь прибывших, и они, пара за парой, вошли в залу.

Несмотря на маски и костюмы, все эти турки, бояре, цыгане и паяцы, разумеется, очень скоро были признаны за добрых, хоть и не очень близких знакомых, за городскую молодежь; двоих только, вместе вошедших, никто не признал: капуцина в коричневом капюшоне с бородой и четками и красивого осанкой маркиза, напудренного и в такой чудно́й маске, что она казалась открытым лицом. Все так и решили, что это живое, слегка подкрашенное лицо, только дивились глазам: они были блестящи и глубоки, но как-то жутко неподвижны; словно смотрели, не видя, или были сосредоточены на какой-либо упорной мысли, не замечая ничего внешнего…

Никто положительно не знал этого горделивого, бесстрастного с виду и недоступного красавца, костюмированного франтом времен Екатерины II. Решили, что это какой-нибудь проезжий, увлеченный знакомыми в веселую святочную поездку. Вначале на маркиза обратилось общее

внимание, но он так упорно молчал, был так странно, не по времени и не по месту холоден и неподвижен, что всем вблизи от него становилось жутко до страха, и все перестали с ним заговаривать.

Зато товарищ его, капуцин, очень скоро привлек всеобщее внимание. Он выказывал замечательное знание способностей, тайн, даже помыслов всех его окружавших. Он сделал несколько удачных замечаний и два-три предсказания присутствовавшим, до того метких, что громкие возгласы слышавших их привлекли целую толпу. Многие бросили танцы и ходили, заинтересованные странными незнакомцами, из комнаты в комнату вслед за ними, слушая их, делая предположения, стараясь узнать капуцина по голосу — но и голос его положительно был незнаком никому.

Оба оказывались совершенно никому неизвестными.

Тем лучше!.. Молодежь была в восторге. Слушала, дивясь, капуцина, любовалась молчаливым маркизом и наконец увлекла их из пределов молодого царства в покои, где находились пожилые гости.

Подростки, свои и чужие, бежали впереди и,

как водится, шумели больше всех. Соня Белокольцева, завидев мать, беседовавшую с сановными гостями, не игравшими в карты, закричала ей издали:

— Мамочка! Мамочка!.. Послушайте монаха! Какой у нас интересный монах!.. Такой умный, всё знает.

— Мне сказал, что я буду моряком, как дядя! — кричал Стеня.

— А мне предсказал, что я могу быть хорошим живописцем, если не стану лениться! Сам узнал, что я рисовать люблю, — передал Федя.

— А Наташе сказал: будьте тверды! Не изменяйте тому, кого любите, и будете счастливы! — перебила меньшая сестра.

Аполлинария Антоновна сдвинула брови.

— Не очень же мудр ваш монах, чтобы такие советы детям подавать.

— А что ж, — отозвалась Наташа, задетая за живое, — он и Сашеньке добрый совет дал: «Будьте самостоятельнее! Пожалейте себя, если другие вас не жалеют…» Отлично сказал!

— Он еще Саше предсказал, что она в будущем году выйдет замуж за кого-то незнакомого теперь, — прибавила Соня.

И все наперебой начали докладывать другие

речи мудрого капуцина, отнюдь не нравившиеся хозяйке дома.

Она посмотрела украдкой на Щегорина, который щурился на молодежь и расточал приторные улыбки, будто ничего неприятного не слыхал, и перевела сердитый взор на приближавшихся капуцина и маркиза. Но вдруг глаза генеральши встретились со взглядом последнего, и она вздрогнула. Холод мурашками прошел по спине ее. Аполлинария Антоновна сама не знала, что именно поразило ее в этом взгляде, в этом будто бы знакомом неподвижном лице, но с нею что-то положительно творилось особое. Совсем непривычная растерянность, даже робость овладели ею. Она не знала, что сказать, куда деваться от этих глаз.

— Прекрасные костюмы! Очень интересные маски! — проговорил Щегорин одобрительно, но в ту же секунду осекся и умолк, как обожженный.

Капуцин очень ласково ему заметил:

— Зачем ты здесь скучаешь, старичок? Сидел бы лучше да поминал старину со своими сверстниками, дедушками да бабушками. — И, покачав укоризненно головой, в общем неловком молчании, наступившем после взрыва худо

сдержанного смеха между молодежью, прибавил, изменив ласковый голос на суровый: — Стыдись, старик! Чего кичишься богатством, да еще не своим? Двух жен уморил, теперь третью хочешь взять, чтобы в гроб уложить? Сам бы лучше о часе смертном помыслил, о душе своей подумал! Когда опомнишься? Когда перестанешь родного сына обирать, пользоваться его добротой? За его уважение сыновнее, тобой не заслуженное, ты его разоряешь, его материнским богатством пыль глупым людям в глаза пускаешь, корыстных баб обманываешь?.. Еще раз: стыдись! И спеши покаяться. Тебе под семьдесят, смерть не за горами.

Трудно передать впечатление от этого сурового наставления. Смех замер; даже на лицах молодежи было недоумение. У Щегорина лицо позеленело, а нижняя челюсть затряслась в его напрасных попытках засмеяться или что-нибудь ответить. Велико было общее поражение, но сильнее всего преобладало в обществе удивление необъяснимому молчанию хозяйки дома, позволившей так оскорбить в своем доме избранного ею жениха своей дочери. Все смотрели на Аполлинарию Антоновну в недоумении, а то и в страхе, ожидая, что будет.

А Белокольцева стояла неподвижно и молча,

будто под влиянием наваждения, так что ее можно было принять за окаменелую, если бы не глаза ее, беспокойно бегавшие во все стороны, чтобы не встречаться с устремленным на нее пристальным взором молчаливого спутника словоохотливого капуцина…

Вдруг последний обернулся, ища кого-то глазами в толпе, их окружавшей, и поманил Леонида Карницына издалека. Тот подошел, смущенный.

— Вот хороший молодой человек, — сказал капуцин и положил руку на плечо студента. — Трудолюбивый, честный… Прекрасный жених для любой девушки! Тем более что ведь он только теперь несостоятелен, а скоро, очень скоро получит наследие своего отца… — Капуцин перевел взгляд на заметно побледневшую хозяйку дома и с особенным значением договорил: — Он сам не знает, да вероятно, не знаете и вы, что в той письменной шкатулке, которую покойный Сергей Фомич Белокольцев передал его матери перед смертью, заключается часть достояния, потерянного отцом юноши. Да-да, молодой человек, поищите в ней! Скажите матушке, осмотрите сегодня же с нею шкатулку — и в ней, в потайном ящике, найдете свое благосостояние.

— О господи!.. Да что ж это? Неужели вправду?!

Все повернулись по направлению, откуда раздался этот возглас. Там Марья Леонидовна, схватившись рукою за стул, чтобы не упасть, другою закрыла глаза, ослепленные мгновенной надеждой.

Вмиг Наташа уже стояла рядом, обнимая ее и шепча:

— Пойдем! Пойдем, голубушка, скорее посмотрим… Откуда ж знать ему, что папа дал Леониду шкатулку? Если монах это знает, то и всё знает!

А между тем капуцин, склонившись к уху Аполлинарии Антоновны, прошептал ей внушительно:

— Письмо имело дубликат, а при нем вексель. Пора, пора покаяться!.. Помни и ты час смертный.

Кто стоял близко, те слышали эти странные слова и ужаснулись перемене лица Белокольцевой. Ни одного слова не возразила она капуцину, а только, вся помертвев, опустилась на стул и закрыла лицо руками, поникнув головой.

Все внутренне разволновались ужасно, но вместе с тем какой-то необъяснимый гнет лежал на всех. Будто чье-то холодное веяние оледенило общество; даже дети и молодежь присмирели, в недоумении глядя на странную пару ряженых.

Молчавший все время высокий красавец с окаменелым лицом наконец отвел глаза от хозяйки дома, медленно повернулся и пошел, увлекая за собой и капуцина. Большинство последовало за ними, а с оставшихся возле генеральши будто разом снялось онемение. Гости заговорили: «Кто такие? Что за странные, дерзкие люди? И откуда набрались они смелости смутить все общество, напугать дорогую Аполлинарию Антоновну какими-то глупыми речами!.. Надо узнать! Надо просто заставить этого капуцина снять маску, потребовать от него объяснения, извинений!..»

Пока вокруг еще не пришедшей в себя Белокольцевой суетились почетные гости, на другом конце залы раздались крики, суета еще большая, и все туда бросились, не исключая самой генеральши, дрожащей и бледной. Там, среди расступившейся в страхе детворы и молодежи, распростерся на полу капуцин, покинутый своим товарищем. Что случилось? Почему ему сделалось дурно? Куда девался маркиз?.. Никто ничего не понимал и рассказать не мог, хотя все говорили разом.

Загадочные незнакомцы шли вместе, потом маркиз оставил капуцина, которого со всех сторон задерживали расспросами, и один зашагал

вперед. Но только что толпа их разделила и маркиз вышел — кажется, вышел, — куда? кажется, в переднюю… Одним словом, едва его не стало рядом с монахом, тот зашатался и, прежде чем успели его подхватить, упал на пол, очевидно без чувств.

— Так скорее же сымите с него маску! Дайте воды! — наконец нашлись некоторые. — Воды!.. Одеколону!.. Спирту, скорее!

«Ага! Вот теперь-то мы узнаем, кто этот штукарь!» — в то же время радовались многие, бросаясь разоблачать интересного всезнайку, красноречивого обличителя и оракула.

Впереди всех была Аполлинария Антоновна. Робости теперь в ней не было и следа! Она пригнулась к бедному, беспомощно лежавшему капуцину, своими руками отбросила с головы его капюшон, сорвала седую бороду, сдернула маску… и отступила вместе с другими, не веря своим глазам.

Перед ней было бледное кроткое лицо Юрия Белокольцева, ее безобидного идиота-племянника.

— Юша!.. Юша Белокольцев?.. — раздались со всех сторон изумленные и разочарованные возгласы. — Вот уж не ожидали!

— Да откуда же набрался он смелости? Откуда

вдруг заговорил так уверенно? Откуда знал?..

— Юрий?! Может ли быть?.. Да ведь он говорил совсем другим, не своим голосом! Что ж это за чудо?

«Что за чудо? Именно!.. Откуда юродивый мог узнать о письме? И… и неужели он сказал правду о шкатулке мужа?! — размышляла, стоя над бесчувственным юношей, генеральша и вдруг вздрогнула, вспомнив: — А где же второй?!. Куда тот девался?!»

«Того» не было нигде. Как ни искали маркиза, как ни расспрашивали о нем людей, кучеров, никто не видал никакого ряженого, никто о нем ничего не знал…

Маркиза словно не бывало, словно он растаял или испарился.

«Капуцина» между тем отпаивали, наливали ему на голову разные уксусы и привели наконец в себя. Первым делом его было, вернувшись к сознанию, сесть и окинуть всех недоумелым взглядом.

— Как же это я здесь заснул?.. — спросил он, болезненно глупо улыбаясь. — Я ведь лег там, у себя, наверху. Кто же это меня сюда прив… положил?

Юша встал, осмотрел себя с удивлением и, видимо, ничего не понял: ни в своем наряде, ни

в том, что лежал на полу в зале, полной гостей. Сколько его ни расспрашивали, он ничего не мог сказать, ничего не помнил, кроме одного: когда в его комнатку под крышей прибежали мальчики со своими гостями, принесли вороха разных костюмов и стали переодеваться, объяснив Юше, что нарочно, по секрету, забрались к нему, чтобы никто не знал об их маскараде, он видел эту «монашескую ряску» и подумал, что нарядится в нее после, если никто другой ее не возьмет…

— Ну а после что было? — приставали к нему.

— После?.. После мальчики ушли, а я… я на постели лежал… и, кажется, уснул…

— А как же ты здесь-то очутился? Зачем говорил разные разности нам всем и маме? — допрашивали дети.

— Вашей маме? Моей тетушке?! — очевидно испугался юродивый. — Не знаю!.. Я ничего, право, ничего не говорил!

Больше от красноречивого «капуцина» толку не добились.

Генеральша Белокольцева первая отошла от него, полная тяжких забот. Те глаза ее преследовали… Она знала их. Знала все лицо и всего обладателя той загадочной маски!.. Она все больше в том убеждалась, и убеждение это леденило

сердце: исчезнувшая бесследно маска была олицетворением князя Однорукова — князя-рыцаря, как был прозван в преданиях их семьи рано умерший красавец, отец ее отца. В таком придворном костюме конца XVIII века он был изображен на полотне, и ныне висящем в галерее их семейных портретов в родовом имении ее родичей, князей Одноруких. Аполлинария Антоновна с детства боялась этих спокойных, гордых, холодных как сталь глаз деда-красавца — деда, недаром оставившего по себе память «в чести непреклонного князя-рыцаря»... Так говаривали ей в детстве все родные и ее отец, пристыжая и убеждая, что нечего бояться прямого, пристально в душу глядевшего даже с портрета взора предка.

И вот теперь, в старости, она увидела тот взор наяву!

«Это он! Он подучил этого нищего духом блаженного Юшу! Он упрекал меня и приказывал каяться!»

Об этом всю ночь пробредила и промучилась Аполлинария Антоновна Белокольцева. Наутро она встала, словно на десять лет состарившись, и, сама никому не сказавшись, направилась в комнату Карницыных. Одного взгляда на Марью Леонидовну, детей ее и на счастливое лицо

генеральской дочки Наташи было достаточно, чтобы убедиться в истине открытого им вчера: покойный муж Белокольцевой, скончавшись внезапно, не успел составить духовной грамоты, но успел передать свою шкатулку в подарок сыну друга и партнера в делах. Карницыны сочли это просто подарком на память: умерший не имел сил им сказать, что писал отсутствовавшей жене о своем долге перед ними; что в шкатулке есть потайной ящик, а в ящике — вексель на 50 тысяч и дубликат письма генерала…

Капуцин сказал святую истину. Он избавил Карницыных от нужды, а Белокольцеву спас от тяжких грехов. В том же году обе дочери ее вышли замуж: Наташа за Леонида, а Сашенька за Щегорина же, да только за молодого — не за селадона-отца, а за его богатого сына.

Завещание. Святочный рассказ

Глава I

Это странное дело случилось не так давно, но мало кто знал о нем, и по невозможности дать рациональное объяснение фактам те, кто знал, предпочли предать происшествие забвению. Но мне сдается, что именно такие-то неразгаданные случаи и не следовало бы забывать.

Дело было зимою, перед самыми Святками. Иван Феодорович Лобниченко, нотариус, которого контора находится на одной из главных улиц Петербурга, был спешно призван к смертельно больному для засвидетельствования духовного завещания.

Больной, собственно, не был клиентом Ивана Феодоровича; в других обстоятельствах тот, пожалуй, и отказался бы от позднего визита после утомительного рабочего дня… Но умирающий был сановник и миллионер, а таковым ни в жизни, ни тем более в смертные часы отказов не полагается.

Лобниченко, захватив писца и все нужное, со вздохом почесал за ухом и, отложив мечты о прелестях ожидавшей его партии в винт, отправился к больному.

Генерал Юрий Павлович Дрейтгорн был плох. Самые милосердные врачи не давали ему и нескольких дней жизни, когда он окончательно решился уничтожить завещание, давно им составленное не здесь, а в том губернском городе, где он царил многие годы.

Генерал приехал в столицу на время, а слег, вероятно, навсегда.

Таково было мнение докторов и большинства его окружающих; сам же больной не хотел признавать приговора. Это был сильный духом, а некогда и телом высокий, бравый старик с энергичным лицом и глубоким властным взглядом, которые, хотя бы раз увидав, забыть было трудно.

Он лежал на диване в роскошной по-гостиничному квартире, составленной из трех лучших номеров меблированных комнат. Старик встретил нотариуса довольно бодро. Сам рассказал ему, в чем дело, хотя порою останавливался от приступов боли и с трудом перемогал стон, готовый вырваться, несмотря на все усилия. В эти тяжелые минуты Иван Феодорович поднимал на Дрейтгорна заплывшие жиром глазки, и вся его маленькая фигурка сочувственно корчилась, невольно симпатизируя страдальцу. Как только

этот мужественный, на жизнь и смерть бившийся со страданием человек пересиливал приступ, убирал руку от лица, искаженного болью, тяжело переводил дух и принимался снова объяснять свою волю, Лобниченко опускал глаза и весь превращался в слух и внимание.

Генерал обстоятельно изложил нотариусу обстоятельства. Он был женат два раза, имел троих детей: сына и дочь от первого брака, давно совершеннолетних, и девятилетнюю дочь от второй жены. Он ждал двух последних каждый день: они были за границей, но собирались теперь скоро быть здесь. Вероятно, приедет и старшая дочь.

Нотариус не знал семьи Дрейтгорна, он и его видел впервые, хотя, как все в России, знал его по репутации. Но по тону, сдержанно-презрительному или жалостливому, когда Юрий Павлович говорил о второй жене своей и младшей дочери, Лобниченко сразу догадался, что генерал в семейной жизни не совсем счастлив. Дальнейшие слова больного его в том удостоверили. Нужно было составить новое завещание, совершенно противное первому, написанному шесть лет тому назад и дававшему последней супруге, Ольге Всеславовне Дрейтгорн, неограниченные права над их малолетней дочерью и всем наслед-

ством мужа. В том первом завещании генерал почти целиком — за исключением родового имения, которое считал себя не вправе отнять у сына, — завещал все благоприобретенное жене и младшей дочери. Теперь же желал восстановить забытые им права старших детей, в особенности дочери своей, Анны Юрьевны Борисовой, о коей в первом документе и речи не было.

Ныне, кроме седьмой, вдовьей части недвижимого состояния, Дрейтгорн все свои земли и капиталы делил между детьми своими поровну; а над имуществом малолетней Ольги Юрьевны назначил самую строгую опеку.

Завещание было составлено, записано, засвидетельствовано как следует подписью троих наблюдателей и, по желанию генерала, оставлено у него.

— Я вам его вскоре отошлю, — сказал нотариусу Юрий Павлович. — У вас оно будет сохраннее, чем здесь, в моем временном помещении. Но прежде я желаю прочесть документ жене и… и старшей дочери, если она успеет приехать.

Нотариус и священник, бывший одним из свидетелей, собирались уж раскланяться, когда в коридоре раздались голоса и шаги; в дверях показалась голова камердинера, поспешно

вызывавшего домашнего доктора: приехала, оказывается, не предупредив никого телеграммой, барыня-генеральша.

Доктор поспешил выскользнуть из комнаты больного: он боялся для него волнения, да и надо было предупредить жену его об опасности положения. Но старик заметил суету; его трудно было уберечь от жизненных тревог.

— Что там случилось? — спросил он. — Что вы мямлите, Эдуард Викентьевич? Говорите, в чем дело. Не дочь ли?..

— Ваше превосходительство, прошу вас, поберегите себя, — начал было доктор, как видно хорошо знакомый с домашними обстоятельствами генерала, а потому боявшийся встречи супругов. — Это еще не Анна Юрьевна…

— Ага, — оборвал его больной, — приехала… Ну что ж! Пусть идет сюда. Только… только маленькой дочери я бы не хотел сегодня…

В глазах его выразилось страдание, на сей раз не физическое.

Дверь отворилась, о нее засвистело шелковое платье… Высокая, полная, очень красивая женщина показалась на пороге и, взглянув на изможденное лицо, презрительно усмехавшееся ей навстречу, в одну секунду очутилась на коле-

нях возле генерала, у ног его на ковре, и, припав к постели, заломила руки, отчаянным шепотом повторяя:

— Oh, Georges! Georges! Est-ce bien toi, mon pauvre ami?.. [24]

Трудно было бы определить разнообразные, быстро сменявшиеся на лице больного оттенки чувств, вздымавших грудь его и заставлявших богатырское сердце метаться и трепетать до боли. Негодование и жалость, сострадание и презрение, гнев и печаль — все вылилось в озлобленном, коротком и резком смехе и в словах, которые вырвались у Юрия Павловича при виде девочки, его дочери, несмело вступившей вслед за матерью в комнату:

— Не учите лгать!

Больной глянул на дочку и со страдальческой гримасой отвернулся к стене.

Нотариус и священник поспешили откланяться и удалиться.

— Ах, грехи, грехи наши тяжкие! — шептал последний, сходя с лестницы.

— А что, — спросил Лобниченко, — нелады, видно, между супругами?

---

[24] Сноски: 24
О, Жорж! Жорж! Это ты, мой бедный друг?.. (*фр.*)

— Уж какие лады, когда сюда приехал развода искать! — пробормотал батюшка, нахлобучивая меховую шапку. — Да вот Бог иначе рассудил: и без развода навеки разъединятся в сей жизни!

— А мне сдается, не так он безнадежен… Сложение богатырское, авось и вытянет, — предположил законник.

— Во всем — Бог! — пожал плечами батюшка.

И они разошлись.

Глава II

— Оля! — позвал, не поворачиваясь, больной и, почувствовав возле себя поспешное движение жены, устранил ее нетерпеливым движением руки и прибавил: — Не вы! Дочь.

— Olga! Подойдите, дитя мое, папá вас зовет. Поспешите! — нежным голосом по-французски обратилась генеральша к девочке, растерянно стоявшей среди комнаты.

— Нельзя ли оставить иностранные фразы! — сердито прикрикнул генерал. — Здесь не салон. Можно бы хоть из приличия!..

Голос его сорвался на визгливой нотке и заставил девочку вздрогнуть и заплакать. Потом она несмело подошла.

Отец поглядел на нее тоскливо.

Взял ручонку дочери левой рукой, а правую поднял, чтобы благословить.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — шептал Дрейтгорн, отчетливо крестя малышку большим крестом. — Господь храни тебя… от зла, от всего дурного. Будь доброй, честной… Главное: честной! Никогда не лги! Боже сохрани тебя от неправды, пуще чем от всякого горя…

Слезы заволокли глаза умиравшего. Маленькая Оля дрожала всем телом; она боялась отца и вместе с тем очень его жалела. Но жалость превозмогла, и девочка припала к отцу, обливаясь слезами. Тот поднял руку, хотел перекрестить еще раз голову девочки, лежавшую у него на груди, но не смог докончить креста. Рука его тяжело упала, лицо вновь исказилось страданием; он повел глазами на окружающих, очевидно избегая встретиться взглядом с женой, и прошептал:

— Уведите!.. Не надо. Христос с ней!

И на мгновение еще нашел силы положить руку на головку дочери.

Доктор взял девочку за руку, но мать быстро к ней склонилась.

— Baisez donc la… Поцелуй же руку папá! — спохватилась она. — Простись с ним…

Генеральша захлебнулась рыданием и закрыла лицо платком величественным жестом театральной королевы. Больной не видел этого: при звуке голоса жены он сдвинул брови и крепко зажмурил глаза, стараясь не слушать. Доктор увел девочку в другую комнату и сдал на руки гувернантке.

Когда он вернулся к больному, тот, лежа на диване все в той же позе, не глядя на стоявшую у

изголовья жену, говорил ей:

— Я жду свою бедную, из-за вас обиженную Анюту… Я у нее просил прощения и умолял стать матерью своей сестре… Ее я назначаю опекуншей Оленьке. Она хорошая, честная, злу не научит… Да и вам так лучше! Вы обеспечены; узнаете из новой духовной грамоты. Выгод от опекунства по ней вы иметь не могли бы. Если Анна не захочет взять Олю к себе и воспитывать со своими детьми, как я ее прошу, девочка будет отдана в институт. Вам свобода милее и нужнее дочери, не правда ли?..

Презрение и горькая насмешка звучали в его голосе.

Жена не возразила ни полусловом. По ее неподвижности можно было подумать, что она не слышит мужа, если бы ее не выдавало судорожное подергивание рта и пальцев крепко сжатых рук.

Домовый доктор хотел было снова скромно удалиться, но его остановил призыв генерала:

— Эдуард Викентьевич!.. Здесь он?

— Здесь, ваше превосходительство. — Врач нагнулся к больному: — Не угодно ли вашему превосходительству перейти на кровать? Лежа, право, будет легче…

— Умирать? — резко прервал генерал. — Что чушь порешь?.. Знаешь ведь, что терпеть не могу кровати, одеял. Отстань!.. На-ко вот, возьми, — больной подал ему сложенный вчетверо лист гербовой бумаги, лежавший рядом с ним, — прочти, пожалуйста. Громко!.. Чтобы знала. — Юрий Павлович повел глазами на жену.

Неохотно взялся доктор за исполнение неприятного поручения. Он был человек деликатный, и хоть генеральша не стояла во мнении его особенно высоко, но все же была женщина, и женщина прекрасная… Он предпочел бы, чтобы она от другого узнала, как много житейских благ отходит от нее в силу нового завещания генерала. Но делать было нечего: прекословить Юрию Павловичу всегда было трудно, а теперь же совершенно невозможно.

Ольга Всеславовна прослушала чтение духовной в совершенном спокойствии. Неподвижно сидела она, опрокинувшись в кресле, опустив глаза и лишь выказывая волнение в те минуты, когда муж ее не в силах был сдержать стона. Тогда жена поворачивала к нему свое бледное красивое лицо с явными признаками сердечного соболезнования и даже порывалась оказывать ему помощь. Больной нетерпеливо отклонял ее

услуги, каждый раз многозначительно поводя глазами и бровями на доктора, читавшего его последнюю волю, будто хотел сказать: «Слушай, слушай! Тебя касается!»

Касалось, что и говорить.

Генеральша Дрейтгорн узнала, что вместо стотысячного годового дохода, на который имела право надеяться, может рассчитывать только на безбедное существование, что в ее понятиях равнялось нищете.

Доктор докончил чтение, откашлялся, чтобы скрыть смущение, и стал медленно свертывать документ.

— Слышали? — спросил генерал хриплым отрывистым голосом.

— Слышала, мой друг, — спокойно ответила ему жена.

— Ничего не имеете сказать?

— Что ж я могу сказать? Вы вправе распоряжаться своим имуществом. Только я все же…

— Все же — что? — резко спросил муж.

— Все же надеюсь, мой друг, что это не последняя ваша воля…

Дрейтгорн обернулся к ней, даже сделал усилие привстать на локтях.

— Вы, даст Бог, поправитесь. Быть может, вам

не раз еще придет охота иначе распорядиться, — хладнокровно продолжала генеральша.

Больной упал на подушки.

— Ошибаетесь! Хоть бы я и не умер, более вам меня не морочить… Это моя последняя воля! — прохрипел он и дрожащей рукой подал доктору связку ключей: — Пожалуйста, вон шкатулка… Заприте, спрячьте духовную.

Доктор исполнил его желание, не глядя на Ольгу Всеславовну. И она не смотрела на него. Пожав плечами на последние слова мужа, она осталась невозмутима и чужда всему, кроме его страданий, которые, казалось, ее терзали.

Зато умиравший не спускал тревожных глаз с доктора и, как только тот запер большую дорожную шкатулку, протянул руку за ключами.

— Пока жив, у меня будут, — промолвил Юрий Павлович, пряча всю связку в карман. — А как умру, тебе поручаю их, Эдуард Викентьевич. Сбереги, в последнюю услугу. — Он опять отвернулся к стене. — А теперь дайте покоя. Боль отступила, может, засну… Уйдите!

— Мой друг, позвольте остаться возле вас, — проворковала было генеральша, склоняясь нежно к мужу.

— Уйдите! — резко крикнул он. — Дайте покоя,

говорю.

Она встала, шатаясь.

Доктор поспешно подал даме руку. Ольга Всеславовна вышла, опираясь на него и снова трагически прикрыв платком глаза.

— Успокойтесь, ваше превосходительство! — сочувственно шептал генеральше доктор, плохо сам сознавая, что говорит его язык. — Вот здесь приготовлены вам комнаты… Вам ведь тоже нужен отдых после такого долгого пути…

— О, я о себе не думаю! Мне так его жаль… Бедный, бедный безумец!.. Много я от него вынесла. Он такой подозрительный, такого тяжелого характера, и странностей у него бездна. Вы знаете, доктор, мне иногда положительно казалось, что он не совсем здрав…

— Кхм! — кашлянул врач.

— Хотя бы эта странная перемена завещания, — продолжала генеральша, не дождавшись более определенного сочувствия. — Это обращение со мною… За что?

— Да, весьма печально, — пробормотал Эдуард Викентьевич.

— Скажите, доктор, он ждет своих детей?

— Только Анну Юрьевну! Только ее одну. Она обещала приехать со старшими детьми. Еще

вчера была телеграмма. Целый день ждем…

— Скажите, откуда такая внезапная отцовская нежность? Десять лет не видались… Может быть, Юрий Павлович и мужа ее ждет, зятя своего, этого азбучника? — презрительно осведомилась генеральша.

— Нет, куда там, человек ведь служащий… И сын тоже, Петр Юрьевич, не могут тотчас приехать: в командировке, в Закаспийском крае… Даль!

— Да, далеко, — согласилась генеральша, очевидно занятая другими мыслями. — А скажите, Эдуард Викентьевич, эта новая духовная грамота… давно она написана?

— Только сегодня. Только сегодня-с. Черновая была заготовлена на прошлой неделе, но генерал все медлили. А тут как с утра сегодня приступили эти боли…

— Последние? Опасные? — перебила Ольга Всеславовна.

— Крайне! Признаки весьма дурные. Как они появились, Юрий Павлович поспешили послать за нотариусом… Вы еще его застали здесь.

— Верно. А та старая, прежняя духовная, значит, уничтожена?

— Н-не знаю-с… Но не думаю. Ах! Нет-нет, я и

забыл: генерал собирались телеграфировать.

— Вот как?.. Телеграфировать? — Генеральша пожала плечами, грустно покачала головой и прибавила: — Он так переменчив, так переменчив!.. Впрочем, я думаю, что все равно: ведь, кажется, по закону имеет силу последнее завещание?

— Да-с. Несомненно последнее.

Ольга Всеславовна поникла головой.

— Мне что обидно, — с горькой улыбкой зашептала она, очень близко склоняясь к молодому врачу и сильно налегая на его руку. — Мне что обидно — не деньги! Я не корыстолюбива. Но зачем же отымать у меня дочь? Зачем, в обход родной матери, поручить ее полусестре, женщине, которую я не знаю, которая никакими заслугами или добродетелями, кажется, не отличалась… Я буду оспаривать! Я на такое не соглашусь. Закон должен вступиться за право матери!.. Как вы думаете, доктор?

Доктор поспешил поддакнуть, хотя поистине ни о чем в ту минуту не думал, кроме странной манеры красивой генеральши, разговаривая, так… неудобно близко склоняться к собеседнику.

В эту секунду раздался звонок и громкий голос генерала:

— Доктор! Эдуард Викентьевич!

— Здесь! — отозвался врач.

И, оставив Ольгу Всеславовну на пороге ее комнаты, он рысцой побежал к больному.

«Для умирающего — здоровый голос… Кричит, как на смотру, бывало», — подумала генеральша.

И красивое лицо ее сразу подурнело проступившей на нем ненавистью.

Однако это было мимолетное выражение; оно очень быстро заменилось печалью, когда Ольга Всеславовна увидала выходящего от больного камердинера.

— Что с барином, Яков, хуже?

— Нет-с, Бог миловал. Приказали подать к себе ближе шкатулку и отворить ее велели Эдуарду Викентьевичу. Какую-то телеграмму еще писать желают.

— Ну слава Богу, что не хуже… Яков! Я тоже сейчас посылаю на телеграфную станцию своего курьера, можете ему отдать и телеграмму генерала.

— Слушаю-с.

— Да вот еще что: я ложиться не буду; чуть что с барином, Бога ради, сейчас ко мне в дверь постучитесь, Яков, я вас прошу — в ту же минуту скажите мне. Вот вам, Яков, возьмите… Вы даже

похудели от трудов за болезнь барина.

— Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Мы трудов своих жалеть не должны, — объяснил лакей, пряча крупную ассигнацию.

Глава III

Против ожидания ночь прошла довольно спокойно. Волнения и усталость взяли свое: Ольга Всеславовна, как ни крепилась, к утру крепко заснула, а когда снова открыла глаза, перепугалась тому, что позднее солнце ярко светит в окна.

Горничная, ловкая немка из Вены, пять лет не покидавшая вполне сподручной ей барыни, успокоила хозяйку тем, что барину лучше и что он еще почивает, почти всю ночь не спав.

— Доктор при них и Яков до свету работали! — объявила она. — Разбирали разные бумаги: иные связывали, что-то надписывали, другие рвали или в камин бросали. Полна решетка пепла, Яков сказывал.

— А телеграмм других не было?

— Не было больше, Яков и наш Фридрих сейчас бы меня окликнули, я ведь вот тут, в буфетной, прикорнула, оба они то и дело пробегали мимо на посылках. Но телеграмм других не было кроме тех, что с вечера посланы.

Ольга Всеславовна оделась, позавтракала и пошла к мужу. Но на пороге его комнаты ее ждало распоряжение больного: без особого зова никого,

кроме доктора и старшей дочери его, если она приедет, к нему не впускать.

— Вызовите Эдуарда Викентьевича, — приказала генеральша.

Домашний доктор был вызван и со смущением подтвердил приказание генерала.

— Но не мог же он думать, чтобы такое распоряжение меня касалось? — изумилась она.

Доктор извинялся, но должен был сознаться, что она-то именно и была названа, что его превосходительство именно просил передать ее превосходительству, чтобы она не беспокоилась его навещать.

— Помешался! — кротко, но с убеждением заявила генеральша, пожав плечами. — Откуда такая ненависть? За всю мою любовь к нему, старику, годившемуся мне в отцы…

И Ольга Всеславовна снова прибегла к содействию носового платка, на сей раз вместо слез приявшего несколько сдерживаемых рыданий.

Конфузливый с женщинами, врач стоял опустив голову и глаза, как виноватый.

— Что это вы, говорят, всю ночь жгли? — осведомилась Ольга Всеславовна слабым голосом.

— О, далеко не всю ночь!.. Юрий Павлович вспомнил, что надобно истребить кое-какие ста-

рые письма, бумаги, кое-что привесть в порядок… Там, в шкатулке, есть и на ваше имя пакетец: мне было приказано надписать адрес.

— В самом деле?.. Нельзя ли видеть его?

— О, никак!.. Все заперто в шкатулке вместе с духовной грамотой. И ключи у генерала.

Снисходительно-горькая улыбка искривила рот молодой женщины.

— Так это новое завещание не попало еще в камин? — спросила она. И на испуганное отрицание доктора, повторившего, что оно поверх всего в шкатулке лежит, прибавила: — Ну так еще попадет, не беспокойтесь!.. Особенно если Бог продлит жизнь моему мужу. У него ведь всегда непонятная страсть писать новые документы: доверенности, дарственные записи, духовные, что ни попало! Писать новые и сжигать прежние… Ну что же делать, надо покориться новой фантазии. Больному нельзя противоречить.

Ольга Всеславовна отправилась к себе. Весь день она провела взаперти и лишь на несколько минут вышла из своей спальни, чтобы узнать конечное слово светил медицинской науки, собравшихся после полудня на генеральный консилиум. Заключения врачей, хотя совершенно разнились в подробностях, в главном сходились

и были неутешительны: жизнь и продолжительность страданий больного были вопросом недолгого времени.

Вечером пришла телеграмма от Анны Юрьевны; она уведомляла отца, что будет на другой день к пяти часам вечера.

— Дождусь ли?.. Ох! Дождусь ли… — целый день повторял больной.

И чем сильнее он волновался, тем грознее были приступы страданий.

Юрий Павлович провел дурную ночь. К утру болезненный припадок несравненно сильнее прежних едва не унес его. Генерал еле дышал от страшных страданий. Теперь уж ему не помогали горячие ванны для рук и паровые вдыхания, приносившие некоторое облегчение ранее.

Доктор, сестра милосердия, прислуга сбились с ног. Одна жена по-прежнему не имела к нему доступа. Она бесновалась от злобы, стараясь, и небезуспешно, всех убедить, что сходит с ума от отчаяния. Девочку, Олю, еще накануне увезла одна родственница генерала к себе в дом — «на все это ужасное время»… В ту ночь генеральша Дрейтгорн совсем не ложилась, не отходила даже, как и следует преданной жене, от дверей мужниной комнаты. Когда предутренний припадок

утих, она попыталась было войти к больному, но едва тот увидал Ольгу Всеславовну у изголовья постели, в которую его наконец уговорили лечь, как сильнейшее нетерпение исказило черты его. Не будучи в состоянии говорить, Юрий Павлович только замахал на жену руками и сердито, хрипло застонал.

Сестра милосердия очень решительно попросила генеральшу не смущать своим присутствием супруга.

«Мне это терпеть! Мне терпеть все это?!. — мысленно терзалась оскорблением Ольга Всеславовна. — Терпеть от него, а после еще и страдать от нищеты?.. Ну нет, не бывать тому. Лучше смерть, чем нужда и такой позор!» Она углубилась в мрачные размышления…

Неприязненное движение при виде жены было последним сознательным поступком Юрия Павловича Дрейтгорна. К восьми часам утра он потерял память среди тяжких страданий, не затихавших более до самой кончины. В начале полудня его не стало.

В последний час агонии жена его беспрепятственно стояла на коленях у изголовья и неутешно рыдала.

Грозный сановник, миллионер, большой барин

— обратился в труп.

Все пошло своим чередом. Обычная суета и бесцеремонный шум вместо осторожного шепота поднялись вокруг умершего, готовя ему парадное погребение. Близких, кроме жены, возле покойного не было, а она лежала то в обмороках, то в истерике. Все заботы пали на скромного домашнего доктора, и он хлопотал неустанно, добросовестно, в поте лица, стараясь ничего не упустить из виду. Но, как всегда бывает, упустил самое важное. Ранние сумерки уж спускались на Петербург, окутанный морозным туманом, когда Эдуард Викентьевич Полесский отчаянно хлопнул себя по лбу: он вспомнил о ключах, о шкатулке, вверенной покойным его охране. В это время тело, одетое в мундир и все регалии, лежало уж в смежной большой комнате на столе под парчой в ожидании гроба и обычных венков. Доктор бросился в опустевшую спальню. В ней все уж было прибрано, кровать стояла без тюфяка и подушек; на диване ничего тоже не было.

Где же ключи? А шкатулка?

Шкатулка стояла на прежнем месте, нетронутая, запертая. У молодого доктора отлегло от сердца. Однако ключи?.. Сейчас, вероятно, явится полиция — удивительно, что ее до сих пор нет.

Опечатают… Надо, чтобы в порядке… Где Яков? Наверное, он взял. Или… она, генеральша?

Полесский бросился на поиски камердинера, но того не оказалось. Хлопот было много, Яков поехал что-то купить, заказать. «Ах, боже ж мой! А объявление? — вдруг вспомнил Эдуард Викентьевич. — Надо сейчас написать, послать в редакции газет. Придется ее спросить, однако, генеральшу: в каких-де словах?.. Все же, хоть ее и знать не хочется, она теперь главное лицо! Да кстати спросить: не видала ль ключей?»

Доктор помчался на половину генеральши. Она лежала измученная, но вышла к нему. В каких выражениях составить объявления? Ей, право, все равно: «с глубоким прискорбием» или «с душевным», какое ей дело. Ключи?.. Какие ключи? Нет, она никаких ключей не видала и не знает, где они. И зачем попусту тревожиться: прислуга верная, ничего не пропадет…

— Да, но их надо иметь наготове для полиции. Сейчас придут опечатывать бумаги покойного…

— Опечатывать? Зачем?

— Таков закон. Чтобы все было цело до прочтения завещания во исполнение воли покойного.

Генеральша Дрейтгорн заметно побледнела. Она не знала и не ожидала такой помехи… Но

доктор был слишком занят, чтобы заметить эту бледность.

— Так я сейчас напишу объявление и пошлю в редакции. В «Новое время» и в «Новости» — я полагаю, довольно?

— Как знаете. Пишите здесь, у меня. Вот все, что нужно: перья, бумага. Напишите — прочтете мне… Я сейчас, только положу компресс на голову: страшная мигрень!.. Подождите же меня.

И генеральша вышла из приемной в спальню.

— Рита! — шепнула она своей поверенной субретке, спешно обшивавшей ей крепом траурное платье, — не выпускай доктора, пока я не вернусь. Слышишь? Что хочешь делай, только не выпусти!

Генеральша скользнула из спальни в боковую маленькую дверь и исчезла.

Две комнаты до той, где лежало тело, были совершенно пусты и сумрачны, ничем не освещенные, а из той шел тоненький луч света от лампады, зажженной у иконы. Свечи еще не горели, чтец-дьячок еще не приходил: их ждали вместе с батюшкой и с гробом. Пока же возле умершего никого не было, только в передней проходной комнате сидела сестра милосердия.

— Помолиться желаете? — спросила она гене-

ральшу.

— Да… Помолюсь там, в его комнате.

Она проскользнула мимо покойника, на него не взглянув, в бывшую спальню мужа и притворила за собою двери. Запереть их она побоялась, да и зачем — дело одной минуты… Вот она, шкатулка, старая знакомая. И ключ от нее ей хорошо знаком: когда-то, не так давно, у мужа не было от Ольги Всеславовны ни тайн, ни запретов.

Быстро вложен ключ в замок, быстро поднята крышка… Где же бумага? Эта новая подлая бумага, которая может ее всего лишить… А! Вот и она. Дурак этот не обманул: с самого верха. И искать нечего, слава богу. Скорее теперь закрыть, запереть плотную крышку, сунуть ключи куда-нибудь, вот хоть между сиденьем и спинкой кушетки, на которой он лежал… Вот так!

Вздох облегченного страха слетел с прекрасных, побледневших за эти тревожные дни губ красивой женщины. Отныне она могла быть спокойна!

Разве что взглянуть на этот «документ» его жестокости, несправедливости, тупоумия — чтобы, не дай бог, не вышло ошибки… Ольга Всеславовна подошла к окну и, пользуясь последним лучом серого дня, развернула духовную.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — прочла она…

Да, это оно: завещание.

«Как он говорил эти самые слова тогда, благословляя Олю, — вспомнилось ей. — Благословлял! А теперь та же рука не дрогнула подписать это!.. Лишить ее, их обеих всего — из-за тех ненавистных людей? Но теперь не бывать тому! Просим прощения, не рядиться твоей голопятой азбучнице в павлиньи перья. Нам с Олей деньги более к лицу!»

И генеральша чуть не прищелкнула победоносно пальцами в ту сторону, где лежало тело мужа. Несмотря на французское воспитание, в минуты увлечения Ольга Всеславовна была тривиальна.

Вдруг близехонько под дверями раздались шаги. Помилуй бог! А у нее в руках громадный толстый лист гербовой бумаги. Куда девать?.. Сложить и думать нечего успеть. Вот уже входят… Кто бы?

Духовное завещание оказалось на полу, и сама генеральша тоже на полу, на коленях на документе, как на коврике, в молитвенной позе заломила руки на подоконник и влажный взор устремила на мигающую звездочку, словно небеса принимая в поверенные и свидетели своего безутешного

вдовьего горя…

Но то была только сестра милосердия.

— Сударыня, там люди пришли, принесли гроб, и, кажется, полицейские.

— Ах! Я сию минуту!.. Скажите, пожалуйста, что я сейчас.

Сестра милосердия вышла.

«Ишь, поди ведь, как она мужа любила! И за что ж он ее обижал напоследок?» — невольно укорила она покойного генерала.

А генеральша между тем поспешно поднялась, сложила духовную как попало вчетверо, ввосьмеро, зажала в руке и торопливо вышла из этой, теперь ее пугавшей комнаты.

Ольга Всеславовна до того растерялась, что забыла даже поискать карман на пеньюаре. Она только крепко держала свой сверток, а руку опустила вниз, пряча ее между складками широкого одеяния.

В комнате, только что пустой, оказалось теперь так много народу, что у вдовы зарябило в глазах. Сердце ее стучало немилосердно, и кровь била в виски так громко, что она никак не могла понять, о чем ее спрашивают. А спрашивали, можно ли переложить тело в гроб, уже стоявший рядом. Молчание было принято за согласие, привычные

люди ловко взялись и приподняли осевшее тело.

Ольга Всеславовна стояла у изголовья. Из-за приступивших погребальных служителей она вдруг увидала шедшую к ней с протянутою рукою и со слезами сочувствия на глазах княгиню Рядскую — ту самую сановитую родственницу, которая на время взяла к себе маленькую Олю.

Надо ей подать руку — а в руке этот проклятый сверток!.. Куда его девать? Как спрятать?

В глаза генеральше метнулся блестящий, пепельно-бледный лоб покойника, беспомощно закинутый назад и на сторону, пока все тело висело на руках служителей над своим вечным жилищем…

Спасительная мысль!

Нежно склонилась генеральша к гробу. Нежно поддержала холодную голову покойника. Нежно опустила ее на атласную подушку, расправила рюш вокруг твердого изголовья и незаметно оставила под ним скрученный сверток бумаги…

«Вот так верней! — пролетали в ней мысли. — Ты ведь хотел же сам хранить свою духовную грамоту, вот и храни ее вовеки!.. Чего же лучше?»

Вдове стало даже смешно, и она с трудом успела сдержать улыбку торжества, превратив ее в горь-

кую улыбку печали в ответ на соболезнования родственницы.

Гроб уж торжественно красовался на столе, его покрывали парчой и цветами. Княгиня-родственница, поклонившись в землю, первая возложила привезенный венок.

— Страдалец! Успокоился! — шептала она, качая головой. — Панихида скоро будет? А где же… где же Ольга Всеславовна?

— Они сейчас, — умиленно зашептала ей в ухо сестра милосердия. — Пошли оправиться… Сейчас начнут собираться на панихиду, а они в расстройстве, очень убиваются! Не угодно ли присесть?

— А?.. Что?.. Присесть? Благодарю, — свысока процедила княгиня.

И направилась к вступавшему в дверь благочинному гостю, украшенному многими регалиями и сановитою бородою.

Генеральша тем временем быстро вошла к себе.

— Рита! Скорее вымыть руки, одеваться. Ах, извините, пожалуйста, доктор! Меня ведь звали туда, к мужу… Его уж положили в гроб, — тяжко вздохнула она. — Что это? Да, объявление о кончине. Хорошо, хорошо!.. Отошлите, пожалуйста, а

мне надо скорее одеваться. Там сейчас панихида.

— Доктор! Не здесь ли доктор? — раздались тревожные призывы за дверью.

— Иду! Что такое?

— Пожалуйте скорее, Эдуард Викентьич! — призывал его Яков. — Там, внизу, барыне Анне Юрьевне очень дурно!.. Я вот цветы заказывал, вернулся, смотрю: а в прихожей барыня без чувств лежат. Только что приехали, спрашивают, а им прямо: «Скончался!» — говорят… Безо всякого приготовления! Ну они и не вынесли: в обмороке!

Яков договаривал объяснения уже на ходу.

«Комедиантка! — в негодовании решила Ольга Всеславовна. И тут же мысленно прибавила: — Ну, да теперь она хоть на голове ходи, так мне все равно!»

Глава IV

Все ли равно было ей или не все, однако глубокое отчаяние дочери, не успевшей проститься с отцом и принять его благословение после многолетнего гнева, тяготевшего над неповинной головой молодой женщины, так было очевидно искренно и произвело на всех такое сильное впечатление, что и мачеха ее взволновалась.

Анна Юрьевна была похожа на отца, насколько может быть похожа молодая, стройная, хорошенькая женщина на пожилого человека со строгими чертами и атлетическим сложением, каким отличался генерал Дрейтгорн. Но, несмотря на нежность сложения и кротость взгляда, в черных глазах ее иногда загоралась искра, очень похожая на вспышки в отцовском взоре, и волей своей, сильным характером и непреклонной настойчивостью на том, что ей казалось правым и необходимым, Анна была двойником покойного.

Почти десять лет, со дня замужества ее с любимым человеком, которого злонамеренные люди успели оклеветать во мнении генерала, дочь покорно несла гнев Юрия Павловича. И не переставала писать ему, умоляя простить ее, понять,

что он ошибался, что муж ее — честный человек и что она была бы совершенно, вполне счастлива, если бы не тяжесть гнева отцовского и разлука с родителем. Но Анюта ни разу до последнего времени не получала ответов, однако месяц назад случилось непонятное: отец не только написал ей, что желал бы повидаться с ней и детьми в Петербурге, куда должен тотчас ехать, но через несколько дней опять прислал длинное нежное письмо, где прямо просил ее прощения. Ничего не объясняя, Дрейтгорн говорил, что получил явные доказательства невинности и рыцарской честности ее мужа, поэтому теперь чувствует себя пред ним глубоко виноватым и несчастным своей несправедливостью. В следующих письмах генерал, умоляя дочь поспешить приездом, поскольку он болен и, по мнению докторов, долго не протянет, ее окончательно поразил уведомлением о смысле своего нового духовного завещания, о непременной воле разлучить меньшую дочь «с такою матерью» и мольбами к Анюте и мужу ее не отказаться принять к себе на воспитание маленькую Ольгу.

— Что случилось? Чем могла эта пустая женщина так жестоко оскорбить отца? — в недоумении рассуждала Анна.

— Если бы она только была пуста, — пожав плечами, отвечал ей муж. — Но она так зла, так хитра и так беззастенчиво смела, что от нее всего можно ждать.

— Но в таком случае был бы скандал! Мы бы, наверное, что-нибудь знали… Нынче же, погляди, вон даже в газетах расписывают такие истории, а мой отец — известный, заметный человек.

— Вот и причина, почему не пишут! — улыбаясь, заметил Борисов.

Сам он ехать отказался наотрез, с ужасом вспоминая первый год своей женитьбы, когда он еще не мог добиться перевода в другой город и поневоле терпел встречи с этой ненавистной ему женщиной — «женой Потифара» [25], как он мысленно со смехом над собой самим порою обзывал Ольгу Всеславовну. Да и с ее мужем, этим честным умным стариком, так унизительно отдавшимся в распоряжение хитрой и низкой интриганке, отношения не задались. Анна Юрьевна знала, что муж презирает ее мачеху и ненавидит генеральшу за все горе, им перенесенное чрез нее, а еще более — за ее дурное влияние на отношение отца к брату Анюты.

---

[25] Сноски: 25
Библейский персонаж — распутница, оболгавшая слугу мужа.

Борисов шесть лет жил учителем и воспитателем при Пете Дрейтгорне и очень любил его. Мальчик был уже в последних классах гимназии, когда сестра, на два года старше его, окончила курс и вернулась в отцовский дом почти одновременно со вторичной женитьбой генерала.

Притеснения, которых молодой учитель в первый год свадьбы Дрейтгорна старался не замечать и терпеть ради привязанности к своему воспитаннику, стали невыносимы, когда приехала дочь генерала и ко всем осложнениям трудного положения Борисова прибавилось сознание их взаимной любви. Тут он повел дело начистоту, и все скоро разыгралось. Никогда, никому в свете не заикался молодой человек о причине ненависти к нему генеральши Дрейтгорн. Ради спокойствия тестя он искренно надеялся, что тот никогда о ней не узнает. Анна была убеждена, что всему виной гордыня ее мачехи, сумевшей внушить мужу предубеждение против такого, по ее мнению, мезальянса. Отчасти дочь была права, но главные причины вражды остались ей навсегда неизвестны. К несчастью, не так было с ее отцом.

В последние годы он все сильнее разочаровывался в достоинствах молодой жены. Дошло

наконец до того, что генералу стало спокойнее житься, когда его супруга отсутствовала. До последней болезни Юрия Павловича — которая, сказать к слову, едва ли не была и первой — Ольга Всеславовна уехала на год путешествовать с дочкой по чужим краям, но пробыла за границей не более двух месяцев, как генерал неожиданно решился ехать в Петербург искать развода, увидаться со старшей дочерью и переменить свое духовное завещание. Быть может, он и не решился бы никогда на такие крутые меры, если бы не случилось нечто, никем не предусмотренное.

Борисов напрасно думал, что достаточно тщательно уничтожил все письма к нему молодой генеральши в то время, когда не был еще женат, и не осталось никаких вещественных доказательств ее раннего вероломства. У Ольги Всеславовны и до замужества была поверенная, исполнявшая многие маленькие поручения красивой барышни, слава которой гремела в трех приволжских губерниях, арене ее ранних лет. Впоследствии молодая красавица нашла себе в чужих краях новую любимицу, ту самую Риту, которая и ныне была при ней. Марфа, русская наперсница, конечно, возненавидела «немку», и пошли между ними такие баталии, что не только

генеральша, но и сам генерал лишились покоя. Марфа была не промах: хозяйке приходилось ее беречь; Ольга Всеславовна и берегла, но и сама не знала, до какой степени находится в руках прежней наперсницы. Предвидя черный день неблагодарности, Марфа с удивительной предусмотрительностью откладывала по одному или по нескольку писем из каждой серии тайных переписок барыни, неуклонно проходивших через руки ее в разные времена. Быть может, она и не воспользовалась бы ими так зло, если бы не последняя смертельная обида от барыни. Ценя в слуге, кроме расторопности, знание языков, генеральша услугами Марфы не пользовалась обыкновенно за границей, но доныне брала с собой в путешествие обеих горничных. Однако в предпоследнюю поездку Марфа до того надоела хозяйке вечными слезами и ссорами, что та задумала обойтись без ее услуг, тем более что с нею ехала еще гувернантка при дочери и штат выходил чересчур велик.

Не стало меры озлоблению Марфы, когда она узнала, что остается дома. Дерзость ее была так велика, что она прямо сказала барыне: мол, «жалея ее», советует Ольге Всеславовне ее не обижать, потому что она «такой обиды без отместки не

оставит». Но барыне и в голову не приходило, что́ Марфа замыслила и чем она сама рискует.

Едва генеральша уехала, Марфа попросила генерала отпустить ее, говоря, что она поищет дела в другом месте. Задерживать ее генерал не видел возможности, да и не желал, считая ее вздорной сварливой бабой. Доверенная слуга ушла из дому, уехала даже из города! И тут-то началось ее мщение и пытка Юрия Павловича, сразу подкосившая его счастье, здоровье, едва ли не самую жизнь.

Почти каждый день начал он получать письма из разных мест России — у Марфы кумовей и друзей было множество. С беспредельной жестокостью бывшая горничная начала присылку с менее важных свидетельств шалостей генеральской жены. Вначале приходили записочки, еще подписанные ее девичьим именем, потом два-три письма из серий последних лет, и наконец пришла целая пачка посланий генеральши в первый год брака к учителю — когда Борисов еще не знал Анны.

Коварная Марфа, прекрасно зная все, о чем в этих письмах говорилось, часто передавала хозяйке их содержание на словах, а сами бумаги припрятывала и сберегала, ведь только Бог знает, что может со временем приключиться.

«Не будут нужны — сожгу. А может, еще пригодятся?.. Господ завсегда хорошо в руках держать!» — рассуждала сметливая баба — и не ошиблась в расчетах, хотя бумаги эти послужили не к выгоде ей, а только к кровавой мести.

Они самые, записочки и письма эти, открывшие окончательно глаза генералу на личность его супруги и собственную вопиющую несправедливость к родным детям, и лежали теперь в шкатулке покойного, аккуратно завернутые в пакет с надписанным доктором адресом на имя «ее превосходительства Ольги Всеславовны Дрейтгорн».

По первому же письму отца Анна стала собираться в Петербург, но, на беду, ее задержали болезни сначала одного ребенка, потом другого. Если бы не последние телеграммы Юрия Павловича, она и теперь бы еще не выехала, потому что не знала об опасной болезни отца.

Но теперь, приехав слишком поздно, бедная женщина простить себе не могла промедления.

Вчуже тяжко было видеть, как она убивалась над гробом отца после панихиды. Княгиня Рядская разливалась в слезах, на нее глядя, и все многочисленные знакомые и родственники гораздо более расстроились отчаянием Анюты,

нежели смертью самого генерала. Ольга Всеславовна втайне была скандализирована такой несдержанностью, но по наружности была очень расстроена и тронута положением бедной падчерицы. Однако не рискнула при людях явно высказывать ей симпатию, помня слова, вырвавшееся «у этой сумасшедшей», когда ее привели в себя из обморока и мачеха было бросилась к ней с объятиями.

— Уйдите от меня! — закричала Анна. — Я не могу вас видеть, вы убили моего отца!

Хорошо, что в передней были одни лакеи! Но вновь выслушивать такое при многочисленных свидетелях генеральша рисковать не желала.

Притом она была чересчур встревожена: гости, собравшиеся на панихиду, навезли цветов, и «полоумная княгиня» вздумала, с помощью других двух дам, сама украшать ими гроб, и в особенности изголовье… Трудно представить себе, что вынесла Ольга Всеславовна, глядя, как чужие руки роются в складках кисеи, в рюше, под покровом, чуть ли не под самой атласной подушкой… Еще немного — и она могла бы непритворно упасть в обморок.

Генеральша всегда хвалилась, что у нее крепкие нервы, и точно это была правда, однако за эти

дни и их крепость, видно, не выдержала, потому что вдова долго не могла в ту ночь заснуть и ей то и дело бог весть что мерещилось… Едва к утру заснула Ольга Всеславовна, да и то ненадолго.

Темная ночь еще стояла над спавшим городом. Мрак и тишина воцарились наконец в успокоившихся меблированных комнатах, где в целой анфиладе пустых покоев крепче и спокойнее всех спал вечным сном генерал Дрейтгорн. Невыразимо торжественно и спокойно рисовалось лицо его среди пестрых цветов, лоснясь в свете нагоревших восковых свечей. Между черными бровями застыла складка, словно он не переставал и теперь озабоченно решать глубокую думу; тонкие губы крепко были сжаты, как и при жизни, когда он принимал твердое, непоколебимое решение.

В самый неподвижный час ночи, когда над усопшим смолкло монотонное чтение Псалтыри и чтец, еле добравшись до ближнего дивана, растянулся на нем и храпел богатырски, Анна Юрьевна видала во сне отца своего, но в совершенно новом виде. Она рассказывала впоследствии, что на нее, против ожидания, как только легла она, истомленная слезами, вдруг снизошло такое полное, ясное спокойствие духа, будто кто снял с души невидимый гнет. Не то

чтобы она забыла, что отец ее умер, что его нет в живых, — нет! Она ни на секунду не забывала свершившегося, но оно не казалось более таким тяжким, горьким, непоправимым бедствием. У Анны явилось вдруг не размышление и не вывод из каких-либо умствований, а безотчетное убеждение, что не из чего так убиваться, что в конце концов все равно. Немного раньше или позже — разве в том суть? Отец ее умер, она еще жива, а через каких-нибудь полстолетия — не все ли это равно?.. Оба будут мертвы — и оба будут живы! Да, будут, будут живы!.. Как оба живы и ныне и вовеки. Они не виделись десять лет, отец не успел благословить ее. Но он хотел ее благословить, и благословение на ней пребудет; пребудет, несмотря на продолжение временной разлуки, и любовь дочери и отца — бессмертная любовь, все переживающая, единый вечный союз духа…

И торжественный покой снизошел на Анну в силу этой уверенности, сразу ее осенившей вышним, животворящим светом. Не успела она сомкнуть в сладкой дремоте усталых глаз, как увидала пред собою Юрия Павловича. И, видя, все же помнила, что для земной жизни отец мертв, однако не смущалась этим более. Пусть так, если таков закон предвечный. Пусть так, если земная

смерть возрождает к такой неизъяснимо-светлой чистоте и сияющей радости, облеченным в которые явился ей ныне покойный отец.

Он подошел к ней, положил ей на голову руку, и дочь почувствовала, что он о ней молится. Так делывал отец иногда, когда она еще была ребенком, при жизни Анютиной матери. Но тогда девочка не знала, что отец мысленно творил молитву; теперь же она чувствовала это, как чувствовала и знала каждое слово знакомой литании, вторя ей, молясь вместе и заодно с отцом.

Это была такая родная, такая чудная молитва! Каждый звук в ней, каждое слово порождало отрадные чувства — трепетное умиление, радость, светлую надежду. Анна горячо молилась и в то же время недоумевала, как могла забыть эту молитву, как могла столько лет не говорить ее, не помнить ее высокого смысла?

Молодая женщина знала, что давно не произносила этой простой, умиротворяющей и всеразъясняющей молитвы. Теперь же Анна сознательно дала себе слово отныне всегда ею молиться и научить ей мужа и детей, радуясь радости близких, когда они узнают истинный смысл и утешительное значение литании.

И с чувством глубочайшего мира в душе, с

радостным сознанием великого откровения, сообщенного ей отцом, Анна спокойно, крепко уснула…

Зато почти в то же мгновение проснулась за пять комнат оттуда Ольга Всеславовна, едва успевшая забыться тяжелым, беспокойным сном. Она пробудилась от сознания чьего-то присутствия, чьего-то враждебного тяготения, села в кровати и оглядела комнату… По полу и стенам бродили, колыхаясь, тени от огня в ночнике, по которому прошло откуда-то дуновение. В спальне не было никого.

«Не разбудить ли Риту? Приказать ей здесь лечь, возле меня», — подумала Ольга Всеславовна, но тут же устыдилась своего детского страха.

Она легла, повернулась к стене и заснула сейчас же.

Заснула и увидала сон.

Она спускалась с какой-то тяжелой, неуклюжей ношей на плечах по бесконечным лестницам и темным переходам. Впереди ей мерцал яркий переменчивый огонек: то красный, то желтый, то зеленый; он все мерцал и метался перед нею из стороны в сторону… Вдова знала: если бы удалось ей достигнуть его, тяжкая ноша с нее снялась бы. Но огонек словно дразнил ее, то появляясь,

то исчезая, и вдруг пропал из глаз совсем. Ольга Всеславовна очутилась во мраке в сыром подземелье, с виду пустом, но переполненном чьим-то невидимым присутствием. Чьим — она не знала, но это переполнение ее страшно пугало, душило, отовсюду на нее наседая, отымая последний воздух. Она задыхалась! Ужас охватил вдову при мысли, что, верно, это смерть. Ей умереть?.. Возможно ли?.. Да ведь этот блестящий, веселый огонек только что сулил ей жизнь, радость и легкость! Надо его скорее догнать!

И она хотела бежать, но ноги не слушались — генеральша не могла пошевелиться.

— Господи! Господи! — закричала она — Да что ж это такое?.. Откуда такая напасть? Кто меня держит? Пустите меня на воздух, не то я задохнусь в этом смраде, под этой непосильной тяжестью!..

Отчаянный вопль ее пронесся под бесконечными сводами, и со всех сторон эхо, дробясь и переливаясь на тысячу ладов, вернуло его обратно, обратив в раскатистый хохот, в насмешливый визгливый смех. Ольга Всеславовна рванулась вперед в смертельном ужасе, поскользнулась и упала… Тогда ее обступили со всех сторон. Все то или все те, невидимо переполнявшие мрачную пустоту бесконечного подземелья, приступили к

ней и то кричали ей, то шептали в самые уши:

— Зачем не уходишь? Никто тебе не мешает!.. Ты сама захотела прийти сюда. Сама ты нас породила, сама нас возле себя держишь. Не задохнешься!.. Это родная тебе атмосфера. И ношу эту ты доброй волей сама же на себя взвалила. Так иди же, иди! На избранном тобою пути нет отдыха, нет остановок: или назад, или вперед. Иди, иди!..

И вдова силилась встать, сознавая, что обязана идти, но ужас, тоска и мучительный страх приковывали ее к месту.

Вдруг мимо нее прошел Юрий Павлович. Она тотчас его узнала и радостно вцепилась в полу развевавшейся генеральской шинели.

— Юрий! Прости! Помоги мне! — закричала она.

Муж остановился, посмотрел на нее печально и отвечал:

— Я бы и рад, да ты сама помешала. Пусти! Пока не распалось это платье, надо мне исполнить твое поручение…

В эту секунду вдова проснулась.

Она была вся в холодном поту и судорожно сжимала обеими руками простыни. Возле нее никого не было, но она чувствовала ясно чье-то

присутствие и была убеждена, что точно видела сейчас своего мужа.

В ушах еще явственно звучал его голос: «Надо мне исполнить твое поручение…» Поручение? Какое?..

Она села в постели и торопливо зашарила босыми ногами по ковру, разыскивая туфли. Генеральшу охватило страшное предчувствие… Надо удостовериться сейчас, сию минуту!..

«Взять завещание, забрать его оттуда! Сжечь! Уничтожить!..» — мелькало в голове, Ольга Всеславовна лихорадочно натягивала пеньюар, накидывала шаль.

— Рита! Вставай скорее! Скорее!.. Пойдем!

Перепуганная горничная спросонья вскочила и принялась тереть глаза, ничего не понимая. Холодные как лед руки барыни теребили ее и куда-то тащили.

— Ach lieber Gott… Lieber Gott im Himmel [26], — бормотала она, — что случилось?.. Что вам угодно?

— Молчи! Идем скорее!

И Ольга Всеславовна, со свечей в дрожащих руках, потащила за собою Риту, тоже дрожавшую

---

[26] Сноски: 26
Боже правый… Боже правый на небесах (*нем.*).

от страха…

Вдова отворила дверь спальни — и отступила назад.

Все двери были открыты настежь, и прямо перед ней в дальней комнате блистал в золоте парчовых покровов и сиянии высоких свечей на траурном катафалке гроб ее мужа.

— Что это? — прошептала генеральша. — Зачем отворили все двери?

— Не знаю… Все они вечером были заперты, — пробормотала в ответ горничная, стуча зубами от бившей ее лихорадки.

Ей очень хотелось спросить госпожу, куда и зачем та идет: очень хотелось остаться в спальне, не идти в ту комнату, но Рита не посмела.

Они быстро прошли первые комнаты, у дверей последней генеральша поставила подсвечник на ближайший стул и на секунду приостановилась. Их обеих поразил громкий храп чтеца.

— Это дьячок, — успокоительно шепнула генеральша горничной.

Рита едва смогла кивнуть, однако ее утешил здоровый храп живого человека. Не доходя до стола с гробом, горничная остановилась, вся дрожа, завернулась в шерстяной платок и стала отвернувшись, стараясь видеть диван только со

спящим на нем псаломщиком.

Нахмурив брови, стиснув зубы до боли, Ольга Всеславовна решительно подошла ко гробу и запустила обе руки под цветы в изголовье. Вот рюш… Вот и атлас подушки… и… и дно! Где же?! Стучавшее как молот сердце вдруг екнуло и замерло. Завещания не было…

«Я, может, забыла? Может, оно с другой стороны!» — подумала Ольга Всеславовна и перешла по левую сторону гроба.

Нет, и здесь нет свертка.

Где же он?.. Кто взял его?!

Вдруг сердце у вдовы замерло, и сама она схватилась за край гроба, чтобы не упасть с ним рядом. Ей показалось, что из-под окоченелых, накрепко сложенных, тяжело осевших рук покойника белеет сквозь прозрачную кисею покрова угол бумаги.

«Вздор! Наваждение!.. Быть не может! Мне померещилось!» — вихрем проносилось в мутившемся сознании.

Озлобленно заставила себя женщина скрепиться и еще раз взглянуть…

Да, она не ошиблась. Белый уголок сложенной бумаги явственно выделялся на черном мундире генерала.

В эту секунду ветер, откуда-то пронесшийся по свечам, расшатал их нагоревшее пламя. Тени пошли танцевать по всей комнате, по гробу, по лицу покойника, и в этих быстрых переливах тьмы и света застывшие черты, казалось, оживились, на губах мелькнула печальная усмешка, дрогнули крепко сомкнутые веки…

Раздирающий душу женский крик пронесся по всему дому.

С отчаянным воплем: «Глаза! Он смотрит!» — генеральша пошатнулась и упала на пол у мужнина гроба.

Это случилось 23 декабря, в седьмом часу утра.

Глава V

В тот же день рано утром Евгения Гавриловна, жена нотариуса Ивана Феодоровича Лобниченко, поднявшись с петухами, была чрезвычайно занята. Хлопот у нее был «полон рот», по ее собственному определению. Завтра сочельник и день ее ангела — да мало того, что ее! А вместе и Женички, ее семнадцатилетней дочки, баловницы отца с матерью. Было о чем похлопотать!..

Все надо было закупить — и на постный день, и на праздник, и угощение именинное. А в доме — святители!.. Ведь нотариальную контору надо превратить в танцевальную залу, а Иван Феодорович еще и нонешних занятий не уступал!

«Будет с вас, — говорил он, — сочельника и двух первых дней праздника. Чего вам еще?.. А дело не делать — так ведь и потчевать именинных гостей не на что будет!» Что с ним поделаешь… Вот опять, как ни мой, как ни оттирай полов, а грязищи нанесут клиенты на сапогах, это верно! И опять поломоек нанимай. А где их взять-то в самый сочельник? Хорошо, что жена швейцара обещалась помочь да что полотеры знакомые — десять лет на них работают — хоть в самую

ночь сочельника согласны прийти натереть.

Лобниченко были семья благочестивая. Новые, модные дельцы Ивана Феодоровича «старозаветным» и «патриархом» называли; он не противился, благо делу его это не вредило, а, напротив, состоял он в большом уважении у честного купечества. Кривых дел Иван Феодорович не любил и поэтому, вероятно, хоть и не нуждался, но и не богател, как другие его сотоварищи. Искони было заведено у Евгении Гавриловны в день ангела батюшку благочинного, ее долголетнего духовника, и всех посетителей постным пирогом угощать, а молодежь на веселье и танцы, в сочельник не подобающие, на первый день праздника звать.

Поневоле приходилось ни свет ни заря накануне именин подыматься и самой хлопотать, да за работой Анисьи и Артемия присмотреть, а потом и с кухаркой Дарьей на Сенной побывать. В этом ветхозаветном доме и прислуга под стать была: жила в семье по десяти да по двадцати лет. Горничная Анисья уж на что шустрая, а и та пятый год доживала; лакей десять лет ворчал, что завтра уйдет, но это завтра никогда в сегодня не превращалось, и никто на его воркотню внимания не обращал, зная за Артемием меланхолию. Лакей был человек исправный и честный, но

большой оригинал и пессимист. Он был совершенно уверен и не стеснялся высказывать своего убеждения, что все люди на свете, «акромя нас с барином», полоумные!.. Да по правде сказать, барина-то Артемий лишь на словах исключал, а втайне и его приобщал к «придурковатым»…

«И чего мечутся, окаянные, прости господи! — ворчал он в то утро, немилосердно натирая суконкой медный подсвечник в чуланчике возле передней при свете керосиновой лампочки с разбитым и печально накренившимся зеленым колпаком. — Спросить: чего мечутся?.. Сказано — поспею, вот и поспею! Впервые, что ль?.. Ишь серебром сама гремит! Достает чуть не с ночи, будто времени для этого во дню не будет. А Анисья с подсвечниками да лампами пристает. Время к свету — а она с освещением лезет! Никакого тебе резону в этом доме не полагается… Одно слово: шальные! А вот сейчас и сам закричит. А там посетители звонить начнут… Эх, житье наше каторжное!..»

Евгения Гавриловна между тем выбрала из комода запасное серебро, белье столовое, сдала все Анисье; подтвердила приказание: как только барин встанет и чай откушает, тут же, не дожидаясь барышниного позднего вставания, бежать

в магазин наведаться о Женичкином платье, чтобы его непременно к вечеру доставили. Да чтоб Анисья, не дай бог, не проболталась барышне об ожидающем ее сюрпризе.

В эту минуту на Думе пробило восемь часов, и Евгения Гавриловна еще пуще засуетилась: пора им было с Дарьюшкой на Сенную.

По соседству, в спальне, слышалось шуршание спички и зевки Ивана Феодоровича.

— Вставай, вставай! Давно пора! — закричала ему жена. — И чего свечку зажигаешь? Девятый час, совсем светло!

И в подтверждение своих слов Евгения Гавриловна задула лампу. Серые печальные сумерки за окном пестрели частой снежной сеткой.

— Артемий!.. — раздался хриплый спросонья голос нотариуса. — Прибрано ль в конторе-то?.. Того гляди кто придет. Уж ты, матушка, со своими хлопотами да праздниками только людей с ног сбиваешь! — ворчал он на жену, но вполголоса, чтобы она не расслышала.

Громкий звонок раздался в передней.

— Вот оно, — мрачно буркнул Артемий в чулане, ожесточенно сплевывая в угол.

— Вот оно! — вскричал и хозяин его, заторопившись. — Есть ли кто в конторе? Пришел Петр

Савельевич?

— Нет еще. Никто не приходил, — отозвалась жена.

— Ну как же ж так!.. Эх, право, какой этот Петр Савельевич!.. А писари там?

— Никого еще нет. Наши часы впереди… К десяти будут. Надо же о празднике людям тоже позаботиться. Это какой-то оголтелый так рано пришел! — заключила Евгения Гавриловна.

— А ты погляди, милочка, — просил ее супруг. — Если кто порядочный, выдь сама. Скажи, что я тотчас.

— Ну уж кому порядочному в такую рань прийти? Артемий! — выглянула в прихожую барыня. — Скажи, что сейчас барин выйдут.

Но Артемий и сам рассудил, что никто стоящий в такое время не пожалует, а потому и не спешил.

Новый нетерпеливый звонок заставил его, однако, стукнуть подсвечником о стол и пойти отворить.

Приоткрыв дверь, Артемий чуть рта не открыл от изумления и широко распахнул ее. Перед оторопелым лакеем стоял генерал во всей парадной форме, с крестами и звездами, покрывающими едва ли не всю его богатырскую грудь.

— Можно видеть нотариуса? — спросил генерал.

— Можно-с! Пожалуйте-с! Вот контора-с!.. Барин сию минутою.

И растерявшись до того, что совершенно не приметил странного обстоятельства — посетитель был в одном мундире, без верхнего платья в такой мороз, — Артемий опрометью бросился за барином.

— Пожалуйте-с скорее, — зашептал он, — генерал! Важнющий!.. Вошли уж, ожидают!

— Ах, господи! Женичка, мамочка! Выручи, бога ради, выйди! Попроси минуту подождать! — отчаянно взмолился Иван Феодорович.

Евгения Гавриловна, накинув шаль, поспешила в контору. В первой комнате, довольно еще сумрачной в эту раннюю пору, действительно стоял высокий сановитый генерал.

— Извините, ваше превосходительство! — разлетелась к нему г-жа Лобниченко. — Муж сейчас выйдет. Прошу покорно сюда, к нему!.. Вот, не угодно ли присесть в кресло!

Но посетитель не двинулся с места, а только сказал:

— Я говорил господину нотариусу, когда он совершал этот документ, что попрошу сохранить

бумагу здесь. Вот она, я сам принес. Прошу передать моей дочери.

Тихий ли, торжественный голос генерала или другое что в нем поразило Евгению Гавриловну, но она почувствовала холодные мурашки вдоль спины и едва нашлась ответить:

— Он сейчас сам…

Генерал кивнул и продолжал стоять среди светлеющей комнаты.

В нескольких шагах от него, на пороге следующей комнаты, стояла так же неподвижно Евгения Гавриловна, глаз не сводила с гостя и, сама не зная почему, дрожмя дрожала.

Так через несколько минут застал их Иван Феодорович. Он спешил как мог, узнав же, кто его клиент, изумился и обрадовался, заспешив еще больше.

— Ах, ваше превосходительство, как я рад!.. Вот! Я был уверен, что вы поправитесь! Слава Богу!.. Прошу покорно, чем могу служить?.. Пожалуйте присесть…

Но генерал не внял и его просьбам, продолжал стоять, где был, и повторил вновь почти дословно свою будто бы заученную речь:

— Я вас просил сохранить этот документ. Я принес его сам… Прошу вас, господин нотариус,

лично передать его в руки дочери моей, как только узнаете о моей смерти.

«Батюшки! Что ж это с ним?.. В рассудке ли? Какой странный!» — думал Иван Феодорович.

— Помилуйте, ваше превосходительство, зачем такие черные мысли?.. Бог даст, теперь скоро совершенно будете здоровы, уж если доктора вам выходить разрешили, — говорил он в то же время.

Генерал молча протянул ему маленький сверток.

«Зачем это он так скомкал бумагу? — изумлялся про себя нотариус, развернув и расправляя знакомое духовное завещание. — Свихнулся, ну право же свихнулся, сердечный! Верно, на мозг бросилось!» А сам продолжал громко:

— Не угодно ли вам написать адрес? Вот мы положим в конверт, запечатаем… — И нотариус все это проделал, искоса поглядывая с возрастающим недоумением на неподвижного генерала. — Вам самим не с руки?.. Так извольте продиктовать мне имя и фамилию вашей дочери.

Иван Феодорович присел бочком на стул своего помощника, обмакнул перо в чернильницу и уставился на генерала Дрейтгорна в ожидании.

Генерал сказал явственно:

— Передать немедленно дочери моей, Анне Юрьевне Борисовой.

Лобниченко написал: «Анне Юрьевне, госпоже Борисовой»; а сам, подняв вновь удивленный взор на раннего посетителя, спросил:

— Как же — немедленно? Прошу прощения, мне послышалось, что вы изволили сначала приказать отдать им… в случае вашей кончины?

Генерал утвердительно наклонил голову и пошел к выходным дверям.

Нотариус бросился было за ним в прихожую, но генерал властно протянул руку назад, как бы воспрещая проводы. Иван Феодорович прирос к месту.

Когда посетитель притворил за собою дверь, нотариус опомнился и закричал:

— Артемий!.. Шинель генералу!

Но когда мрачный лакей вынырнул из темного чулана, генерала уже не было в передней.

Артемий устремился на лестницу, сбежал в швейцарскую — нигде никого.

— Должно, здесь пальто аль шубу оставлял. И сам надел, видно, — решил Артемий. И, почесав в затылке, заключил: — Сказано же, все полоумные!

Лакей было вернулся в свой чулан, да с первых

ступеней его окликнул разносчик с газетами.

— Захвати-ко, брат, вам «Новое время»…

— Давай! — протянул за газетой вниз руку Артемий да вдруг, сам не зная с чего, спросил: — Не видал генерала?

— Какого генерала?

— Да вот от нас сейчас вышел.

— Что ты, брат, очумел? — хладнокровно отвечал разносчик. — Нешто генералы в этаку рань бегают по улицам? Это нас только гоняют!

«Чудно!» — почему-то решил Артемий, медленно отсчитывая ступени.

Евгения Гавриловна наконец завершила распоряжения и сборы на Сенную и стояла уже в шубе, окутывая голову платком сверх шляпки, когда явился помощник ее мужа и писаря заскрипели перьями.

— Как же вы так поздно, Петр Савельевич? — слышала жена нотариуса укоризненные замечания Ивана Феодоровича. — Я же вас просил вчера не опаздывать!

— Помилуйте, да нынче вряд ли дело будет, — возражал помощник. — Ведь никого же еще не было?

— А вот и были! Да еще какой важный клиент!.. Генерал Дрейтгорн привозил на хранение свое ду-

ховное завещание, что тому два дня я ему делал.

— Что-о? — протянул помощник. — Да ведь, говорили, он вчера скончался.

— Вот еще! Мало ли чего говорили. Сам нынче доставил… Давай сюда!

Артемий подал хозяину внесенную в эту минуту газету.

Иван Феодорович Лобниченко взял ее и, против обыкновения минуя первый лист, сам не зная, чем руководствуясь, прежде всего остановился на обычной веренице черных рамок. Пробежав траурный список, он вздохнул, будто облегченный.

Тут из коридора, уж вся окутанная, вошла Евгения Гавриловна и первым делом, тоже совсем несообразно со своими привычками, наклонилась к газете и спросила:

— И кто умер?

Они и по сию пору оба, муж и жена, не перестают дивиться: что на них тогда напало? Как могла им прийти, казалось бы, такая невозможная, такая дикая мысль?

Но тем не менее факт остается фактом.

— Кто умер? Да многие, матушка. Кому час пришел, тот и помре! — шутливым тоном отвечал ей муж.

«Нарочно», — как он впоследствии сознавался,

а совсем не потому, что шутить хотелось.

И говоря это, нотариус медленно оборачивал газету первой страницей вверх, притворно смеющимися глазами засматривая в лицо супруги.

Это когда-то красивое, да и ныне еще миловидное, несмотря на погромы лет и некоторое излишество жиру, лицо было дорого Ивану Феодоровичу, как и во дни его первой молодости. И вдруг это милое, спокойно приветливое лицо на глазах его вытянулось, побледнело, исказилось ужасом и застыло широко открытыми глазами на первых столбцах «Нового времени».

— Что?.. Что такое, мамочка?! Женичка, тебе дурно? — в страхе восклицал нотариус, стараясь обхватить несколько пространную для полного обхвата талию жены поверх салопа. — Петр Савельевич, голубчик, воды!..

Евгения Гавриловна замотала головой и, все еще не находя голоса, могла лишь поднять руку и, уронив указательный палец на объявление во главе газеты, многозначительно постучать по широкой траурной рамке.

Муж ее и любопытно приблизившийся помощник нотариуса прочли одновременно:

Ольга Всеславовна Дрейтгорн с душев-

ным прискорбием извещая о кончине супруга своего генерал-лейтенанта

ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА ДРЕЙТГОРНА,

последовавшей вчера, 22 декабря, в половине первого пополудни, покорнейше просит родных и знакомых…

И прочее…

Далее они читать не стали, а поглядели друг на друга вопросительно.

— «Последовавшей вчера»! — выразительно повторила Евгения Гавриловна и, перекрестившись на икону, молитвенно прибавила: — Упокой, Господи, душу раба Твоего!

Перекрестился за ней и Иван Феодорович, поник седой головой в небывалом раздумье.

Через минуту помощник неуверенно проговорил:

— Кого ж это он вместо себя присылал?.. С завещанием-то к вам сюда.

— Кого?! — вскинул на него глаза принципал. — А не знаем! Бог знает!

И тут же, выйдя из конторы в свои комнаты, супруги сговорились не только от своей Женички хранить в тайне это казусное происшествие, но без нужды и вовсе никому о нем не рассказывать.

Но ведь шила в мешке не утаишь, да и что уж это за тайна, которую знают трое или четверо?

В тот же день после торжественной панихиды по усопшем нотариус Иван Феодорович Лобниченко, в присутствии официальных свидетелей передав пакет с духовным завещанием генерала Дрейтгорна дочери его, Анне Юрьевне Борисовой, заявил, что имеет на то личное строжайшее приказание покойного.

Ни сама наследница, ни кто другой в этом не увидали ничего особенного.

Однако со свидетелями, подписавшими завещание, и с доктором в особенности пришлось нотариусу иметь объяснение весьма затруднительное. Что мог Лобниченко показать, кроме истины?.. Как ни была она необычайна, но как возразить против очевидности? Факт был неоспорим: завещания они не могли не признать. Благо что оно, таинственно исчезнув из шкатулки покойного, оказалось у официального лица, в сохранности и неприкосновенности. Закон был соблюден, и справедливость восстановлена.

Это главное.

Но что сказала на это вдова, Ольга Всеславовна? Как она приняла появление нового завещания и все невзгоды, для нее сопряженные с ним?

Вначале, когда эта история, очень похожая на святочный вымысел, поразила и заняла всех, до кого дошли странные подробности, генеральша о ней говорить ничего не могла. После обморока, в который бедняжка упала, молясь ночью у гроба своего супруга, она заболела нервной горячкой и шесть недель была между жизнью и смертью. Поправившись, она уехала куда-то — только не за границу, — по-видимому спокойно покорившись своему положению.

Теперь, говорят, она сильно изменилась и в нравственном, и в физическом отношении: притихла, часто болеет, сразу опустилась и постарела… Всё, слышно, разъезжает по монастырям да по храмам с чудотворными иконами и служит панихиды да молебны.

Сон в руку. Святочный рассказ

Глава I

Было 24 декабря. Снег валил хлопьями с утра, а к вечеру приморозило, и луна ярко светила с проясневшего неба, когда мы с мужем вернулись домой, усталые и проголодавшиеся.

Нам приходилось устраивать свое хозяйство наново в городе, где я родилась и провела все свое детство, но который оставила давно и не видала много лет. Мы едва успели поселиться, когда подоспели праздники. Даже в сочельник, кроме разъездов для необходимых праздничных закупок, пришлось нам побывать на нескольких мебельных складах — не экономии ради, а лишь потому, что я обожаю старинные вещи.

Однако, несмотря на усталость, выпало мне еще поработать до позднего обеда; я терпеть не могла беспорядка, и надо было указать самой, куда ставить вновь купленные вещи. Когда двое людей внесли тяжелую старинную кушетку красного дерева на львиных ножках и со львиною головой, свирепо глядевшей из-под мягкого штофного подлокотника, я с минуту колебалась. Вещица была куплена для кабинета мужа, но оригинальный фасон ее, удобные изгибы, всё вплоть до

своеобразного рисунка серой обивки, расшитой пестрыми шелками, — мне так понравилось, что я попросила уступить ее мне. Я представляла, как удивительно приятно полежать на ней в часы досуга, в dolce far niente [27], с книгой в руках; помечтать в сумерки, любуясь огоньком в камине, а не то грешным делом и подремать, уютно прислонясь к ловко выгнутой мягкой спинке.

Муж смеялся над моей фантазией.

— Этот прадедовский диван так велик, — уверял он, — что займет всю твою уборную. Да и прежде необходимо сменить обивку: крысы съели всю бахрому!

— И это очень жаль, — отвечала я. — Бахрома и старый штоф на нем прекрасны!.. Деды и бабушки наши понимали истинный комфорт и вкус имели изящный. Я уверена, что эта кушетка вышла из хорошей мастерской. Обивать ее наново я не стану, это было бы святотатством! А просто велю подновить бахрому и кисти.

Итак, громоздкая кушетка водворилась в моем кабинете — комнате, которую муж мой, не признававший необходимости письменных занятий для жены, упорно именовал уборною. На стену

---

[27] Сноски: 27
Сладостное безделье (*ит.*).

над кушеткой я прибила лампу с матовым абажуром, собственно для удобства моих чтений.

Звезда, путеводительница волхвов, давно просияла на морозном небе. Постные щи и кутья были уж поданы и стыли; человек два раза приходил докладывать «кушать подано», а у меня все еще находилось то одно, то другое дело, я продолжала устраивать и переставлять вещи, то отходя, то снова возвращаясь. Я бы не медлила, если б не уверенность, что Юрий Александрович занят: я слышала голос мужа в другой стороне дома; все равно пришлось бы ждать его. Но среди хлопот и возни меня начинало интересовать, почему он, такой всегда пунктуальный, медлит и на кого сердится? Голос становился раздраженнее и громче; муж с кем-то имел крупное объяснение…

Любопытство превозмогло голод. Я оставила свою комнату, но вместо столовой прошла к мужниному кабинету и остановилась у дверей в недоумении. Я знала, что ничего не совершаю беззаконного, — у нас не было тайн. Через полчаса он сам рассказал бы мне, в чем дело.

Я услышала незнакомый мужской голос, который авторитетно говорил:

— А я утверждаю истину! Жена ваша не имеет прав на этот капитал. Он завещан прадедом ее,

князем Рамзаевым, наследникам его старшей дочери лишь на тот случай, если по истечении пятидесяти лет не окажется наследников его меньшого сына, князя Павла Рамзаева. Наследница князя Павла существует, как я имел уже честь докладывать: это мисс Рамсей, внучка его, дочь родного сына.

— А я вам говорю, что все это ложь! Вас самого обманули какие-то авантюристки, которые надеются с помощью созвучия фамилий воспользоваться чужим капиталом! — сердито возражал мой муж, меряя большими шагами неустроенный еще кабинет между связками бумаг и книг, разложенных по полу, открытыми ящиками и зияющими шкафами. — Доказательства должны бы сохраниться, но их нет!

— А кольцо? — прервал посетитель. — А печать?

— И кольцо, и печать легко могут быть украдены или подделаны и всяческою случайностью могли попасть после смерти Рамзаева к первым встречным. Должны существовать документы, бумаги, законные свидетельства…

— Но если я вам говорю, что они сгорели!.. Пожар все уничтожил, когда муж госпожи Рамсей еще был ребенком. Они в том не виноваты!

Конечно, повторяю, законных доказательств и документов на право наследства у них нет. Но — всякий по себе судит — я взялся переговорить с вами об их правах, известить о претензиях Рамсеев вашу супругу, потому что я, будучи уверен в их личностях, отдал бы им их собственность… Это достоверно.

— Не менее достоверно и то, что и я поступил бы точно так же, — высокомерно возразил мой муж, и я уже слышала в его тоне знакомую нотку гнева, который Юрий Александрович не всегда умел сдерживать, — если бы я был уверен в этом! А я не только не уверен, но вполне сознательно отвергаю всякую возможность такого казуса. Чтобы существовали законные наследники капитала, отложенного прадедом моей жены, и, пятьдесят лет зная об этом, молчали о своих правах?! Чтоб такому поверить — надо быть помешанным или…

— Или?.. Что же? Доканчивайте, милостивый государь!

— И докончу! Или надо быть самому заинтересованным в успехе этого… необыкновенного предприятия.

— Другими словами, предприятия мошеннического, хотели вы сказать? — со сдержанным

гневом прервал посетитель. — Так я должен вам сообщить…

Но тут я, в смертельном страхе за исход дурно разыгрывающегося объяснения, неожиданно вошла в комнату, чтоб прервать спор до беды.

— Обедать подано, друг мой, — сказала я супругу, будто не замечая посетителя.

Но тот сам встал и почтительно поклонился. Я увидала пожилого человека, с загорелым открытым лицом, обросшим бородою, с честными серыми глазами, прямо смотревшими в лицо каждому. Форменный сюртук подсказал мне, что он моряк — и, как было по всему видно, моряк, испытавший не одну бурю, морскую и житейскую.

Я тут же успокоилась. Пусть Юрий вспылил, но гость его не из тех, что готовы вспыхивать по первому шероховатому прикосновению. Я ответила на поклон и посмотрела на мужа, ожидая, что он назовет незнакомца. Юрий Александрович проговорил неохотно:

— Капитан Торбенко. Только что прибыл из кругосветного плавания и явился к нам уполномоченным какой-то англичанки, госпожи Рамсей, имеющей претензию быть вдовой твоего дяди, князя Рамзаева.

— Какого именно, — осведомилась я, — дво-

юродного?.. Сына дядюшки моего отца, князя Павла?

— Так точно-с, — подтвердил моряк и, повернувшись ко мне, с готовностью повторил слышанное мною из-за дверей.

— Что же, очень может быть, — сказала я. — Если это правда, то, без сомнения, дама эта или дочь ее имеют право на отложенный прадедом нашим капитал.

— Вот!.. Это именно то, что я имел честь доказывать вашему супругу, — обрадовался Торбенко, и все лицо его расцвело широкой улыбкой.

— Согласна, ведь девушка — такая же правнучка князя Петра Павловича Рамзаева, как и я!

— То есть это что же значит? — вмешался мой муж, сердито на меня уставившись. — Не хочешь ли ты по первому слову какой-то самозванки подарить ей капитал в сорок тысяч? Ведь десять тысяч князя Петра, за пятьдесят-то лет, должны возрасти более чем вчетверо.

— Во сколько бы они ни возросли, деньги эти бесспорно должны принадлежать княжне Рамзаевой, если она существует.

— Вот именно, если она существует! — гневно рассмеялся мой муж, в то время как его собеседник, не сдержавшись, радостно протянул мне

руку.

Я подала ему свою, улыбаясь.

— Я знал! Знал, что вы разделите мое мнение! — повторял моряк, пожимая мне руку, да так, что пальцы мои беспомощно хрустнули в его заскорузлых ладонях.

— Еще бы! Точно так же, как и Юрий Александрович, — добавила я. — Двух мнений о таком простом деле у честных людей и быть не может.

— Без сомнения. Только для этого надо, чтобы личности, имеющие претензию носить имя и титул твоих предков, представили свои несомненные права!

Моряк вскочил и, прямо на меня глядя, спросил:

— Вам, конечно, известны печать и герб князей Рамзаевых, сударыня?

— Разумеется! У меня и теперь хранится бабушкина печать, которую она наследовала от отца своего.

— Так вот-с. Не угодно ли вам посмотреть и решить: что это такое?

Торбенко вынул из кармана тщательно сложенную бумажку с оттиском на ней небольшой, особенно отчетливо выдавленной печати.

— Это, несомненно, герб князей Рамзаевых, —

не колеблясь подтвердила я.

Моряк чуть не подпрыгнул от восторга и повернулся к мужу, торжествуя.

— Да кто же в этом сомневался? — вскричал сердито Юрий. — Это не только печать Рамзаевых, но весьма вероятно, что она сделана именно кольцом князя Павла, как вы то утверждаете. Но что же это доказывает?.. Что кольцо, как и подобает дорогой и прочной вещи, пережило своего хозяина и служит ныне замыслу ловких особ, желающих им воспользоваться для присвоения себе чужой собственности, только и всего!.. Кольцо с печатью, подаренное князем Петром сыну своему пред отбытием в кругосветное плавание — из коего тот не вернулся и ни разу не писал, — значится даже в нашей семейной хронике. Ведь я сам немного в родстве с князьями Рамзаевыми… И прекрасно помню, как покойница-матушка моя рассказывала, что ее мать ужасно любила своего кузена, Поля Рамзаева, и чуть не заболела от горя, когда тот пропал. Будучи совсем старушкой, бабушка не могла рассказывать без слез об умилительном прощании старика Петра Павловича с уезжавшим сыном. Старый князь тогда же дал Полю гербовое кольцо, сняв с своего пальца, и ладанку с образом Петра и Павла снял с груди и

надел на сына…

— Ну вот-с, как хорошо! Вы сами изволите помнить, — прервал моряк. — Об этом образке госпожа Рамсей тоже мне рассказывала: муж ее после смерти отца носил ладанку несколько лет на груди. Ведь его также звали Петром, в честь деда…

— Так куда же девался образок? — спросила я.

— Затерялся, — добродушно пожал плечами Торбенко. — На ночь маленький князь снимал его, и вот, когда было ему лет десять, случился у них пожар, и все имущество их, включая бумаги и документы, сгорело… Вдова Рамзаева — или Рамсей, как их прозвали на английский лад в Америке, — с сыном едва успели спастись. Все погибло, погибла и ладанка. И кольцо не уцелело бы, если бы вдова князя Павла не носила его сама постоянно. В потере архива и заключается причина молчания наследника князя, Петра Рамсея. Добродушный и скромный был он человек! — с улыбкой продолжал объяснять моряк, обращаясь ко мне лично. — Утратив доказательства законности его титула, князь Петр оставил и помышлять о правах на восстановление своей личности в России.

К тому же он сжился со вторым своим отече-

ством, Америкой, до такой степени, что, пожалуй, и сам забыл бы, кто он такой, ежели бы ему не попалась публикация… Обрывок старой газеты, о которой я говорил супругу вашему.

— Но я не слышала. Какой газеты? — уточнила я, сильно заинтересованная.

— Английской газеты, в которой делался вызов наследникам князя Павла, — объяснил мне муж.

— Ах, как же, помню! Такие вызовы и заявления о капитале, положенном на имя наследников прадедушкой, много лет печатались в русских и иностранных газетах…

— Да знаю! — нетерпеливо прервал Юрий Александрович, продолжая метаться по кабинету, как лев по клетке. — Знаю!.. Чуть ли не моя бабушка — та самая, что питала романическую страсть к кузену Полю, — и следила за их выпуском. Но никто ни разу на них не откликнулся.

— Я сам читал такое заявление, — подтвердил Торбенко. — Оно хранится у вдовы вашего дядюшки…

— Что нимало не доказывает, что хранящая его особа и есть вдова князя Петра Рамзаева — Петра номер два! — насмешливо заметил муж мой. — Скажите сами, не удивительно ли, что, прочитав об этом, князь Рамзаев — если это был он — не

заявил о себе?

— Он заявлял, уж это извините!.. Рамзаев несколько раз писал на имя деда, но письма его, вероятно, не доходили. Вы сами изволили, помнится, сказать, что старый князь, пережив всех детей своих, впал в детство и в последние годы не мог действовать самостоятельно.

— Это правда, но его окружали люди честные и правоспособные…

— Его родная дочь, бабушка моя Коловницына, распоряжалась всем, — прервала я мужа. — Она, надо полагать, горевала о брате не менее его самого и радостно ухватилась бы за всякую о нем весть…

— Быть может, при жизни ее о Рамзаевых еще и не было вестей… — начал Торбенко.

Но я не дала ему договорить:

— Помилуйте! Когда бабушка умерла, ее сын, отец мой, был уже взрослый человек, и смею уверить вас: он не совершил бы дурного дела ни из-за какого наследства! — вскричала я горячо. — Если бы хоть одно письмо дяди Павла или сына его было получено, оно не осталось бы без последствий и без ответа.

— Не сомневаюсь в том, сударыня. Это доказывает лишь то, что письма князя Петра не

доходили до адресата.

— Куда же могли они деваться?

Моряк только развел руками.

— О, если бы я мог ответить на ваш вопрос, сударыня!.. Не сомневаюсь, будь у вас в руках хоть одно из многих писем, которые князь Петр, по уверению вдовы его, писал своему деду, бедная маленькая Елена Рамсей вошла бы в права княжны Рамзаевой и получила бы свое состояние.

— Елена, говорите вы?.. Ее зовут Еленой? — удивилась я. — Это тоже наше семейное имя. Так звали бабушку, так зовут и меня.

— Нимало не дивлюсь, — отвечал капитан Торбенко, пожимая плечами с добродушной улыбкой. — Отец Елены Рамсей стал чистокровным гражданином Соединенных Штатов, но его отец, князь Павел, до самой смерти своей был русским и свято хранил предания и заветы семьи и своей родины. Петр Павлович, вероятно, не раз слышал от отца рассказы о фамильных преданиях и знал семейные имена ваши. Вот вам еще доказательство!

— Которое весьма мало чего доказывает, ибо легко может оказаться случайностью, — упрямо заметил мой муж. — Да что тут! Скажу вам решительно: вашим клиенткам, капитан, могла

бы помочь только выписка из свидетельства о рождении в Америке сына у пропадавшего там и в итоге пропавшего без вести князя Павла Петровича.

— Ну, мой друг, положим, мы с тобой удовольствовались бы доказательством гораздо менее формальным, — заметила я.

— Например?

— Да например, хоть малейшим, сколько-нибудь убедительным признаком действительности существования в Америке брата моей бабушки Коловницыной. Тогда явилась бы полная возможность верить и тому, что у него остались дети. А то ведь вся семья была убеждена, что Поль просто погиб в океане или в плену у каких-нибудь дикарей…

— Оно почти так и было! — прервал меня гость наш. — Князь Павел имел обыкновение заплывать очень далеко и любил охотиться. Раз во время штиля их судно должно было простоять несколько дней у какого-то малоизвестного островка Океании, где все пассажиры и моряки только и развлекались охотой да купаньем. Тутто и пропал Рамзаев. Все на корабле сочли его утонувшим, а дело было так: он забрел внутрь острова, охотясь, сломал ногу и пролежал разби-

тый, в беспамятстве, вероятно, несколько дней. Дать знать о себе он не мог, экипаж его тщетно разыскивал, и наконец моряки ушли в полной уверенности, что Павел Рамзаев погиб. Он же остался в пренесчастном положении пленника дикарей-островитян.

— Как это они его сразу не съели? Хорошо, что не к людоедам попал! — посмеивался Юрий.

Но я нашла его иронию неуместной и продолжала расспрашивать Торбенко:

— Как же он выбрался от них? Как попал в Америку?

— Да нескоро. Не ранее нескольких лет удалось ему сбежать на какое-то суденышко, плывшее в английские владения, в Австралию. Оттуда уж его подобрали англичане, и очутился он в Соединенных Штатах… Не забудьте, что ведь это происходило более полувека тому назад, когда не только что о телеграфе, а даже и о паровых-то сообщениях не ведали!.. Что мудреного, если письма пропадали? Еще то возьмите во внимание, что князь Павел не сидел в Вашингтоне или Нью-Йорке, а забрался в такую глушь, где даже плуг и колесо бывали в редкость. А о сообщении с Европой и помышлять в тех местах нельзя было.

— Да какая же крайность его погнала в такие

трущобы?

— А самая наикрайняя-с! Голод, вот что-с. Титул титулом, а есть-то все равно каждый день надо. Да-с!.. Вот этот самый голод и погнал, верно, двоюродного дедушку вашего туда, где в ожидании наследства и без денег удавалось сытому быть. А раз попав туда, вырваться уже трудно… Там князь и женился, и умер после тяжкой, говорят, и долгой болезни… Восьмилетний сын никогда не видал отца здоровым.

— Однако сын этот должен же быть крещен и где-нибудь записан, — вмешался мой муж. — Были же и в тех американских саваннах или пампах какие-нибудь метрики и приходские книги.

— Захотели!.. Там и церкви-то никакой ближе тысячи верст тогда, может, не было. А если и было какое свидетельство, так и то погибло в пожаре, как я вам докладывал.

— Очень жаль-с! Весьма грустно для вдовы и дочери князя Петра! — иронически произнес муж мой, вставая как человек, решившийся прекратить ни к чему не ведущее объяснение. — Во всяком случае прошу вас покорнейше заявить княгине и княжне мое непременное желание передать им сполна все наследие прадеда, как только их прямое происхождение от князя Павла

Рамзаева будет несомненно доказано. Жена моя и я готовы и обязуемся исполнить волю покойного прадеда, пусть даже ей прошел законный срок — назначенное им пятидесятилетие. И своих наследников мы обяжем к тому же… Но опять-таки не иначе, как по представлении несомненных доказательств уж если не законного брака, то хоть какого бы то ни было, законного или беззаконного, лишь бы действительного рождения вашего мифического князя Петра и его потомства! А затем-с не угодно ли вам будет откушать нашего простывшего постного обеда? Думаю, щи успели превратиться в холодный винегрет. Как ты полагаешь, Лена?

Нечего и говорить, что посетителю нашему после такого заявления оставалось только поспешно откланяться, извинившись, что продержал нас голодными.

Пожимая мне с горячностью руку, Торбенко объявил, что надеется на меня, и вышел, разумеется не особенно довольный, из нашего дома.

Нельзя сказать, чтобы и мой супруг блистал кротостью расположения духа в тот памятный сочельник. Досталось всем! В особенности лакею и повару, допустившим кушанья простыть или пережариться… Я молча предоставляла гневу

Юрия изливаться; да по правде сказать, и мало слышала, что вокруг нас делалось. Я вся была поглощена только что открывшимся: возможностью существования наших американских родственников, прямых наследников угасшего в России рода князей Рамзаевых.

Глава II

Воспоминание об исчезновении единственного сына прадеда, Павла Петровича, давно обратилось в семейную легенду нашего дома. Бабушка моя, Коловницына, наследовавшая все состояние Рамзаевых, передавала сыну (моему отцу), что, несмотря на деятельные розыски брата отцом ее, на все его письма и публикации в газетах никогда не было ответа. В ней и сомнения не оставалось в смерти князя Павла и в том, что капитал, «на всякий случай» отложенный прадедом моим, со временем перейдет к ее прямым наследникам, детям ее единственного сына.

Отец мой был женат два раза, но дети его от первого брака все умерли в малолетстве. Оставалась одна я, дочь второй жены, рожденная ближе к старости отца, когда уж он не думал иметь наследников.

Я знала из наших семейных воспоминаний, что отец мой был очень несчастлив с первою женой; это была болезненная, капризная и недобрая женщина, отравившая последние годы жизни бабушки, а после смерти свекрови положительно притеснявшая дожившего до глубокой старости

отца ее, князя Петра Павловича…

Вообще воспоминание об этой дурной и несчастной женщине легло каким-то кошмаром на всю семью Рамзаевых и Коловницыных.

Мать моя, женщина чрезвычайно богобоязненная, никогда не говорила о предшественнице, но няня Мавра Емельяновна, почетное лицо в нашем доме, старушка, служившая верой и правдой еще первой семье отца моего, рассказывала мне часто тайком от родителей эпизоды из прошлого, интересовавшие меня, как всякого ребенка интересуют нянины сказки. От нее узнала я, что первая «покойница-барыня — не тем будь помянута! — нрава была крутого, своеобычного и непокладливого»; что она много сама повинна была в семейных несчастьях своих, в потере детей… «Никого покойница не любила опричь их, а их уж без ума-разуму баловала, — рассказывала Мавра Емельяновна. — Все позволяла им, ни в чем не было деткам запрету, ни завету. Вот и накликала сама на них беду…»

Отчасти это была правда. Старшая сестра моя по отцу, едва дожив до шестнадцати лет, во всем околотке приобрела славу полоумной и беспардонной сорвиголовы. И умерла-то она по своей вине. Страстная охотница до лошадей и верховой

езды, она в отсутствие отца выдумала себе забаву: сама заводских лошадей объезжала. Ну и не совладала с горячим конем: сбросил он ее на землю на всем скаку, и убилась бедняжка на месте… Мать ее чуть не умерла сама от горя, но за ум не взялась: с сыном не стала строже, а, напротив, вечно из-за него поднимала ссоры с отцом, крик и брань с няньками, гувернерами и учителями и положительно в ад превратила семейную жизнь своего мужа. Наконец и сын несдобровал: по двенадцатому году он уже курил и кутил и до того извелся, что душа в теле едва держалась. А потом вздумалось ему позднею осенью, когда уж пруды салом затягивало, искупаться; простудился, схватил горячку и умер, едва не уморив и родителей своею гибелью. Мать его не вынесла горя, заболела душевною болезнью и года через три скончалась в жестоких страданиях.

Вторично мой отец женился нескоро, лет через десять, и совершенно неожиданно для самого себя. Он так исстрадался в семейной жизни, что не хотел и думать о втором браке.

Случилось ему приехать по делам наследства в этот самый город, где жили мы теперь. Надо сказать, что город и губерния наши искони были гнездом всех князей Рамзаевых; здесь стоял ста-

рый дом бабушки Коловницыной, где отец мой провел все детство и первое время женитьбы, живя у родителей. Возвратясь на родину, отец снова поселился в этом доме, но долго не выдержал. Его мучили там воспоминания, отравлявшие счастье вторичного его брака, в который он вступил, как я уже сказала, нежданно-негаданно, тотчас по приезде сюда. За десять лет вдовства отец мой привык к переменам, к кочевой жизни; года через три после моего рождения, не довольствуясь постоянными визитами за границу, он вздумал совсем уехать. Несмотря на печаль матери моей и нежелание ее покидать родные места, дом и поместья наши здесь были проданы, а семейное гнездо перенесено в подмосковные вотчины Коловницыных. Там я взросла, там умерли мои родители, там я вышла замуж, и вот теперь, по службе мужа, пришлось мне снова водвориться на прадедовском пепелище.

Дом, где я родилась, интересовал меня чрезвычайно. Не умею сказать почему, ведь воспоминаний о нем я никаких не могла сохранить; разве по той особой привлекательности, какую сообщили ему рассказы няни Мавры Емельяновны да еще одной старой тетушки, когда-то гостившей здесь в нашей семье и упорно утверждавшей,

будто отец мой оттого тут и не ужился, что имел какие-то «видения»…

— Твой отец был оригинал и фантазер! — говорила мне эта допотопная тетушка. — Il était d'humeur fantasque et porté au mysticisme [28]; но не он один, и другие видывали в вашем доме странные явления… C'était une maison hantée, il n'y a pas a y redire! [29]

Несмотря на эти предостережения, а то и как раз вследствие их, я еще на дороге мечтала, что найму старый дом и поселюсь в прадедовских покоях. Но это оказалось невозможным: новые хозяева давно в нем не жили и в течение тридцати лет не ремонтировали его. Особняк стоял холодный, заплесневелый, наглухо заколоченный, в немом запустении доканчивая свой долгий век. При одном взгляде на него я поняла, что жить тут невозможно, и втайне подумала: если могут быть дома «посещаемые», как о нем утверждала тетушка, то именно теперь здесь удобно расхаживать на просторе посетителям-привидениям. Громко я не высказала своей мысли, зная, что муж мой, человек практический и реалист по

---

[28] Сноски: 28

[1] Он был причудливого склада и склонен к мистицизму (*фр.*).

[29] Сноски: 29

[2]Этот дом посещали привидения, но тут нет ничего плохого! *(фр.)*

образу мыслей, не любит подобных фантазий.

Однако дня два тому назад, увидав сторожа у ворот родового особняка, я не удержалась от желания хоть взглянуть на старые комнаты, в особенности на детскую, которую, казалось мне, я еще помнила.

В самом деле, в ней обнаружилась оригинальная печь с колонками и выпуклыми изразцами, которая являла собой милое воспоминание детства. С неизъяснимым чувством любопытства, печали и неопределенного страха пошла я по темным теперь, запущенным покоям с покосившимися потолками и скрипучими половицами, со старинною мебелью, сложенной и сдвинутой в бесформенные груды. При виде этих кресел, вычурных столиков и бюро с выпуклыми крышками, со множеством отделений и ящиков, у меня глаза разбежались…

— Не продается ли эта мебель? Нельзя ли купить что-нибудь из нее? — спросила я сторожа.

— Ой, нет, сударыня! — отвечал тот. — Это все заповедные вещи, господами отобранные, которые я должон беречь… Для них больше и печи протапливаю.

— Жаль!.. Я бы купила хоть что-нибудь. Дом разваливается, не то я бы его наняла. Да и мебель

все равно даром пропадает… Скажите, не знаете ли вы: это все ваших теперешних господ вещи или еще осталась между ними старинная рамзаевская мебель? От предыдущих владельцев не осталось ли в доме чего?..

— Не могу доложить вам. Может, что и найдется, да я не знаю, потому как я при доме не боле годов пяти состою. А вот, ежели угодно вашей милости, извольте у купца Барского в складах мебельных побывать. У него там этакой старины до пропасти!.. И наша барыня, когда напоследок отсюда уезжала, тоже очень много чего ему сбыла и на комиссию также отдала для продажи. А отселева никак невозможно забирать — по той еще причине, что я господ ожидаю.

— Как?.. Неужели они намерены жить в этой развалине?

— Нет-с, не жить. Прибудут сюда молодые господа отобрать, что в деревню отошлют, а что, может, сами продавать станут, не знаю. А дом никак снести желают по ветхости, а потом новый строить будут.

Юрий Александрович, который зашел в особняк вместе со мной, спешил домой, к своим занятиям; он назвал меня фантазеркой и мечтательницей и не дал даже времени все осмотреть в моем

старом доме.

— Неужели ты не боишься, что от сотрясения половиц у нас под ногами на голову нам рухнет балка? Или мы сами сквозь пол провалимся в подвал наподобие настоящих привидений, — смеялся он. — По-моему, это весьма вероятное и единственное «явление» и «посещение», которое может нас перепугать в этой сгнившей скорлупе. И признаюсь: я страшусь его гораздо более знакомства с тенью одного из наших предков.

Я согласилась, что самим провалиться или на голову принять потолок несколько страшнее, чем увидать призрак, а все-таки вздохнула о старом доме, выходя из него, и долго оглядывалась на пожелтевшие от лет деревянные стены, сожалея о том, что скоро их снесут и с ними исчезнет последняя память о старом роде князей Рамзаевых в здешних местах.

Все это я вспомнила теперь, входя после нашего бурного обеда к себе в комнату, при взгляде на мой старомодный диван-кушетку. Ведь и он принадлежал старому дому. По крайней мере, купец Барский, склад которого я разыскала по указанию сторожа, клялся мне, что купил диван еще при распродаже коловницынских вещей, забракованных новыми владельцами нашего дома. Юрий

был убежден, что это невинная выдумка старого торговца, смекнувшего из наших разговоров, в чем дело, и желавшего повыгоднее сбыть товар, который считался никуда не годным старьем. Но я склонна верить, что Барский не лгал. Мне было приятно думать, что я нашла вещь, искони принадлежавшую моей семье, что на этом диване сиживали деды мои и бабушка, и то и отец мой игрывал, будучи ребенком…

Чем более я вглядывалась в мою кушетку, тем более она мне нравилась. Мягкие спокойные изгибы так и манили прилечь… И я прилегла, опробовала свой диван и очень уютно свернулась в глубине его на нежных атласистых подушках. Так стало мне спокойно, что уж и вставать не захотелось. Я только потянулась, улыбаясь от удовольствия, когда Юрий вошел ко мне с сигарой и чашкой кофе, которые, вероятно, успокоили и его расходившиеся нервы.

Муж сел возле в кресло, тоже улыбаясь, и сказал, по обыкновению с легкою иронией в тоне:

— Ага! Первый литературно-мечтательный сеанс на допотопном самосоне?.. Прекрасно!

«Самосон» было у нас посвященное слово: термин, прилагавшийся к спокойным диванам, на которых удобно не только сидеть, но и спать,

потому что они «сами сон нагоняют».

— Да, — отвечала я, — лучше этого самосона у меня никогда не бывало.

— Ну а где ж другой атрибут, необходимый для твоего счастья? — продолжал посмеиваться Юрий. — Где книга в парижской желтой обертке со свежеизмышленными бреднями Золя или Флобера?..

— Что ты, бог с тобой! — запротестовала я. — Уж назвал бы Доде, моего единственного избранника в нынешней французской литературе… Да я сегодня и того читать не стану: ты забыл, что нынче сочельник.

— Да-да, твоя правда. Я вот отдохну полчасика — устал с разборкой книг! — а потом съездим ко всенощной. Вот бы лоб перекрестить хоть под великий праздник, а то после, как втянешься в службу, так уж некогда будет в церкви ездить, пожалуй… Ох, — потянулся Юрий и сладко зевнул, — тяжела ты, шапка Мономаха! Дел много, а лень одолевает.

— Тебе-то грешно себя в лени упрекать! Что же мне про себя тогда сказать? Я и встаю позже, и службы у меня нет, а вот тоже к самосонам большое пристрастие имею! — засмеялась я.

И, видя, что дурное расположение духа у мужа

прошло, решилась вернуться к сильно занимавшему меня вопросу.

— Но вряд ли я сегодня засну… Знаешь, это известие выбило меня из колеи.

— Какое известие?.. Ах да, моряка-то этого сказка?.. Вот уж вздор! Я бы давно забыл, если бы не отвратительный, перестоявшийся обед!

— Однако нельзя предположить, чтобы посетитель все это выдумал.

— Он ли выдумал, его ли обманули — я в это дело не вхожу и не намерен его разбирать. Надеюсь, ты меня достаточно знаешь, чтобы не заподозрить в алчности? Нам с тобой совершенно и даже более чем достаточно того, что мы имеем, а детей у нас, по всей вероятности, уж и не будет… Жадничать мне не для кого. Но зря отдавать капитал каким-нибудь авантюристкам нет у меня ни малейшей охоты! Лучше на богоугодные заведения пожертвовать.

— Ну а если в самом деле эти Рамсей и есть Рамзаевы? Как знать. Нет у них документов, положим, но согласись, что пропажа метрик — дело самое обыкновенное. Они не могут доказать нам свое происхождение, но и мы не имеем положительных данных опровергать их слова. Почему же ты так убежден во лжи американских

родичей?

— Потому что правда, будь она в их рассказах, стала бы известна десятки лет тому назад. Одно письмо могло пропасть; но десятки писем не исчезают. А поверь, мой друг, что князь Петр — я уж не говорю о Павле, действительно существовавшем и прекрасно знавшем, что семья должна искать его, что отец тоскует о нем, — не раз и не два написал бы в Россию из Америки или Австралии, где бы он там ни очутился. Если Павел не писал и сыну не завещал, кому и куда писать, то лишь потому, что никакого сына у него не было, а сам он сразу попал в такие страны, откуда несть возврата… Надо быть ребенком или восторженной мечтательницей, чтобы думать иначе и сочинять романы в нескольких томах на самое обыкновенное дело: смерть человека, погибшего более шестидесяти лет тому назад.

Я не стала противоречить, заметив в муже вновь зашевелившееся раздражение, но втайне решила, что еще повидаюсь с Торбенко и напишу его клиенткам. Юрий словно понял мои размышления:

— Поверь, я не оставил бы этого дела и сам написал бы в Америку, если бы не очевидная нелепость и фальшь. Это выдумка и шантаж,

больше ничего. Подумай сама: могли ли люди нуждаться в помощи, а то и в насущном хлебе весь век — и забыть о своем состоянии, о своих правах? Если князь Павел и предполагаемый сын его Петр были не идиоты, как могли они не попытаться восстановить свое родовое имя? Как объяснить, что в течение пятидесяти лет этот мифический Петр не только не домогался своего титула и наследия, но даже не написал ни разу? Ведь при нем и пары́, и почтовые учреждения, и телеграфы — что бы там ни рассказывал твой капитан, легковер он или мошенник, его дело! — вошли в употребление и действовали исправно. Что же мешало наследнику ими воспользоваться?

— А может, недостаток предприимчивости, равнодушие, лень, апатия, — предположила я. — Мало ли странностей в людях.

— Ну, значит, он был форменный идиот.

— Не идиот, положим, а просто человек неразумный и равнодушный к благам мирским. России он не знал — и в титуле, а может, и в состоянии не нуждался. Теперь же вдова его и дочь, как Торбенко говорит, бедствуют. Но при Петре они жили безбедно, а то и богато… Все эти права покойного князя, его русское происхож-

дение и сама Россия, вероятно, казались семье Рамсей слишком далекими, туманными, мифическими. Право, мой друг, такое предположение возможно…

— При полном идиотстве — согласен.

— Ах, какой ты! Заладил: идиотство… А хотя бы и так. Разве жена и дочь ответственны за поступки князя Петра? Почему они должны страдать…

— Князя Петра? Ты удивляешь меня, Елена, — сердито оборвал меня муж. — Уже готова формально признать этот миф? Право, можно подумать, что капитан Торбенко околдовал тебя.

— Да! Он околдовал меня своим честным лицом, правдивым ясным взглядом, убежденною речью! — ответила я. — А подумай, Юрий, если не мы правы, а он, какой ответ дадим мы за несчастье Елены Рамзаевой и ее бедной матери?

— Елены Рамзаевой!.. — развел руками мой муж. — Ну, матушка моя, час от часу не легче! Ты положительно невозможна своим невероятным легкомыслием, Hélène [30].

Юрий Александрович встал и отодвинул допитую чашку кофе. Несмотря на шуточный тон его, я видела, что в настоящую минуту лучше не возра-

---

[30] Сноски: 30
Элен (*фр.*).

жать своему главе и повелителю, а потому лишь улыбалась на его дальнейшие оскорбления.

— Да-да, — посмеивался супруг, — ты была бы весьма легкою добычей г-д Торбенко, Рамсей и К°, если б эта почтенная фирма имела дело с одной тобою. Ну так если я засплюсь, прикажи Маше разбудить меня ровно в шесть часов, и поедем ко всенощной.

— Я сама тебя разбужу, друг мой.

Муж вышел, а я улеглась половчее на своем диване, взяла не просмотренную еще в тот день газету и стала читать без разбору все, что попадалось на глаза.

Мне хотелось отвлечься посторонними фактами, но не тут-то было. Мысль моя не желала оторваться от неожиданно открывавшегося семейного романа. Буквы мелькали предо мной, и я читала, но слова не имели никакого смысла. Читая одну заметку за другой, я продолжала думать о своем когда-то пропавшем родственнике; о романической судьбе, которая могла его постигнуть, если он не тотчас погиб; о жизни его, полной опасностей, лишений, тоски по родине и семье; о постепенном отчуждении вследствие бессилия напрасных попыток, привычки и приобретения новых связей… Впрочем, если верить

моряку, Павел прожил недолго. Но вот странный человек этот сын его: возможно ли, хотя бы он и не нуждался материально, за всю жизнь не попытаться не только вернуться в свое настоящее отечество, но даже войти в сношения с родными, о которых он не мог не знать? Как не попробовать известить их, восстановить свою личность и права? Или действительно письма Петра пропадали?.. Невероятно!

А эти бедные женщины, мои американские родственницы… Всю жизнь проводят они в неизвестности, в заботах о куске хлеба, может и в нищете. О, как ждут они теперь этого добродушного моряка, своего адвоката!.. Надежды их возбуждены. Они утешают друг друга, стараются не унывать, ожидая известий из дальнего, чуждого им края, откуда должно прийти к ним спасение…

Может свалиться на них благосостояние и спокойствие: здоровье — матери, обеспечение от нужды и горя всей жизни — дочери, счастье обеим… Может! Но придет ли?.. Вернее, что не дождутся этого бедняжки, по неразумию мужа и отца обреченные на вечный тяжкий труд и страдания.

И не придет к ним желанное спасение именно

по нашей вине. По нашему недоверию, педантизму, сухости сердца и недоброжелательству… Впрочем, нет! Я бы с радостью отдала им должное, поделилась бы даже своим, если бы только знать и доказать мужу, что они не обманщицы. Но им-то наши побуждения безразличны. Какое дело им, из-за корысти и по недобросовестности или только по принципу мы овладели положением и не отдаем наследницам их собственности?

Эти размышления меня возмущали.

Я ставила себя на место американских родственниц и понимала, что они должны нас презирать и ненавидеть. У меня никогда не было детей, но я сочувствовала страданиям бедной матери, ее беспокойству за будущность дочери. Я бы искренно желала утешить, осчастливить их обеих даже гораздо более дорогой ценою, чем эти ненужные нам деньги, им принадлежащие по праву… «То есть вероятно принадлежащие им», — поправила я самое себя, вспомнив разумные доводы мужа.

Но чем более я думала о бедных страдалицах, тем сильнее хотелось мне верить правам их и убедить в том мужа. Наверняка Юрий ошибается, подозревая обман, и я всей душой верила, что так или иначе права наших заморских родственниц

будут восстановлены.

Я так утомилась, что почувствовала, как меня одолевает дремота, и не стала противиться ей, хотя все продолжала размышлять о неведомых родственницах.

«Бедная маленькая Елена! — думалось мне в сладком полузабытьи. — Ведь капитан, кажется, назвал ее маленькою?.. Бедная девочка… как же она мне приходится? Двоюродною… нет! троюродною сестрой. Неужели она так и проживет, не получив своего? И тоже промается, как отец ее и дед промаялись всю жизнь… Но то были мужчины, им легче найти работу и пропитание. А она бедная, маленькая, больная девочка…»

Тут уж не сознательные мысли, а какие-то образы, полусонные видения маленькой девочки Елены Рамзаевой начали представляться мне. Я почувствовала, что совсем засыпаю, свернулась поуютнее на мягкой кушетке и отлично заснула.

Глава III

Не знаю, долго ли я проспала, вероятно не более получаса, и проснулась вдруг, будто кто подтолкнул меня. «Всенощная!» — вспомнилось мне, и я поднялась в ту же секунду.

— Ах! Боже мой, не заспалась ли я? Надо скорее разбудить Юрия и ехать…

Против обыкновения, Юрий Александрович не заставил себя долго ждать и мне самой будить его не пришлось. Видно, и он был проникнут во сне мыслью о необходимости ехать в церковь. Пока я надевала шубу и шляпку, он вышел в переднюю, и мы очутились вместе на крыльце.

Нас тотчас охватило приятным, бодрящим холодом морозной зимней ночи. Звездное небо сияло особенно ярко. Луна не показывалась, но не было темно, потому что все на земле как-то само собой светилось… Мне очень нравилось такое необыкновенное сияние. Я шагала под руку с мужем и радовалась, что ему пришла благая мысль пройтись пешком в такой чудесный вечер. Такое с ним бывало редко, а я любила ходить и двигалась так легко, что не отставала нимало от Юрия, хотя он шел очень скоро, большими шагами.

— Куда ж это ты, милый друг? — спросила я, заметив, что мы миновали церковь.

— А разве ты не рада пройтись? — отвечал муж. — Ночь так хороша!.. Мы обойдем через сад, так будет гораздо лучше.

«Не пропустить бы всенощной», — хотела я сказать, но не успела…

Не успела от изумления.

Мы входили в темный городской сад. Таинственная тишь стояла под сводами аллей. Могучие деревья сплетались ветвями над нашими головами, еле вздрагивая от ночного ветерка и перешептываясь кронами, сквозь которые кое-где проглядывали, ласково мигая нам, звезды.

Я бывала днем в этом саду, но никогда не замечала, как чудно он хорош. Правда, стояла зима… Но теперь тут чудные развесистые деревья! И какою свежестью, каким таинственным спокойствием переполнен весь сад!

Мы шли молча, долго… Казалось, этим аллеям с лучистыми просветами конца не будет, но я не чувствовала усталости. Во мне словно разлилась удвоенная сила. Эта живительная ночь и воздух действовали на меня возбудительно.

— Знаешь ли ты, куда я веду тебя? — вдруг спросил меня муж.

— Не знаю, но здесь чудо как хорошо!.. Какой большой сад, какая густая чудесная зелень!

— Сад хорош, но не в нем дело. Сейчас мы выйдем отсюда, и ты увидишь свой бывший дом. Тогда ты не имела времени хорошо осмотреть его, так полюбуйся им теперь. Погляди, как он ярко сияет.

В самом деле, я увидала, что мы подошли к ограде сада, а за нею, прямо против ворот, за площадью светился всеми окнами наш бывший старый дом.

Что это значит?..

«Ах да!.. Наверное, приехали хозяева, — вспомнились мне слова сторожа. — Но зачем такое яркое освещение и все окна открыты, так что все внутри дома сияет, как в фонаре?»

— Разве им не холодно? — спросила я мужа. — Ведь, кажется, теперь зима?

— Какая зима, бог с тобою! Разве не видишь ты, как все здесь цветет и сияет?..

И Юрий повлек меня через пустую темную площадь, все скорее и скорее, туда — к моему дому.

Тут я сообразила, какой вздор говорю. Что такое лето или зима?.. Там, где мы находимся, нет и быть не может никаких времен года.

Вот уж мы у самого дома. Он выходил на пло-

щадь углом. Все, что происходило в угловой комнате, было насквозь видимо прохожим, но на площади, кроме нас, не было ни души.

Мы подошли к самому окну той комнаты. Я тотчас ее узнала: здесь я недавно любовалась старинною мебелью. Но теперь мебель эта была не свалена в груду, а чинно, в строгом порядке расставлена в просторной комнате, по-старинному освещенной не лампами, а тяжеловесными бронзовыми подсвечниками и бра. И все в этом кабинете смотрело как-то официально, богато, но не по-нашему. В высшей степени заинтересованная, я внимательно рассматривала убранство, гравюры по стенам, тяжелые кресла и столы с золоченными арфами, с львиными ножками — и вдруг чуть не вскрикнула от удивления. Кушетка!.. Моя кушетка! Та самая, которую я накануне купила на мебельном складе Барского. Диван — или двойник его — стоял у стенки против громадного письменного стола, рядом с дверями.

— Посмотри, — сказала я мужу, — вот пара моему дивану-кушетке. И обивка такая же, только новее…

Я не успела договорить. Дверь отворилась, и в комнату вошла молодая женщина.

Она поразила меня своим странным нарядом, а

еще более — сосредоточенным, злым выражением красивого лица.

Оно будто целиком сошла со старинного портрета со своим высоко поднятым шиньоном, короткой, перетянутой под грудью талией платья и легким голубым шарфом… Позвольте!.. Ну да, точно: я видела такой портрет и знаю эту молодую сердитую даму. Но… что ж это она делает?

Дама быстро подошла к письменному столу, украдкой оглянулась, словно боясь быть застигнутой, наклонилась к лежавшим на виду бумагам и письмам и, быстрыми кошачьими движениями перебрав их, схватила одно, а потом, еще сердитее нахмурив брови, гневным порывистым движением сорвала с послания конверт.

Сама не знаю, как это сталось, но я следила за движением ее глаз по строкам и вместе с нею читала письмо. И по мере того, как я читала и смысл мне уяснялся, я чувствовала, что сердце мое сжимается и холодный пот проступает на лбу…

Ведь вот оно, именно оно, необходимое мне доказательство!.. Я хотела закричать, отнять письмо, но не могла ни двинуться, ни пошевелить языком. Я точно окаменела и смотрела с тоскливым ожиданием, что будет дальше.

Молодая женщина прочла и гневно подумала

— да-да, подумала; я читала и письмо, которое она держала в руках, и мысли, пробегавшие у нее в голове…

Дама подумала: «Отнять у детей моих состояние? Не позволю!.. Чтоб этот выживший из ума старик оставил нас, своих законных наследников, ни с чем, в пользу этих вновь проявившихся внуков, заморских князей Рамзаевых, — не бывать тому!»

И она поднесла было письмо к горевшей свече, но в эту минуту раздались шаги. Сжечь листок молодая женщина не успела, а только нервно сжала его, скомкала в руке и быстрым движением сунула в карман.

Но злая красавица так спешила, что промахнулась: в карман письмо не попало. Я видела, что оно скользнуло на пол и осталось на ковре…

Тогда произошло нечто смутное, в чем я впоследствии никогда не могла отдать себе ясного отчета.

В комнату вошли новые лица. Пожилая женщина, бодрая еще, высокая и красивая, с умным открытым лицом, и старец, согбенный годами и болезнью, опиравшийся на ее руку.

Я всматривалась в них с усиленным сосредоточенным вниманием и вместе с тем со смутным

чувством не то страха, не то печали. Это странное чувство заставляло сердце мое неровно биться, сжиматься и тоскливо замирать. Мне казалось, что я знаю людей этих, что они мне милы, близки… Но в то же время я не могла их назвать по именам, и мне чувствовалось, что неизмеримая бездна отделяет их от меня. В силу этого я не шевелилась, не пыталась ни окликнуть их, ни указать на комок бумаги, лежавший у их ног, хотя прекрасно сознавала, что это и есть тот важный документ, в котором заключается вопрос жизни и смерти для детей и внуков моего исчезнувшего когда-то дяди.

Смутное состояние сказывалось на мне все сильнее.

Я напрягала всю силу воли, чтобы смотреть на обитателей дома, все видеть и слышать, что они говорят между собою. Неопределенное сознание внушало мне, что я напрасно любопытствую, что оживленный разговор странных лиц, действовавших предо мною, не касается интересующего меня предмета, что мне излишне его слышать, но я все-таки напрягала слух и зрение.

Напрасно!.. С каждой секундой они отдалялись, и на меня словно нисходили туманные покровы. Сладкая истома, тихое пение и звон окружали

меня. Казалось, я отделяюсь от земли, становлюсь легче воздуха и неодолимая сила уносит меня за собою куда-то в даль, в высь, в пространство, все дальше и дальше от старого дома, от этих необыкновенных людей, столь мне близких и вместе с тем далеких от меня.

Последними лицами, виденными мною в угловой комнате нашего дома, были двое детей и молодой человек.

Девочка лет пяти с красивым капризным личиком, похожим на лицо молодой женщины, желавшей сжечь письмо, вбежала и бросилась к матери с просьбой или жалобой, которых я не слыхала; крошечный мальчик заливался смехом, сидя на плече высокого господина, который внес ребенка в кабинет, широко распахнув дверь…

Но при взгляде на этого красивого стройного молодого человека я громко закричала. Хотя между нами уже расстилался туманный покров, я мигом узнала в нем своего отца в молодости…

Вскрикнув, я словно свалилась с ужасной высоты.

— Что ты?.. Господь с тобой, Елена! — услышала я встревоженный голос мужа. — Вот уж пять минут я стою над тобой и напрасно стараюсь разбудить. Ты во сне стонешь, кричишь и не

можешь очнуться…

Я приподнялась и вопросительно смотрела на Юрия.

Так вот в чем дело: я спала!.. Все это мне привиделось. Но с какой поразительной ясностью!

Мне и теперь решительно казалось, что я видела не сон, а живых людей. Я еще чувствовала их близость, полную реальность их существования, невидимое их присутствие возле себя. Я не могла опомниться от яркости впечатления и, едва собравшись с мыслями, хотела было прервать восклицания все еще дивившегося надо мною мужа и рассказать ему свое видение, но тут сам Юрий Александрович заговорил последовательнее, с усмешкой очень неопределенною.

— Скажи, пожалуйста, уж не сны ли какие-нибудь вещие тебя тревожили на этом допотопном ложе? — спросил он, вынув изо рта сигару и глядя не на меня, а в сторону. — Так мы с тобою и проспали всенощную-то…

Досадно!

— Я, верно, очень долго спала?

— Да, всенощная уж всюду отошла. Ну, делать нечего. А я, знаешь ли… Престранная вещь! Я видел во сне твой диван…

Я даже встала от изумления.

— Ты тоже его видел?!.

— Как — тоже? Разве он и тебе привиделся?

— Отчасти… Но неважно. Скажи, пожалуйста, как же ты видел мой диван?

— Престранно! Я видел его точно таким же, но новее и не здесь, не у тебя. Он привиделся мне будто бы там, в вашем старом доме, на площади…

Я приросла к месту и едва ли не открыла рот от изумления.

«Там же! В том же доме, вероятно в той же угловой комнате!» — проносились мысли в моей голове.

Но прерывать мужа я не хотела.

— Да, — продолжал он, — престранный сон!.. Представь себе, привиделось, будто мы с тобой не то идем, не то летим через какой-то большой прекрасный сад и вдруг видим дом…

— Наш старый дом, ярко освещенный! — не выдержав, прервала я. — И мы остановились под окнами…

— Ну да! Почем ты знаешь? — изумился Юрий Александрович.

— Уж знаю… Постой, мой милый, не говори: я сама скажу дальше. Мы с тобою стали под отворенным окном угловой комнаты и увидали там сначала одну даму, одетую в старинный ко-

стюм, какие носили в начале века. Потом вошли другие лица: пожилая женщина и старик, двое детей и…

— Нет-нет, только старик и девочка… Но, послушай, Елена, как можешь ты знать?.. Это слишком странно. Неужели и ты видела тоже?..

— Бога ради, я скажу тебе все, но продолжай теперь. Все-все рассказывай, это и в самом деле слишком важно!.. Говори дальше.

— Ну вот, видишь ли, мне сначала и правда показалось, что из этой комнаты вышли какие-то люди, но я их не различил, а когда сон мой прояснился, в кабинете у большого письменного стола сидел в вольтеровском кресле один старик, а против него, вот на этой самой кушетке-самосоне, примостилась маленькая девочка лет пяти-шести…

— Черноволосая? С хорошеньким, но капризным лицом? — прервала я.

— Пожалуй, да. Как это, однако, странно!.. Неужели и тебе такая же пригрезилась?

— Продолжай, продолжай! — вскричала я, в высшей степени заинтересованная и изумленная. — Я опишу свой сон после.

А сама подумала: «Я видела начало семейной сцены, Юрий — продолжение… Это ясно».

— Да моему сну сейчас конец, — скучным тоном отозвался Юрий Александрович.

Он напрасно думал обмануть меня притворным равнодушием. По шаткой походке мужа, по нервному подергиванию плеч я видела, что он далеко не спокоен. Да ему и не давалось лицемерие: он то и дело сбивался с хладнокровного иронического тона и, увлекаясь, рассказывал с жаром, гораздо более естественным в данном случае.

— Мой сон недолог, но очень странен, — продолжал муж, пожав плечами. — Представь себе, что я смотрел на этого старика и на эту девочку будто на своих, на близких мне людей. Смотрел внимательно, с каким-то странным чувством захватывающего интереса, словно ожидал и знал, что вот сейчас произойдет нечто важное, особенное… И вот еще: никто мне этого не сказал, но я вдруг сам узнал, что этот старик — твой прадед, князь Петр Павлович Рамзаев…

— Так было и со мною! — вскричала я.

— Погоди! Погоди, — остановил меня Юрий. — Вот что всего удивительнее: я читал, я знал его мысли…

— Как и я… Что ж он думал?

— Ах, он думал… Что он думал?! — вдруг рассердился Юрий и заходил, заметался нетерпеливо

по комнате. — Я убежден, что наши сны — лишь результат давешнего свидания с тем полоумным капитаном!.. Просто впечатление от его россказней, от басни о княгине и княжне Рамзаевых да об американском князе Петре Павловиче… Какая глупость!

Муж так рассердился, что даже прервал свою речь, гневно стукнув рукой по столику, отчего все безделушки на нем зазвенели.

— Ах, разумеется, — поспешила я согласиться, — кто ж будет верить снам? Тем не менее все это интересно своей оригинальностью. Так почему ж не рассказать?.. Говори, прошу тебя. Что было дальше?.. Ты видел мысли старика — о чем же думал он?

— Ну да, я видел, что старик именно думает о них. То есть не собственно о них, а о своем пропавшем сыне, — спокойнее заговорил Юрий, пройдясь несколько раз и с улыбкой недоумения вновь остановившись предо мною. — Он думал, что, если князь Павел не погиб, то он должен быть очень несчастен; что, может статься, у него теперь семья, и сын Павла, родной внук старика, юный князь Рамзаев нуждается, голодает… И старик сокрушался, а я глядел на него и сам мучился, жалея его… Ей-богу, ведь приснится же история!

Просто смешно. Я так понимал его чувства, так разделял его горе, будто сам их испытывал с ним заодно. Удивительная вещь эти сны!.. Откуда берется их реальность? Ведь вот, слава богу, когда проснулся и рассказываю тебе, вполне сознаю, что это вздорный сон, а между тем старческое лицо и теперь передо мною, и мне и теперь его жаль… Ведь вот глупость-то!

— Глупость, понятно, — умиротворяющим тоном отозвалась я. — Ну и что ж дальше случилось?

Юрий Александрович отвечал не сразу. Он сначала походил, подумал, потом остановился посреди комнаты, развел руками и полусердито-полусмешливо произнес:

— Дальше совсем потеха!..

— Юрочка, да расскажи же! — взмолилась я. — Что ж ты один потешаешься!.. Говори скорее, что дальше-то было?

— Дальше-то самое удивительное и самое нелепое! — вскричал он. — Вообрази себе, что я будто бы увидел у ног старика, под столом, какую-то скомканную бумажку и вдруг понял, что в ней — всё!.. Понимаешь? Все самое важное и нужное для вразумления и успокоения этого старика, князя Рамзаева. Я не мог отвести глаз от этого

смятого комка бумаги. Мне ясно виделось, что в нем ответ на все недоумения князя, и стоит ему наклониться, поднять, прочесть письмо — и конец недоразумениям, горю и страданиям. И ты представить себе не можешь, душа моя, как я хотел сказать об этом старику!.. Я силился закричать, указать ему, внушить мое знание — но ничего не мог. И представь себе, Hélène…

Юрий до того увлекся, что, забыв обычную сдержанность, склонился к дивану, на котором я сидела, и, крепко ухватив меня за плечо, принялся размахивать другой рукой и продолжил:

— Вообрази себе только, как я обрадовался, когда эта маленькая девчонка, эта правнучка его вероятно, вдруг кубарем свалилась вот с этого самого дивана, нагнулась и подняла скомканную бумажку, письмо внука старика, молодого князя Петра Рамзаева…

— И отдала ему? — вскричала я.

— Какое! Не отдала совсем, негодная девчонка! А еще больше скомкала, подбросила как мячик, поиграла и вдруг, упав во весь рост на диван, вытянула руку и сунула бумажку вот сюда. — С этими словами муж мой для нагляднейшего объяснения с маху засунул руку между глубокой спинкой и сиденьем моей старой кушетки…

Чрезвычайно заинтересованная его рассказом и пораженная совпадением нашего двойного сна, я горела желанием рассказать Юрию начало своего видения и собралась вскочить и закричать: «А послушай теперь, что мне привиделось!» — но слова замерли у меня в горле.

Юрий медлил подняться, тяжело налегая на плечо мое, а лицо его приняло такое странное и даже страшное выражение, что я перепугалась.

— Что с тобою, мой милый?.. Тебе дурно?! — закричала я, с ужасом вглядываясь в мужа.

Он молчал, да вряд ли и слышал мой вопрос, потрясенный неожиданным впечатлением. Но я немного успокоилась, видя, что Юрий приподымается…

Муж встал, но был очень бледен и смотрел не на меня. Растерянный взгляд его был устремлен на собственную руку.

Следуя за направлением его глаз, взглянула и я, а взглянув, громко вскрикнула, пораженная: в руке Юрия была измятая бумага — комок слежавшегося, пожелтелого, как пергамент, старого письма!..

Рассказывать ли далее?

Это было одно из посланий покойного князя Петра Павловича, моего двоюродного дяди, к

своему престарелому деду.

Одно из многих посланий, стараниями первой жены отца моего не дошедшее до адресата. Бедная женщина, зорко оберегая интересы детей своих, их самих сберечь не сумела…

Я убеждена, что так удивительно привидевшаяся нам с мужем девочка и была та самая старшая сестра моя, что умерла в ранней молодости сорок лет тому назад.

Чудесно найденное нами в прадедовском диване письмо вполне восстановляло истину: в нем юноша Петр Рамзаев извещал деда, что женится на дочери пастора Стивенса. Княгиня Рамзаева и была та самая Екатерина Стивенс, а моя новая кузина Елена — меньшая и ныне единственная ее дочь…

Нечего и говорить о радости их заступника капитана Торбенко, которому мы поспешили в тот же вечер сообщить о нашем двойном сне, удивительной находке и полной готовности возвратить наследство прадеда по принадлежности.

На следующий, светлый и праздничный день Рождества Христова мы телеграфировали госпоже Рамсей. Через три месяца княгиня Рамзаева с дочерью Еленой уже были в России нашими дорогими гостьями, а через год мы искренно

сошлись и полюбили друг друга, как и подобает добрым родственникам.

Прадедовский диван у нас в большом уважении и почете. Так как у меня нет детей, я завещаю его кузине Елене и надеюсь, что не только она, но дети ее и внуки будут беречь и любить старинную вещицу, которая так верно и честно сохранила им права и достояние.

Из стран полярных. Святочное происшествие

Ровно год тому назад довольно большое общество собралось провести зимние праздники в деревенском доме — вернее, в старом замке богатого землевладельца в Финляндии. Этот замок был редким остатком капитальных, старинных построек наших прадедов, заботившихся о благосостоянии своих потомков более нас, грешных, да и, поистине сказать, имевших на то более средств и более времени, чем наше разоренное, вечно спешащее поколение…

В замке сохранилось много примет древней роскоши и праотцовского гостеприимства. Мало этого, были замашки средневековых обычаев, основанных на традициях, на суевериях народных, наполовину финских, наполовину русских, занесенных прежними хозяйками, их родством и многочисленным знакомством с берегов Невы. Готовились и елки, и гадания, и тройки, и танцы — всякие общеевропейские, местные и даже чисто всероссийские вспомогательные средства для увеселения праздного избалованного обще-

ства, которое предпочло на этот раз «лесную, занесенную снегами трущобу», как называл свои владения хозяин дома, городским увеселениям. В старом доме имелись и почерневшие от времени портреты рыцарей и дам — именитых предков, и необитаемые вышки с готическими окнами, и таинственные аллеи, и темные подвалы, которые легко было бы переименовать в подземные ходы или мрачные темницы и населить привидениями, тенями отшедших героев местных легенд. Вообще, старый дом представлял неисчислимое множество удобств для романических ужасов, но в этот раз всем этим прелестям суждено было пропасть втуне, не сослужив службы читателям: они в настоящем рассказе не играют прямой роли, как могли бы играть в святочном происшествии.

Главный герой его — с виду весьма обыденный, прозаический человек; назовем его… ну, хоть Эрклер. Да! Доктор Эрклер, профессор медицины, полунемец по отцу, совсем русский по матери и воспитанию; по наружности тяжеловатый, обыкновенный смертный, с которым, однако, случались необыкновенные вещи.

Одну из них, по уверению его, самую необычайную, он описал небольшому кружку слушателей, окружавших его в боковой комнате, в то время

как в больших залах и гостиных шумное общество, возвратившись с катания, собралось чуть ли не танцевать.

Доктор Эрклер, оказалось, был великий путешественник, по собственному желанию сопутствовавший одному из величайших современных изыскателей в его странствованиях и плаваниях. Не раз погибал с ним вместе: от солнца — под тропиками, от мороза — на полюсах, от голода — всюду! Но тем не менее с восторгом вспоминал о своих зимовках в Гренландии и Новой Земле или об австралийских пустынях, где он завтракал супом из кенгуру, а обедал зажаренным филе двутробок или жирафов; несколько далее доктор чуть не погиб от жажды во время сорокачасового перехода безводной степи под 60 градусами солнцепека.

— Да, — говорил он, — со мною всяко бывало!.. Вот только по части того, что принято называть сверхъестественным, никогда ничего не случалось. Если, впрочем, не считать таковым необычайную встречу, о которой сейчас расскажу вам, и действительно несколько странных, даже могу сказать — необъяснимых ее последствий…

Разумеется, поднялся хор требований, чтоб Эрклер рассказывал скорее.

— В тысяча восемьсот семьдесят восьмом году пришлось нам перезимовать на северо-западном берегу Шпицбергена, — начал он повествование. — Пытались мы переплыть оттуда к полюсу летом, да не удалось: льды не пустили. Тогда решили попробовать добраться с помощью салазок и лодок для переплывания трещин, но и это не удалось! Захватила нас темь — беспробудная полярная ночь; льды сковали пароходы наши в бухте Муссель, и остались мы отрезанными на восемь месяцев от всего живого мира. Признаюсь, жутко было первое время! Особливо когда на первых же порах поднялись бури и снежные вихри, а в одну ночь ураган разметал множество материалов, привезенных нами для построек, и разогнал на погибель сорок штук оленей нашего стада.

Все, кроме главного вожака нашей экспедиции, всегда готового к лютой смерти на пользу науки, очевидно приуныли. Голодная смерть хоть кого обескуражит, а ведь олени, привезенные нами, были главным plat de résistance [31] против полярных холодов, требующих усиленного согревания организма питательными элементами. Ну, потом

---

[31] Сноски: 31
Основное блюдо (*фр.*).

полегчало, свыклись. Да и пристрастились к еще более питательным местным яствам: моржовому мясу и жиру. Выстроила наша команда из привезенного леса домик на две половины: для нас, то бишь для троих наших профессоров и для меня, и себе самим; деревянные навесы для метеорологических, астрономических и магнитных наблюдений и сарай для уцелевших оленей. И потекли наши однообразные, беспросветные сутки, почти не отделяемые на день серенькими сумерками. Тоска бывала порою страшная!.. Так как из наших трех пароходов двум предположено было вернуться в сентябре и только прежде времени восставшие ледяные стены заставили остаться весь экипаж, то все же надо было соблюдать изнурительную экономию в пище, в топливе, в освещении. Лампы зажигались только для ученых занятий; остальное время мы все пробавлялись Божьим освещением: луною да северными сияниями. И что это были за чудные, несравнимые ни с какими земными огнями, величественные сияния — кольца, стрелы, целые пожары правильно распределенных лучей всех цветов!.. Особенно великолепны были лунные ночи в ноябре. Игра света месяца на снегу и ледяных скалах поражала!.. Такие бывали волшебные

ночи, что глазам не верилось, и жалелось порой, что нельзя перенесть эти небесные фейерверки в страны населенные, где было бы кому ими любоваться.

Вот раз в такую-то цветную ночь — а может, и день, ведь с конца ноября до половины марта рассветов у нас не было совсем, мы и не различали, что день, что ночь… Ну, вот раз смотрим мы — кто наблюдения делает, кто просто любуется дивным зрелищем, — вдруг в переливах ярких лучей, заливавших алым светом снеговые пустыни, вырисовывается какое-то темное движущееся пятно. Оно растет и будто распадается на части по мере приближения к нам. Что за диво!.. Словно стадо зверей или куча каких-то живых созданий бредет по снежной поляне. Но звери здесь, как и все остальное, белые. Кто же это?.. Люди?!

Мы не верили глазам! Да, кучка людей направлялась к нашему жилищу. Оказалось, это более полусотни охотников за моржами под предводительством Матиласа, хорошо известного в Норвегии ветерана-мореходца. Захватило их льдом, как и нас.

— Как вы узнали, что мы здесь? — изумились мы.

— Нас провел старик Иоганн, вот этот са-

мый, — указали нам моржеловы на почтенного беловолосого старца.

Ему бы, по правде, на печке следовало сидеть да разве лапти плесть, а никак не в полярные моря на промысел ходить… Мы так и сказали, дивясь к тому же, откуда узнал старец о нашем присутствии и зимовке в этом царстве белых медведей. На это Матилас и спутники его улыбнулись и убежденно заявили, что «Иоганн все знает»; что, видно, мы мало в северных окраинах бывали, когда не слышали о старом Иоганне, и дивимся еще чему-нибудь, когда старожилы на него указывают.

— Сорок пять лет промышляю я в Ледовитом океане и сколько помню себя, столько знаю и его, и всегда таким же белобородым, — объявил нам вожак моржеловов. — Когда я с отцом мальчишкой еще в море хаживал, — прибавил он, — батька мне тоже об Иоганне сказывал. И про своего отца и деда говаривал, что даже смолоду другим его не знавали, как таким же белым, как родные наши льды. С дедами нашими бывал он на промыслах всезнайкой, таким же и доныне все промышленники его знают.

— Так что же, ему двести лет, что ли? — засмеялись мы.

И приступили некоторые наши молодцы из команды к старцу с расспросами:

— Дедушка, сколько тебе годков будет?

— А и сам не знаю, молодчики. Живу, — говорит, — пока Бог жить велит. Годов не считаю.

— А откуда ж ты узнал, что у нас здесь зимовка?

— Бог указал, — говорит. — Сам не пойму, откуда узнал я, а знал верно. Вот и привел. На людях легче им будет.

Им-то легче, но наш набольший крепко затруднился гостями. К весне, того гляди, и нашим людям придется норвежским мхом питаться, для оленей припасенным, где ж тут еще столько ртов принимать? Однако старый Иоганн, не дожидаясь, чтобы мы свои опасения высказали, попросил только о приюте в сарае на несколько дней.

— Вот как деньков через десять настанет перемена ветра, льдины-то расступятся. Наши суденышки — не то что ваши махины: найдут себе щелки для выхода. К Христову дню будут иные у своих очагов, на родимых берегах, в Гамерфесте.

— Как так — иные? — переспросили его.

— Да те, коим Бог присудит.

— А другие-то что же?.. С ними что станется?

— А со всеми будет воля Божья! — просто отвечал Иоганн.

Старый Матилас почесал голову и вздохнул при этом:

— Видно, не всем нам родимый порог суждено переступить.

Заинтересовали меня очень, признаюсь, эти два вожака отважных промышленников. Да и не меня одного; особенно Иоганн этот. И, как увидите, недаром. Чудный старик оказался: поистине все знал! И многое такое, чего наши ученые профессора не знали и в чем не совсем уверены были. Они на рассказы Иоганна только рты разевали… Каждый день после работ призывали мы старца на свою половину, и начинались расспросы и дивования. Всего, что странный человек этот нам поведал, не передать и в три дня. Довольно того, что все его рассказы касались далеких мифических времен, допотопных, доисторических переворотов на земном шаре, давно отживших рас, фаун и флор, причем не только в его северных, но и в тропических странах.

Наш почтенный профессор В**, зоолог, ботаник и антикварий, то и дело подпрыгивал от изумления, определяя научные теории и гипотезы,

которые узнавал в рассказах удивительного старца… Тот говорил о погибших материках, о катаклизмах, изменивших лицо земного шара, породы животных и людские расы, так определенно, с такою уверенностью, как будто сам был очевидцем этих переворотов многих и многих тысячелетий. На расспросы наши, как, откуда он все это знает, Иоганн пожимал плечами и, кротко улыбаясь, отвечал, что и сам не понимает, Бог-де поведал.

Раз только он мне одному сказал удивительные слова:

— Вижу я все, что знаю. Вижу не оком, а духом!.. Есть у меня высочайшая семиоконная духовная башня. В нее, за облака, под девяносто седьмые небеса возношусь я и оттуда созерцаю премудрость Божью!..

Мало того, что старый Иоганн дивил нас своими рассказами, он еще более поразил всех своими сведениями о недугах человеческих, о тайных силах магнетизма, ясновидения и тому подобных — сорок лет тому назад почти неведомых науке — свойствах духа человеческого. Дня за три до его ухода от нас наш товарищ химик К** сильно заболел удушьем. Он прежде страдал астмой, но припадки несколько лет не возобновлялись, и он

считал себя излеченным. Однако новый приступ был так силен, что я считал К** погибшим, когда в комнату неожиданно вошел Иоганн.

Он явился без зову, как власть имеющий, и, к величайшему удивлению нашему, начал делать пассы над больным, сосредоточенно устремив взгляд на лицо его. Мы невольно отстранились, наблюдая… Не прошло и нескольких минут, как К** стал свободнее дышать, перестал метаться и скоро окончательно успокоился, глубоко заснув под магнетическими пассами старика.

На другой и на третий день Иоганн его магнетизировал снова и сказал, что он будет здоров.

— Надолго ли это? — спросил тот.

— Думаю, что навсегда… По крайней мере, обещаю, что припадки не возобновятся при моей жизни! — было ответом.

Все мы переглянулись. Профессору химии было под сорок всего, а Иоганн годился ему в деды. Старец будто угадал наши мысли.

— Дня же своего и часа не ведает никто. В нем волен Бог, — сказал он. — Но я имею право рассчитывать еще на довольно продолжительную жизнь.

— Неужели?! — изумились мы. — Но почему же?

— Мне так сказано… Я еще не окончил своего дела.

— Тебе это сказано там?.. — начал было необдуманно я, но не успел договорить, как собирался: «В твоей семиоконной духовной башне», — не смог выдать этих слов его, мне одному доверенных, и сам доныне не знаю почему. Что-то сжало мне горло, и язык не повернулся, словно какая-то сила окаменила его…

В ту же секунду старик взглянул на меня укоризненно и вышел.

Я догнал его на пороге нашего жилища, чувствуя, что обязан просить прощения. Ночь была дивная: в фосфорических переливах небесных сияний льды горели брильянтовыми искрами и сияли самоцветными радугами.

— Ты, дедушка, прости меня, — начал было я, но он перервал меня.

— Бог простит, — говорит. — Не ты, а я виноват, что неосмотрительно разбалтываю то, о чем говорить не приходится. Да ничего! Говори себе, рассказывай о моей башне кому хочешь, — неожиданно прибавил он, словно угадав мое намерение спросить его, — только не теперь, не при мне, чтобы не узнали люди ваши. Тогда ведь покою не дадут мне!

— Не буду, не буду! — поспешил я его успокоить. — Только скажи ты мне, любезный друг, кто тебя научил пользоваться той силой, которой ты вылечил нашего товарища?

Иоганн посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом и сначала было отвечал своим всегдашним ответом: Бог-де выучил…

Однако на усиленные просьбы мои рассказать, как он открыл свои магнетические способности, старец объяснил, что никто ему на них не указывал, а признал он их сам в себе исподволь, понемногу.

— Зачем же и хожу я на промыслы со своими? — предложил он мне вопрос. — Неужели, думаешь ты, за наживой?.. Нет, милый человек: барышей их мне не нужно. Да я и прав на них не имею, не помогая моржеловам в их трудных заработках… Опасностей промысла я не боюсь, — опять угадал он мою мысль, — нет! Не опасность пугает меня, а грех! Никогда не обагрял я рук в чьей-либо крови; никогда не касались уста мои животной пищи. Мне незачем лишать жизни тварей Божьих. Я скорблю и за других-то, что лютая нужда заставляет людей промышлять кровью и убивать творения Господни… Хожу я на промыслы и буду ходить, пока в силах, для

того, чтобы помогать и врачевать. Много раз приходилось мне пользоваться Богом данными способностями: облегчать недуги товарищей, выводить их из опасности… Вот как теперь вывел я из-под метелицы и довел до вашего жилья всю партию. А то ведь уж у нас нечем было огоньку развести, да и перекусить им, беднягам, почти что ничего не оставалось. Вас мы не объели: еще наши же люди вам промыслили запасов, а сами все же от вихрей да стужи укрылись.

А моржеловы и точно за эти дни набили нам и моржей, и медведей, и рыбы наловили большой запас.

— Вот через три дня уйдем к Серому мысу, — закончил старик свою речь. — Надо попытаться доставить мою партию по домам… тех, кому суждено уцелеть!

— А не всем суждено это? — спросил я.

— Не всем, — вздохнул Иоганн. — Я боюсь, что вернется наша ватага без головы…

— Как?.. Матилас? — спросил я, изумившись. — И это ты знаешь, старина?

— Эх, — говорит, — барин, мало что я знаю! Больше на горе свое, чем на радость… Редко, — говорит, — кому мне приходилось говорить о знаниях своих, как тебе. А тебе и таким, как ты, —

говорить мне приказано. Такие, как я, больше должны молчать, но иногда тем, кто уши и глаза не закрывает от премудрости Создателя всех сил, мы должны открываться… Пусть истина пробивается в мир хоть редкими окольными путями, пока не наступит ей время прорваться с большой неодолимой силой и ярче озарить свет, чем наши полярные ночи освещают эти Божьи чудные огни! — указал он на северное сияние.

А я, признаюсь, смотрел на старца в изумлении и не совсем доверяя. Я нарочно переспросил:

— Такие-де, как ты?.. Но разве ж ты, старина, точно какой-нибудь особенный человек?

— Да, — говорит. — По нонешним временам я особенный. Таких, как мы, теперь немного… В будущем земном круге нас опять станет больше, а ныне осталось очень мало.

— Но кто же ты такой? — не выдержал я. — Колдун, что ли?

Старик усмехнулся.

— Колдун — бессмысленное слово, — сказал он. — По крайней мере, то, что люди понимают под этим названием, ничего не объясняет, а, напротив, затемняет людские понятия. Я один из не утративших третьего ока!.. Ока духовного, которым щедрее были одарены прапраотцы

наши и которое с течением веков разовьется снова в далеких праправнуках наших, когда люди перестанут бороться с истиной, с Силой сил. И чем скорее сдадутся люди плоти, люди греха, на убеждения всесильной истины, чем скорее восторжествует воля немногих людей духа над упорством людей плоти, тем скорее человечество поймет свои ошибки. Тем полнее восторжествует свет истины над одолевшими его ныне грубыми силами праха и тлена!..

Вот смысл удивительных речей старика-норвежца, сказанных им мне в ту величавую ночь на ледяных берегах Шпицбергена, которую я никогда не забуду, — заключил доктор Эрклер свой рассказ. — Да если б и хотел я забыть старца Иоганна, он бы мне этого не позволил!

Мы, его внимательные, хотя несколько скептические слушатели, изумились и снова насторожили внимание.

— Как же так — не позволил? Чем, какою силой?

Некоторые из нас уже составили было отдельные кружки, рассуждая о странном рассказе доктора; большинство, разумеется, отнеслось к нему скептически. В особенности критически были настроены двое молодых людей: студент из

Дерпта с довольно окладистой бородой и совсем безбородый врач, только что сорвавшийся со скамейки. Теперь же, услышав это последнее заявление своего ученого собрата, юный доктор уставился на него поверх очков; за ним его бородатый товарищ и почти все остальные уставились на Эрклера.

— Как и чем Иоганн не позволил вам о себе забывать?

Почтенный доктор помолчал, потом окинул всех таким взглядом, будто мысленно вопрошал нас: «Да полно, говорить ли уж вам?..» Наконец, как бы решившись, скороговоркой отрезал:

— Да тем, что каждый раз, как мне случалось о нем говорить и поминать его удивительные знания, его загадочные силы, непременно случалось что-либо… странное! Совершенно неожиданное и необъяснимое.

Эти слова Эрклера породили неловкое молчание.

Наконец одна старушка, тетка хозяина дома, спросила:

— Что же именно: что-либо дурное, неприятное?

— Да-да!.. И с кем — с вами, доктор? — вопросил высокий, весело глядевший на всех господин,

местный мировой судья. — Или не вы один страдаете от дружеских напоминаний вашего колдуна из-под Северного полюса, а и мы все не вне опасности?

— Не беспокойтесь, — отвечал профессор, улыбаясь всем окружающим, — опасного нет ничего в визитных карточках Иоганна. Чаще бывает смешное…

— Неужели совместно с достоинством такого мага злоупотреблять своей силой, подшучивать ею над безобидными смертными, точно какому-нибудь проказнику из царства гномов? — иронически вопросил бородатый студент.

— Это недостойно современника великих праотцов и патриархов! — поддержал его юный эскулап, сморщив под очками нос в насмешливую гримасу.

— Почему же! Да воздастся каждому по делам его и заслугам, — возразила тетушка Амалия Францевна. — Иной шут гороховый и не стоит серьезного урока…

— А проучить его необходимо! — докончил Эрклер, добродушно улыбаясь. — Нет, серьезно, — продолжал он, — мне приходилось не раз вспоминать моего знакомца со Шпицбергена. В особенности наш последний разговор…

— При свете северного сияния? — прервали доктора.

— Нет, — возразил тот, — в серенькую ночь, которая, собственно, была утром… Ровно через три дня, как старец и предсказывал по излечении нашего товарища, Иоганн отплыл со своими моржеловами, пользуясь переменой ветра, разогнавшего льдины. Прощаясь, он сказал мне: «Если я вам когда-нибудь понадоблюсь, подумайте обо мне. Пожелайте сильно, всей вашей волей, всем разумом…»

— Разумом?! — насмешливо перебил юный эскулап.

— «Всей силой духа вашего, — не смущаясь, продолжал профессор медицины, — и я постараюсь быть вам полезным, а если придется, даже увидеться с вами»…

— Представ среди полымя и смрада, как Мефистофель? — широко, но не без претензии улыбаясь, вставил бородатый студент.

— «Если придется, даже увидеться с вами! — повторил Эрклер. — Но без особой нужды не призывайте меня», — говорил.

— И что же? Вы призывали?.. Вы его видели? — опять перебили доктора те же неугомонные слушатели.

— Нет, — сухо отозвался рассказчик, — не призывал, именно потому, что не было крайней нужды в его помощи. Но совершенно уверен: если призову, то увижу.

— Совершенно уверены?! Herr Professor [32], вы нами забавляетесь?

— Извините! Я только рассказываю факт: я верю в необычайные силы и способности Иоганна, во-первых, потому, что имею безумие считать наши узкие знания, вашу мелкую близорукую науку весьма несостоятельными вспомогательными средствами к постижению всех дивных могущественных сил, сокрытых в человечестве и в окружающей нас природе; а во-вторых, потому, что Иоганн не раз давал мне, причем без всякого с моей стороны призыва, удостоверения в том, что не прервал со мной духовных сношений.

Мы переглянулись, изумленные, а студент и его соумышленник весьма неучтиво рассмеялись.

— Позвольте мне окончить мой рассказ, и я перестану смешить вас и злоупотреблять вашим терпением, — серьезно отнесся к ним доктор Эрклер. И продолжал, обернувшись к другим слушателям: — Я должен еще сознаться вам, господа,

---

[32] Сноски: 32
Господин профессор (*нем.*).

что верил бы в необыкновенные способности старика Иоганна и в существование подобных ему удивительных субъектов — хотя сам не встречал других таких, как он, — по собственному убеждению возможности их бытия… Но я даже не имел бы права ему лично не верить, даже если бы вообще не допускал таких ненормальных явлений, потому именно, что все сказанное им сбылось. Вы знаете К**, нашего уважаемого профессора химии, господа? Спросите его: радикально ли он излечен от астмы. Он скажет вам, что, несмотря на последующие путешествия к северу и долгие пребывания в областях вечных льдов, не только припадки удушья его не повторялись, но он даже никогда не простужался, стал здоровее, чем когда-либо… Потом, бедный вожак моржеловов, норвежец Матилас, точно более не видал родного крова: он, в числе пятнадцати человек из пятидесяти восьми отважных охотников, которым мы оказывали гостеприимство в заливе Муссель, был задержан временно льдами на Сером мысе и погиб на охоте за белыми медведями. Возвращаясь весной в Европу, мы видели его могильный камень на пустынном берегу. Наконец, те знаменательные слова, которые дед Иоганн сказал мне на прощание — пред исчезновением

их утлой флотилии между трещинами ледяных скал, в узких проливах, образованных временно разошедшимися льдинами, — должны были бы каждого убедить в необъяснимом могуществе его, потому что он не раз выполнял свое косвенное обещание…

— А какие же это были слова? — спросила старушка Амалия Францевна, жадно уставившись на доктора.

— Вот они, — исключительно к ней обратился профессор. — Он сказал: «Я, может быть, вам буду иногда напоминать о себе». Иоганн сказал это мне, склонившись с лодки, которую уже отталкивали от берега. За ним отплыли и остальные. Я стоял и глядел им вслед, пока высокая фигура старика, стоявшего у руля кормчим передовой ладьи, не скрылась в сумерках, пока заиндевелая серебряная борода его не слилась в белесоватом тумане полярной лунной ночи, — я не мог от него глаз отвести!..

— И больше вы его не видали?

— Не видал. Но иногда…

— Что такое?.. Что — иногда?

— Иногда мне чудилось, что я… чувствую его близость, его присутствие.

И доктор Эрклер весьма красноречиво пожал

плечами, неопределенно осматриваясь вокруг…

Тут произошло нечто неожиданное.

В комнату вбежали молодые хозяева дома, необыкновенно оживленно сзывая всех:

— Что вы сюда забрались! Идите скорее! Скорее смотрите, какое необыкновенное явление на небе!.. Говорят, что это отражение северного сияния. Чудо! Чудо как красиво!.. Все небо в алом зареве и в лучах. Пойдемте скорее!

Все мы бросились вслед за убежавшей молодежью и действительно увидали в окнах дальней комнаты великолепный отблеск полярного сияния. Хозяева распорядились потушить огни в северной стороне дома, на вышке-фонарике, и те, кто не поленился туда взойти, любовались вдвойне величественным зрелищем. Несколько слушателей доктора, в том числе и я, взошли наверх и вновь прослушали целую лекцию доктора о северных сияниях. Оканчивая описание одного из таких явлений, виденных им в арктических странах, Эрклер, указывая нам на потухающий алый свет, сам взглянул в окно и вдруг, вздрогнув, умолк и припал к стеклам…

Стоя рядом, я невольно подалась к окошку, следуя по направлению взгляда доктора, и увидала среди широкой пустынной площадки пред

парком, занесенным глубоким снегом, очень высокого и плечистого человека. Он двигался от дома, словно только что вышел из него и не спеша направлялся в среднюю аллею. Дойдя до предела площадки, ярко освещенной луною, человек остановился, обернулся лицом к нам и взглянул на окно…

Мы увидали лицо очень благообразное, но совершенно обыкновенное: черты седого старика, обрамленные меховой шапкой и длинной белой бородою. Но я его видала лишь мельком, отвлеченная необыкновенным состоянием доктора, который весь дрожал и вдруг, сорвавшись с места, бросился вниз с лестницы в ту именно минуту, когда один из молодых хозяев, стоявший возле нас, удивленно произнес:

— Кто этот старик? И куда он идет? Парк теперь заперт… Откуда взялся он? Я никогда его не видел!

Немудрено… Вероятно, не один наш молодой хозяин не видал загадочного гостя ни прежде, ни после. Старика не нашел и выбежавший за ним без шапки на мороз доктор Эрклер. И кого мы ни расспрашивали о старце впоследствии — гостей, хозяев и дворню, — никто его не видел и никто не знал — кроме нашего рассказчика, профессора

медицины. Он-то знал! Да только не пожелал ни назвать человека, ни сознаться в том, что узнал старого знакомца…

Тем не менее для нас из его внезапной задумчивости было ясно, что если белобородый старик, мелькнувший нам в парке, и не был сам Иоганн, то за него был он принят профессором.

Однако появлением неизвестного старца не ограничились неожиданные события этого святочного вечера. Среди возобновившихся забав и оживления кто-то вдруг вспомнил отсутствующих друзей — юного медика и зрелого студента. Где они?.. Никто не знал. Никто не видел их с тех пор, как все мы двинулись смотреть небесное явление, отблеск далекого полярного сияния. Все думали, что и они были с нами, но нет! По строгом исследовании оказалось, что они в жару рассуждений о рассказе Эрклера не пошли вместе со всеми, а остались в той дальней комнате, чтобы договорить.

Их бросились искать. Хозяева разослали прислугу по всему дому, потом по службам, наконец по саду и парку, но нигде не нашлось ни следа медика и дерптского студента!

Вдруг на самом дальнем южном конце громадного дома послышались откуда-то сверху крики,

жалобные призывы на помощь.

Все гурьбою устремились по коридорам, по лестницам, по крутым витым ступенькам на противоположную тому фонарику, откуда мы смотрели на сияние, необитаемую и еще более высокую башню, служившую складом для всякого ненужного хлама. Из-за ее запертых на крючок узеньких дверей неслись отчаянные крики и стук: то беспощадно колотили до опухоли избитыми кулаками рассвирепевшие друзья.

— Сейчас! Сейчас!.. Слышим, идем! — кричали заключенным старавшиеся столкнуть запоры их тюрьмы — заржавевший в петле крючок, долго не поддававшийся стараниям.

И вот они оба, молодой врач и студиозус, выбрались наконец из холодной, пыльной, темной кладовушки в самом печальном виде: испачканные, промерзлые, обозленные.

— Как вы сюда попали?.. Как это могло случиться?.. Кто вас здесь запер?..

— Разве мы знаем? Черт или какой-то негодяй! — сердито закричал медик.

— Мы вышли вслед за вами, но в зале нам сказали, что все пошли наверх, — объяснил студент. — Тут в коридоре какой-то человек — старик, которого мы приняли за служителя, —

очень учтиво предложил нас проводить и пошел сюда со свечой в руке. Мы за ним…

— Да! Черт его побери! — перебил медик, весь трясясь от злости. — Мы за ним! Он, дойдя до двери, учтиво пропустил нас вперед, и — бац, крючок в петле!

— А мы — в темной западне, — закончил его товарищ.

— О, бедные! И просидели во тьме и холоде три битых часа? Но кто же, кто мог сыграть с вами такую злую шутку?! — негодовали хозяева и гости.

Да! В том-то и была задача: кто это сделал?..

Как ни разыскивали виноватого, как ни хлопотали вычислить его смущенные хозяева, ничего не вышло.

— Еще один странный случай к вашим воспоминаниям о старце Иоганне? — коварно шепнула Эрклеру старая тетушка. — Еще одна его визитная карточка?..

Но доктор только весело глянул на нее, сдерживая улыбку, и ничего не отвечал.

Джинн-падишах. Легенда Северного Кавказа

Седой старик из племени адиге стоял за нами, опершись на ружье, и, казалось, не слушал веселых речей, заглядевшись на верхушки своих родимых гор, тонувших в пламени и багрянице заката. Яркий костер, зажженный нашими усталыми, но не утомленными охотниками, картинно поднимал вверх столб дыма, выбрасывал языки пламени, вспыхивая пожаром на опушке леса вверху горы; он покрывал янтарем стволы великанов-деревьев, перебегал изумрудами и яхонтами по их листве. А внизу, в долине, в глубоких ущельях, уже воцарились мгла и ночной сумрак…

Один великий красавец снежный Эльбрус, вечно юный в своих белых и алых покровах, сиял и нежился в прощальных лучах солнца, блестящим конусом выделяясь на безоблачном небе.

Все знали, что старый черкес Мисербий помнит множество преданий своей прекрасной родины, и обратились к нему с просьбами рассказать, что видит он, о чем думает, глядя в цветистую даль

земли и в светлую высь небес. Он долго молча отпирался, медленно качая головой, но это был его обычный прием; все ждали его рассказов — и точно, дождались.

Дождались — и, по обыкновению, заслушались!

— Вы хотите знать, о чем я думаю? — грустно улыбаясь, заговорил Мисербий. — А может быть, вам не понравятся мои думы? Я человек гор! Как вольный ветер не умеет сдержать своего полета, так и горец, взросший и побелевший на гребнях скал и зеленых склонах гор, по которым он рыщет, неудержимый, и поет свои от века сложенные песни, — не может искажать мысль, не может выкидывать слова из свободных, великих сказаний!.. Что ж, я скажу вам, что думал, какие речи отцов отца моего я вспоминал, глядя на сверкающий Эльбрус.

И старец, величественно выпрямившись, как юноша, и гордо подняв голову с блистающим из-под седых бровей взглядом, протянул руку по направлению к горе. Снеговой ее конус, в эту минуту рдевший нежным румянцем, смело вырезался на фоне лазури из-за гряды золотисто-алых облаков, опоясавших его, словно лентой.

— Знаете ли вы, почему порою царь гор оку-

тывается тучами и мраком? Почему он часто потрясает небо и землю грозой и вихрями своего гнева, своей бессильной ярости? Это потому, что на вершине его, на ледяном его престоле восседает властитель духов и бездны, мощный джинн-падишах, — говорил Мисербий.

Вот что узнали мы от него в этот чудный вечер.

Грозный дух преисподней джинн-падишах искони прикован великим Тха, Творцом всей природы, за неповиновение Его святым велениям к вершине Эльбруса. Это блестящий престол, с которого джинн-падишах раздает приказания подвластным ему собратьям, но сам покинуть ее бессилен. Когда он говорит, голос его гремит, как гром небесный, будит чуткое эхо, и всё кругом отвечает ему: льды и снега потрясаются и с адским шумом и треском низвергаются в пропасти; потоки ревут и плещут брызгами на скалы; горные орлы бьют крыльями и с диким криком рассекают подоблачную высь; филины и совы отвечают глухими стонами со дна лесных ущелий, из глубины темных расселин. А порою не приказания, а вопли и стоны раздаются на снежной вершине… Тогда все умолкает и скорбит вместе с духом. В особенности прежде, века тому

назад, скорбь его надрывала сердца всем слышавшим его горькие сетования. Не на пленение свое сетовал джинн, нет! Он был страшно наказан Великим, давшим ему дар предвидения… За много столетий до появления в горах наших русских, осужденный владыка высей и бездн знал, что на место заточения его двинутся северные великаны, что придут чужие беловолосые люди и завладеют им. Он ждал покорителей из полуночных стран, где царствует вечная зима, как и в его подоблачных высотах; он знал, что оттуда, вместе с северными великанами, придет и яркий свет, который осенит его мрачное царство, проникнет в ущелья и дебри лесные, изгонит из них мирно властвовавших там с начала мира подвластных ему духов тьмы… В мучительном ожидании будущего джинн-падишах срывался иногда с престола, гремел цепями, ударами мощных крыльев потрясал горы и долины и сзывал из глубины земли и моря спящих в пучинах и пропастях духов. «Собирайтесь! — вопил он. — Собирайтесь, мои темные рати, на выручку нашего царства!.. Ратуйте против жестоких предначертаний осудителя нашего, Великого Тха всей вселенной».

Тогда умолкало пение птиц в цветущих долинах, мотыльки скрывались под увядшими

цветами, рыбки трепетали в потоках. Громче и громче раздавались богохульные вопли джинна, и вершины гор одевались туманом, гроза гремела, бушевало море, сотрясалась вся земл, и скалы стонали и раздвигались, разверзая пропасти ада. А человек, с ужасом прислушиваясь к этому хаосу, дрожал и прятался в свои жилища в ожидании великих бедствий… Но вот око Величайшего обращалось в этот край вселенной, видел Он смятение созданий своих и проникался жалостью к несмысленным. Зрел Он и постигал, что Им сотворенные боятся раба Его — создание ставят выше Создателя! — и призывал мир и спокойствие на всех, Ему покорных. И вот сонмы светлых духов окружали вершину седого Эльбруса, витали вокруг ледяного престола возмутителя и райскими песнями водворяли свет и покой вверху, мир на лице земли.

Хоры блаженных стремились пробудить раскаяние в сердце джинна-падишаха, они пели ему о сладости покаяния, о блаженстве прощения. А он, безумный, не хотел внимать им, не хотел покориться и отвечал им не слезами и мольбой, а скрежетом и сотрясанием своих цепей. Силился он захватить клочья седых туманов и черных туч и окружить ими главу свою, чтобы не видеть

и не слышать, но ангелы, духи мира и света, не допускали до этого: они дыханием своим разгоняли тучи и навевали на землю тепло и весенний расцвет.

Облака таяли в лазоревом небе, снежные вершины сияли алмазами на голубой тверди, а внизу, на земле, все оживало и обновлялось: зеленели холмы, цветы благоухали; светлые ручьи, сладко журча, орошали долины; просыпались в рощах птицы, и человек вторил их песням, выходя в поле на работы… Всюду водворялись мир, тишина и радость жизни.

А потом свершилось то, чего так боялся великий дух гор: пришли с севера властители и покорили лесные дебри и горы Кавказа. Под самым подножием джиннова трона они поселили сынов своих; провели дороги, исполосовали долины железными колеями, пустили в ход по земле и морю железных чудовищ, которые мчат к нам ежедневно новые полчища русских, оглашая ущелья, горы и прибережья резкими стонами, диким свистом, будто подражая хохоту и плачу лесных духов, будто вызывая их на бой и дразня ярким светом своих разноцветных глаз… И горные духи уходят все выше и выше, шаг за шагом уступая владения свои человеку, все печальнее

теснясь вокруг своего мрачного повелителя. А он, несчастный гордец, желавший когда-то тягаться силой и властью с Творцом своим, из преисподней ждавший помощи против своих врагов и не внявший зову блаженных, — он все сидит, угрюмо понурившись, на самой вершине ледяной горы и вспоминает те блаженные времена, когда он был близок ко Всемогущему, не замышлял еще свергнуть волю Его и выше Его вознестись… Белая обледенелая борода джинна отросла и свесилась в пропасть, все тело покрылось седым инеем, ногти выросли и впились в ледяную скалу и в промерзшее тело, а глаза горят, как раскаленные жернова, и порою мечут искры, зажигают молнии.

Завидев огонь их, христиане творят крестные знамения, а суеверные горцы ждут великих бед, произносят заклинания и спешат жертвовать дары грозному джинну-падишаху. Джигит, успевший умилостивить духа, весь год будет иметь удачу, и вражеская пуля не коснется его.

Есть по Тереку и Малке, в ущельях Зеленчука и по холмам на берегах Кубани много жулатов — башен в виду Эльбруса, — куда ходят на поклонение джинну-падишаху. Ведь мало кто может добраться к нему ближе! Кто может — едет в

путь к вечным снегам его, но видеть грозного старца, белого прадеда, невозможно. На кого сверкнет блеск его очей — тот умирает, а тому, кто осмелится тронуть пули, оружие или что-либо принесенное в дар падишаху, — горе великое! Всякий кабардинец, всякий черкес знает, что не должен касаться того, что иногда попадается в глубине какой-нибудь дикой расселины скалы, в окрестностях Эльбруса, будь то хоть кинжал, хоть ружье гораздо лучшее, чем собственное вооружение нашедшего.

Но и на пленного духа гор порою находят милость и благоволение к усердным его почитателям. Много времени тому назад был в Кабарде удалой наездник Ардулай-Нор, никогда не забывавший приносить новогоднюю жертву джинну-падишаху и никогда не жалевший отдавать ему лучшее из награбленного за год оружия. Прослышал Ардулай, что на Кубани, у князя Девлет-Магомы, известного богатыря и богача, есть красавица дочь Зейнаб-Астара. Много удальцов из княжеских и ханских родов сваталось за красавицу; много в честь ее творилось подвигов воинских, сжигалось и грабилось гяурских селений, — ничто не колебало гордости отца и холодного сердца дочери. Оба они нахо-

дили, что во всем крае от Азова до Дербента нет жениха, достойного такой невесты. Возгорелось сердце Ардулая! Не милы стали ему родные горы, леса, аулы и все их красавицы, среди которых каждая готова была с радостью выйти замуж за удалого джигита… Само наездничество и набеги потеряли для влюбленного юноши всю прежнюю прелесть. Целыми днями бесцельно бродил он по горам и лесам, а к вечеру пробирался поближе к аулу Девлет-Магомы, высматривал с горы, не увидит ли где за стеной красавицу, не блеснут ли ему глаза ее из окошка сакли. Князь жил особняком на опушке леса, под грядою скал, и с них-то высматривал Астару влюбленный в нее заочно Нор. Вот раз темным вечером сидит джигит так на своей вышке, глядит — глаз не спускает с тесовой ограды, с каменных стен просторной сакли, со старой башни с узким оконцем и широкого, поросшего травою двора. Вдруг отворилась маленькая дверь, и вышли из башни две старухи, две прислужницы и хранительницы прекрасной княжны. Вышли они и говорят между собой. Одна спрашивает:

— А что, опять старый хрыч жениху отказал?

— Опять! — отвечает другая. — Вишь, не по до-

чери его такой жених, как уздень [33] Джамбулат. Не диво отцу бранные подвиги его; не прельщает его табун лошадей, что уздень пригнал с последнего набега на Дон; не нужны все сокровища, которые жених сулит в калым за невесту… Будь ты, говорит, гостем моим, уздень Джамбулат, но мужем дочери моей не будешь!

— Ведь вот какой несговорчивый старик! — дивилась первая женщина. — Боюсь я, что нашей звездочке Астаре с таким отцом придется век в девицах вековать. Какой же кинжал разрежет ее пша-кафтан [34]?.. Разве что найдется молодец, который и впрямь у джинна-падишаха оружие для этого призаймет, как того ожидает наша княжна.

— Да, вот уже никак двадцатого жениха спроваживает князь… А самой Астаре из ночи в ночь все снится какой-то неведомый джигит, красавец, который, не спросясь отца, отгадает ее желание и с бою возьмет невесту мечом грозного повелителя горных духов.

Тут вдруг к ногам разговаривавших упал золотой червонец, за ним другой, третий, чет-

---

[33] Сноски: 33
Благородное сословие на Кавказе.

[34] Сноски: 34
Черкесский девичий корсет.

вертый…

Старухи бросились подбирать, подняли головы к небу: дивились, не звезды ли с неба падают червонцами к их ногам?.. Тогда на горе, из чащи леса, раздался голос:

— Покажите мне прекрасную Зейнаб-Астару, и я засыплю вас золотом.

Переглянулись женщины, испугались.

— Кто бы это мог быть? Уж не горный ли дух подшучивает над нами?.. Не превратятся ли эти червонцы в горячие угли, как только мы внесем их в жилье? — переговаривались они.

— А вот ты здесь постой, а я пойду в саклю посмотрю! — предложила одна.

Она ушла и тотчас же возвратилась в радости, позванивая золотыми на ладони.

— Кто ты? — спросили старухи неведомого благодетеля.

— Я засыплю вас золотом, только покажите мне княжну! — прозвучал снова голос, и снова два червонца со звоном покатились к порогу.

Тогда обе прислужницы бросились в саклю и вызвали княжну, захватив с собой и фонарь, чтоб осветить ее лицо.

— Иди! — говорили они. — На двор наш с неба сыплются золотые звезды, сестры твои!.. Они, вер-

но, хотят поиграть с тобою, прекрасная княжна. Откинь покрывало, покажи им ясные очи твои!

И хитрые старухи осветили лицо красавицы — и чуть не ослепили видом его затаившего дух Ардулая.

Пригоршня золотых со звоном раскатилась по траве.

— Видишь ли? Видишь ли, ясная звездочка наша? — закричали женщины и чуть не подрались, ползая по земле и собирая червонцы.

А Зейнаб-Астара сказала презрительно:

— Это золото! Что мне в нем?.. У отца моего мешки полны червонцев и драгоценностей. Мне нужен мой милый! Мой желанный джигит с заколдованным мечом, которому дано будет перерезать шнуровку моего кафтана.

— Он придет! Он скоро придет… Жди меня, звезда моего неба! — прозвучал страстный голос юноши из темного леса на скале.

Сердце Зейнаб-Астары затрепетало, как птичка в тесной клетке, и девушка прошептала чуть слышно:

— О, приходи!.. Приходи скорее, мой милый!

Через неделю во двор Девлет-Магома прискакал всадник, весь закованный в латы и обвешанный оружием. За ним следовали двенадцать при-

служников, тоже вооруженных по самые уши. Всадником-вожаком был Ардулай-Нор. Князь внутренне смутился, потому что накануне все его слуги и воины ушли в набег за Терек. Но Девлет этого не выказал приезжему, а гостеприимно отворил ему дверь своей кунацкой.

— Добро пожаловать, — сказал он. — Что надо тебе, славный витязь?

— Мне нужна или одна дочь твоя, или и дочь и вместе с ней жизнь твоя, князь! — ответил незнакомец.

— Ты скор на решение, — улыбнулся старый богатырь. — Но, слава Аллаху, я не из трусливых, и не отлита еще та пуля и не закален тот кинжал, которыми пронзят мою грудь.

— Быть может, так, но авось и тебя проймут двенадцать пуль сразу… Посмотри на потолок.

Глянул Девлет-Магома и видит сквозь слуховое окно, сквозь ход на плоскую крышу сакли, сквозь трубу каменную двенадцать дул винтовок, направленных в него.

— Ну и ловкий же ты молодец! — сказал он. — Вижу, ты достойный суженый моей дочери. Я решил, что отдам ее только за того джигита, который перехитрит и осилит меня самого. Ты это сделал! С моей стороны нет препятствий к ваше-

му браку, но вряд ли Зейнаб-Астара согласится за тебя выйти, если ты не выполнишь ее заветного желания…

— Какого? Говори. Я все исполню!

— Спроси ее саму. Не хочу, чтобы ты думал, будто я внушаю ей ответ.

Отец и жених миролюбиво направились на женскую половину. Там на парчовых подушках и коврах сидела красавица Зейнаб. Прислужницы окружали ее и поспешили сначала закрыть лицо девушки покровами, а потом уж впустить мужчин. Княжна приветливо приняла вошедших и промолвила голосом сладким, как весенняя песня жаворонка в поднебесье:

— Селям алейкюм, добрый витязь!.. Вижу, что ты тот самый, которого жду я давно. Но увы: рок мешает нам быть счастливыми, если ты не угадаешь и не выполнишь моего желания.

— Аллах Всемогущий и все силы Его да помогут мне в этом, Астара, звезда моей души.

— Так угадывай, — предложил Девлет-Магома, коварно улыбаясь.

Ардулай-Нор поник головою, задумался… Вдруг его осенило воспоминание о том, что сказала прислужница в памятную ночь, когда он впервые увидел свою возлюбленную. Он окинул взглядом

окружавших ее старух и узнал тех, кого осыпал червонцами. Одна из них, тоже узнав жениха по голосу, молча провела пальцем по груди своей, будто бы разрезывала ножом шнуровку…

— Я должен разрезать твой девичий кафтан, о моя несравненная!.. И клянусь, что никто не разрежет его, кроме меня.

— Да, дорогой мой суженый! Ты отгадал мое желание, но не вполне…

— Погоди! — перебил Ардулай красавицу. — Я знаю всё: я должен разрезать кафтан мечом грозного джинна-падишаха.

— Да! Да!.. — закричали все присутствовавшие. — Видим теперь, что ты воистину жених, которого ждала княжна.

А Зейнаб-Астара поднялась во весь свой стройный рост и сказала, подняв над женихом руки:

— Да будет над тобой благословение Великого Тха и да обратит Он гнев и злобу джинна-падишаха в благоволение!.. Иди, мой возлюбленный суженый, исполни предначертание судьбы, чтобы любовь моя была тебе наградой и мир воцарился над потомством нашим.

— Жди меня до десяти дней! — воскликнул Ардулай-Нор и как безумный выбежал из сакли.

Чрез минуту только клубы золотистой пыли,

ложившиеся по степи, остались от присутствия удальца-джигита и его двенадцати товарищей.

Ярко сияла полная луна в подоблачном царстве повелителя горных и подземных духов. Всюду лежали снеговые склоны, высились ледяные скалы; белые покровы сияли серебром, искрились брильянтами, и самый заиндевелый воздух, казалось, переливался мириадами алмазных пылинок.

Тишина стояла непробудная, полная. Лишь изредка раздавался треск ледника или далекий гул снежного завала, стремглав слетавшего в пропасть, и снова все умолкало и воцарялась торжественная тишина; некому было двигаться — здесь жизни не было. Разве случайно из нижней полосы скал и хвойных лесов, что растилались сине-туманной полосою далеко внизу, забегали сюда волк или желтая лиса, но и те, промелькнув по нетронутым снегам, спешили вернуться в свои берлоги и норы… Орел только, серый царь пернатых, порою взлетал, садился на ледяную вершину и гордо озирался, весь залитый блеском солнца в этой снежной пустыне, словно величаясь тем, что не боится ни стужи ее, ни одиночества.

Но это случалось днем. Теперь же ничто не

двигалось и не дышало на многие сотни верст кругом. Джинн-падишах мог дремать спокойно на своем серебряном троне, упирающемся в ясное поднебесье, с которого еле мигали там и сям бледные звезды, утопая в сиянии царицы-луны.

И джинн дремал…

Дремал, весь окованный льдом, и снились ему райские кущи, хороводы блаженных духов и вечное сияние Благого, Великого, Единого — которому он изменил, от светлых обителей которого добровольно отрекся… В полусне и забвении Джинн порой простирал руки к чудным образам прошлого, и тогда воздух сотрясался от звона его тяжких цепей, и от сотрясения их расседались ледники и смертоносные обвалы срывались в долины на горе путникам и жителям горных склонов.

Вдруг грозный властитель гор встрепенулся и с трудом приподнял отяжелевшие от инея веки. Ему почудилась близость чего-то живого…

Кто-то всходил на вершину, к подножью его ледяного престола. Скользя беспрерывно и падая, какой-то смертный взбирался в его обитель. Но джинн-падишах, хотя почувствовал присутствие человека, пока не видал его. Блаженные сны, навеянные на него благими силами, смягчили

сердце владыки темных сил. Притушив голос свой, раздавшийся раскатом дальнего грома, дух вопросил:

— Кто здесь?.. Кто тот дерзновенный, осмелившийся нарушить покой моего царства и сна?

— Я, витязь Ардулай-Нор, твой верный поклонник и ежегодный жертвователь, — долетел до него ответ.

— Дерзкий и безумный! Что внушило тебе смелость дойти до меня?

— Любовь, — не колеблясь отвечал джигит.

— Я не знаю ее! — вскричал джинн, и мощный вопль его раздался как громовой удар над головой Ардулая, и эхо ледников донесло голос вниз, в горные ущелья, а оттуда в долины и заставило многих спавших в аулах людей проснуться в страхе и многих младенцев от ужаса вскрикнуть, прижимаясь к груди матерей. — Ты видишь: земля дрожит от мановения руки моей. Дыхание мое подобно урагану. Блеск глаз ослепит и сожжет тебя, как молния!.. Уйди, безумец, и не тревожь моего горя.

Ардулай-Нор упал на колена.

— О, грозный падишах! Умертви меня во гневе твоем, — сказал он. — Мне жизнь не нужна без Зейнаб-Астары, царицы души моей, а ее я могу

получить лишь тогда, когда ты дозволишь мне на время взять один из мечей твоих в ущелье Татартуп. Там находится главный жулат, куда верные сносят тебе жертвы. Я засыплю хранилище пулями и всякими доспехами, лишь позволь мне на время взять один из твоих клинков.

— Да будет по-твоему, смертный! — отвечал, смягчившись, владыка темных сил. — Счастлив ты, что попал сюда в минуту моего смирения… Но зато скажи мне: растут ли еще хлеба, цветы и травы на земле? Родятся ли ягнята и есть ли еще счастливые семьи, где царствуют мир и довольство?..

Смутился Нор. Знал он, как и все, что по велениям Всемогущего Тха с джинна-падишаха лишь тогда спадут оковы, когда земля и твари станут бесплодны, а между людьми окончательно водворится вражда и брат восстанет на брата. Боялся джигит гнева пленного духа, но не хотел солгать. Мысленно призвал он на себя благословение Великого и смело отвечал:

— Да, великий дух! Благодарение Зиждителю, еще земля родит плоды, и семейное счастье не везде нарушилось…

Едва он выговорил эту истину, так тряхнул цепями джинн, что земля задрожала и в недрах

ее пронесся гул от страшного стона его. Заплакал пленный дух, и слезы его разлились потоками. Они были так горячи, что вековые снега таяли под ними и расседались в трещины, по которым, бурля и дымясь, жгучие слезы Джинна понеслись к подножью Эльбруса, чтобы увеличить еще более воды тех бурных потоков, которые, неистово прорывая землю и скалы, вырываются из-подо льдов в горные ущелья.

Ардулай-Нор, оглушенный и бесчувственный, был подхвачен потоком слез грозного Падишаха и потерял сознание… Но недаром призвал он на себя благословение Всевышнего: невидимые силы поддержали молодого воина и охранили во льдах, в водах и в недрах земных.

Очнулся Ардулай-Нор в глубоком ущелье реки Малки, где бродил еще накануне вечером вокруг да около жулата Татартуп, желая страстно и не осмеливаясь выбрать булатный клинок из множества ножей и кинжалов, принесенных в дар джинну-падишаху. Теперь джигит смело вскочил на ноги, протер глаза и вошел в высокую башню. Странное дело! Он помнил прекрасно свое восхождение на Эльбрус, разговор с грозным духом; помнил, как упал и был захвачен клокочущим потоком слез джинна, — а между тем остался цел

и невредим и чувствовал себя превосходно, как человек, прекрасно отдохнувший за ночь.

Теперь светало. Сизые пары поднимались с кипучей речки, а предутренний ветерок гнал их вниз по ущелью, разрывая в клочья по кустарникам и зеленым склонам. Восток алел. Гряды золотистых облачков в небе таяли, сторонясь перед восходом солнца, светозарного друга природы. Когда Ардулай-Нор вышел из жулата с тонким лезвием закаленной стали в руках, светило дня ярко блеснуло на избранном им кинжале и бросило блик на счастливое, горделиво улыбавшееся лицо влюбленного юноши.

Чрез несколько дней князь Девлет-Магома шумно и пышно отпраздновал свадьбу дочери своей Зейнаб-Астары со славным джигитом Ардулай-Нором. Много было истрачено золота, бузы и мёду на этой свадьбе; еще больше — пороху на молодецкую перестрелку поезжан [35]. Синий дым выстрелов долго еще носился над аулом, серебрясь в ярких лучах месяца, когда щедро одаренные подруги решились сдать тароватому дружке жениха его прекрасную невесту.

— Смотри, — сказал добродушно Девлет-Маго-

---

[35] Сноски: 35
Гости со стороны жениха.

ма своему зятю, — когда будешь резать шнуровку пша-кафтана кинжалом грозного старца — не порань им груди молодой жены. Такая неловкость была бы дурным предзнаменованием для будущего вашего счастья.

Ардулай-Нор только улыбнулся. Он был уверен в своей ловкости.

А верхушка Эльбруса так ярко сияла в эту ночь, будто сам джинн-падишах хотел показать, что радуется счастью новобрачных.

В Христову ночь

Бог не есть Бог мертвых, – но живых!

Светлое Христово Воскресенье в том году, как и в нынешнем, было раннее. В северных наших губерниях еще лежали глубокие снега, да и в средней полосе России, хоть и обнажились поля и днем солнышко, пригревая, кое-где уже вызывало из сочной земли богатства, прикопленные ею за зиму под пушистыми белоснежными покровами, однако пасхальная ночь была студеная. Последний осколочек луны светил в морозном туманном кругу со светлого неба, по которому мерцали нечастые, но блестящие звезды. На пригорке, отовсюду видная, окруженная рощами, деревушками, полями, по которым стлались волокна серебристых испарений, ярко сияла приходская деревянная церковь.

Туда часа уже три народ валил со всех окрестностей; теперь не только паперть, но и весь погост светился огоньками, зажженными бабами-хозяйками, которые сторожили свои куличи и крашеные яйца в ожидании молебна и выхода батюшки со святой водой. За оградой бабам, по

близости церкви, теперь уж не так было холодно; а давеча, как шли они, таща и пасхи на освящение, и своих детишек — кого за руки, а кого и на руках в сладком сне, — многие перемерзли. Кое-где еще, в овражках да в тени лесных опушек, белели застрявшие полосы снега; под сапогами, случалось, и ледок подскрипывал, а тут еще и ветер, да такой-то порою лютый, что до самых костей прохватывал, щеки и носы молодицам да малым ребятам докрасна нащипал…

Ну, теперь уж недолгонько ждать-то. Давно уж перехристосовались все в ярко пылавшей церкви. Обедня кончается; сейчас дьячок со старостой, с учителем школьным да с отставным унтером «Спаси Господи люди Твоя» затянут, и выйдет причт со святой водой над пасхальной снедью «Христос Воскресе» петь. В рядах хозяек движение; чаще засветились огоньки, каждая грошовая свечечка желтого воску теплится и славит Бога своим огоньком, сливаясь в великом море сиянья, разлитого над Русью в эту Великую ночь.

Две женщины, обе молодые, приютились за углом церкви в амбразуре окна, в виду погоста и кладбища с его лесом покосившихся черных и белых крестов, с несколькими памятниками и оградами вкруг барских могилок.

Женщины вели беседу, пользуясь тем, что с их мест все равно службы не видать. Маленькая девочка, положив головенку к матери на колени и прикрывшись полушубком, долго глядела на красные яйца, разложенные вокруг миски с творожной пасхой, представляя себе, которым яичком она разговеется, а которым с братишкой биться станет и других мно-ого яиц себе набьет, — да и задремала. А Митюха, мальчуган постарше, новые лаптишки оттоптал, бегая от церкви к мамке и обратно; он усердно утреню и обедню отстоял и обещался прибежать перед тем, как батюшке выйти. Матери этих детей другая, бездетная бабенка рассказывает, как она в кормилицах, «в городу жила», у одной из их соседок-помещиц девчонку кормила и как эта девочка — Царствие Небесное ее ангельской душеньке! — вот ровнешенько год, об эту самую светлую ночку, померла…

— И такая-то печаль, такая-то ужасть на матушку ейную, на Катерину Алексеевну, напали, — рассказывала бабенка, — что не могла она ни на похоронах, ни на поминаниях бывать. Как запоют, эт-то, «Христос Воскресе из мертвых и сущим во гробех живот даровал», она вскрикнет и хлоп на пол, где стоит… Такая-то беда да страх

с нею нам был!.. Уж не знаю, как ее ныне Бог милует, а в прошлую Пасху она так и не смогла ни одной службы отстоять. И с чего, кажись бы, этим словам ужасаться?.. Самые такие утешительные слова. А Катерина Алексеевна всё ничего, а как доходит до этого — силушки ее не хватает. «Не могу, — сказывала, — я этого слушать! Зачем для всего света Он смертью смерть попрал, и Лазаря воскресил, и всему миру жизнь даровал — а мне не захотел моей дочки сохранить? Отнял-де у меня мово ребеночка. Не услышал ни слез моих, ни молений!»

— Ишь, грех какой! — рассуждала слушавшая. — Разве ж можно Господу Богу указывать?.. Его святая воля!

— Да уж ей это все говорили — и матушка ейная, Анна Владимировна, и сестрица, барышня Лизавета Алексевна, и супруг ихний, хороший барин такой, добрый… Тоже крепко по дочери убивался, но до такого греха себя не допущал. Даже нянюшка Настасья Артемьевна — все часто говаривали и на ум наставляли, но ничегошеньки поделать не смогли. Так я от них пред Вознесением пред самым уезжала, и ни единого разочку Катерина Алексеевна ни у одной службы не побывала.

— Ожесточение, — решила ее слушательни-

ца. — Да что у ней, еще детки-то есть?

— Да в том-то и причина, что нету их! Были двое еще сынков старшеньких — оба померли. Один уже годков пяти никак был… Что ли, не помнишь, за прошлым летом бегал тут с отца Мефодия ребятенками?

— Да-да-да!.. Поди ведь, кому что от Бога: у бар не живут детки, а как при нашей бедноте, вон у Пахомкиной Анисьи, что ни год — в избе новый горлодер орет. И все живы, все есть просят!.. Научить разве ее подкинуть ребятенка барам, как приедут они в свою усадьбу? Приедут об это лето, что ль?

— Приедут! Должно, приедут. Завсегда ведь бывало, что к Пасхе приезжали… Никак отец Мефодий вышел?

Бабенка встала заглянуть, что делается в церкви, и в ту же минуту Митька подскочил со словами:

— Идет батюшка куличи святить, идет!

— Марфушка, вставай! Поп идет!.. — толкнула мать спавшую девочку, и все встрепенулось, все ожило.

Священник с крестом, кадильницей и кропилом обходил толпу, славя Воскресение Христово и кропя во все стороны.

Заря занималась. Огненная полоска с востока окрашивала выяснявшиеся облака; четвертушка луны тускнела и становилась прозрачнее, а на земле все отчетливее выступали цвета и предметы, принимая свою натуральную окраску, выделяясь яснее из белесоватых туманов холодной ночи. В промежутках пения и возгласов: «Христос Воскресе!.. Воистину Воскресе!» — слышалось другое, неумолчное, звонкое пение: по всей окрестности заливались горластые петухи, по-своему прославляя наступавшее светлое утро.

Народ расходился. Все поля вкруг погоста светились огненными точками: каждому хотелось донести Христов огонек из церкви до дому.

— Мамка, а мамка!.. А я свою свечку лучше Машутке на могилку снесу, — предложил Митюха. — Я живо тебя догоню.

— И меня возьми, Митька! И я к Машутке хочу! — взмолилась девочка.

— Ну-ну! Только не валандайтесь. Поскорее… На́ вот, Марфуша, снеси ей яичко красное, зарой под крестиком, — сказала мать, сбирая пожитки.

Недалеко отошли бабы от ограды, как уж дети догнали их, побывав на могилке прошлой осенью умершей сестры, пятилетней Машутки.

— Я ей яичко под самый крестик закопала! —

говорила девочка.

— А я свечечку в ногах, на камушке, прикрепил, — вторил брат.

— Мамка, достанет она, а?.. Поиграет яичком-то? — допытывалась Марфуша.

— Как Бог, Отец Небесный, ей дозволит, — отвечала мать. — Она тихое дите была, Божие!.. По пятому-то годочку как молитвы знала! Отче, Богородицу, Троицу — все без запиночки говорила… Ежели угодны Творцу Милосердному чистые детские душеньки, наша Машутка беспременно в ангельчиках у Него состоит, — вздохнула говорившая и, обернувшись, высвободила руку и еще раз покрестилась на церковь и на могилку дочери.

— Оттого, может, у нее, у Машутки нашей, вся могилка травкой зеленой-презеленой покрыта, — предположил Митя.

— Да, всех зеленей! — вскричала девочка.

— А у креста, по правую руку, подснежничек уж расцветает, — прибавил ее братишка. — Что белая звездочка распустился, такой красивый цветик!.. Мы его не тронули.

— Ну как можно трогать, покойничков обижать!.. С могил никому нельзя цветов обрывать, — согласилась мать и прибавила: — Беги

вперед, Митюша! Скажи бабке, чтобы на стол сбирала: как приду, так разговляться станем.

Верст за сотню от деревенской церкви эту самую пасхальную ночь одна коротала, поджидая своих от обедни, Катерина Алексеевна Арданина — та самая молодая женщина, о которой рассказывала своей соседке бывшая кормилица умершей дочери Арданиных. Катерина с матерью и сестрой выехали в деревню, по обыкновению своему, перед Пасхой; они всегда, не дожидаясь распутицы, с последним санным караваном оставляли Петербург, чтобы дышать деревенской, здоровой весной вместо сырых и гнилых испарений; муж ее, связанный службой, приезжал позже. Но на этот раз они плохо рассчитали время: ранняя оттепель так испортила грунтовые дороги, по которым приходилось ехать верст семьдесят, так быстро распустила реки, что пришлось против воли пережидать в большом уездном городе дольше, чем предполагалось по обычному маршруту. Несколько дней в этом с детства знакомом им городе Арданина с семейством, всегда проездом, живали у родной своей тетки, генеральши Мауриной — особы, пользовавшейся широкой известностью во всей губернии и далее ее как по своей благотворительности, так и по

гостеприимству.

Дом Мауриных десятки лет стоял полною чашей на главной улице родного города, еще издали привлекая внимание и величиной своей, и прекрасным садом вокруг него. В прежние годы привлекал он также и оживлением своим, вечной веселостью многочисленных обитателей, но в последнее время старушка-хозяйка угомонилась, и особняк редко блистал светом окон в обоих этажах своего нарядного фасада.

В эту холодную весеннюю ночь, однако, дом ярко был освещен с парадного подъезда: по случаю приезда гостей, сестры и двух племянниц, Александра Владимировна Маурина приготовила парадные разговения. От обедни к ней ждали многих приглашенных; в верхнем этаже, в парадных покоях, накрыт был богатый стол, отягченный всякими яствами, но нижний этаж, отданный в распоряжение Анны Владимировны и дочерей ее, пока был темен и тих…

Тихо-то в доме всюду было; даже прислуга — и та вся почти ушла по церквам встречать Светлый праздник, кто молитвой, а кто и болтовней да пересудами над охраняемыми куличами. Во всем доме оставались один лакей в передней, старая экономка да горничная приезжих, специально

оставленная ради услуг Катерине Алексеевне, упорно не желавшей идти к утрене. Арданина, едва оставшись одна, поспешила разрешить прислужнице идти куда угодно: наверх ли, болтать с экономкой, или совсем из дому. Ей это было совершенно безразлично, лишь бы ее никто не тревожил в столь тяжкую для нее ночь. Прощаясь с матерью, Катерина постаралась ее успокоить своим наружным спокойствием; она прикинулась хладнокровной, усталой, уверила всех, что тотчас же ляжет спать, а к их возвращению из церкви встанет, выспавшись, бодрая и готовая разговляться с аппетитом…

Она и в самом деле собиралась так сделать, да как-то не пришлось. Что за толк ложиться в постель, чувствуя, что не заснешь? Сна не было и в помине у молодой женщины, мучимой воспоминаниями, бурными чувствами, тревожными вопросами… Катерина Алексеевна ходила по комнатам нижнего этажа долго, до устали. Сначала она прислушивалась к шуму на улицах, к радостной праздничной суете, долетавшей извне, к быстрым шагам спешивших в храмы, к стуку экипажей, изредка гремевших в одном направлении, к собору, куда поехали и ее домашние. Собор стоял довольно далеко, над рекою;

Арданиной он был хорошо знаком, и она могла представить себе ясно всех, кто там был теперь, и все, что происходило внутри. Она и представляла — не намеренно, а невольно представляла, обращаясь мыслью к матери, к близким своим, свет и ликование, которое готовилось и в соборе, и в десятках других церквей округи, в богатых и бедных храмах по всей земле русской, в сотнях тысяч христианских собраний по всему лицу мира в эту торжественную, светлую ночь.

Да! Она была светла и радостна для многих — но не для Катерины Алексеевны. Не для таких, как она, Богом отверженных! Отверженных — за что?.. Она ль не была верующей? Она ль, как сказано в Писании, с детской верой в милость Божию не обращалась к Господу как к любящему, милостивому, всемогущему Отцу, твердо убежденная, что Он заранее знает, что ей нужно, о чем она молит, и не подаст ей камня вместо хлеба, скорпия вместо яйца… О чем она молила Бога? Не о чуде из ряда вон! Она молила лишь сотворить для нее то, что Он и без мольбы зауряд творит для многих, для всех: сохранить ее дитя, ее дорогую, страдавшую, болевшую крошку — единственное утешение матери, единственную надежду!.. Вот ровно год назад точно так же все

вокруг Арданиной ликовало. Большой город весь в свете и радостном настроении готовился встретить великий праздник Воскресения. Вот так же стояла она у окна и прислушивалась к первому торжественному удару колокола в Исаакиевском соборе, как сейчас слышала первый соборный звон, возвестивший и здесь начало воскресного служения окрестным церквам. Только там звон был несравненно громче, величественней и торжественней; как гром Божьего слова, как истинный благовест во спасение и в жизнь, в ликование исполнившегося обетования: «Просите, и дастся вам» — отдался он в сердце молодой женщины, переполненном верой, надеждой, любовью!.. Над столицей вспыхнул отблеск мгновенно осветившихся храмов; разнесся радостный гул трезвона, спеха, веселой суеты. А в их доме была тишина, царила скорбь болезни и печали — но Катерина Алексеевна не верила их продолжительности. Она себя настроила на милость Божию: в ее сердце горел свет веры, радость упования на несомненную, верную помощь воскресшего Христа… Мать болящей девочки упала на колени пред киотом, горевшим в ярком свете лампады, поверглась ниц перед изображением воскресшего и все воскресившего и молилась

Ему: «Боже! Милостив буди мне, грешной! Боже! Ты взял у меня сыновей моих, дал мне великую скорбь жизненной с ними разлуки! Боже, верую, что есть жизнь вечная, воскресение из мертвых в будущей жизни… Но Ты, Богочеловек, знающий скорби людские, воскресивший Лазаря, воскресивший дочь Иаира, воскресивший единого сына молившей Тебя матери, — Господи, яви и мне Твое милосердие! Воскреси и мою болящую дочь!.. В этот великий час Твоего возвращения к жизни возврати и ей, и мне вместе с нею жизнь, здоровье, счастье. О, Христос всемилостивый и всемогущий! Знаю, что Ты слышишь меня, знаю, что видишь скорбь мою, и на Тебя Единого уповаю! Верю, что поможешь дочери моей, спасешь ее, оживишь!..»

И с этими последними словами, слыша, что кто-то идет, Катерина Алексеевна встала и отерла слезы, готовясь идти к болевшей малютке, готовясь увидеть ее спокойно спящей, готовясь возблагодарить Бога за выздоровление дочки, — и на пороге увидела свою мать…

Старушка, вся в слезах, протягивала ей руки, и Катерина услышала печальный голос ее:

— Не ходи туда, милая! Лучше здесь, вместе, помолимся о нашем ангеле, отлетевшем от нас в

жизнь вечную.

Арданина сначала не поняла, не хотела, не могла понять матери. В жизнь вечную?.. Какое дело им до той, вечной жизни, когда ее девочка должна вернуться к жизни земной!

— Она не может вернуться, она умерла! — повторяли ей…

И точно: дочь ее умерла в те самые минуты, как она так свято веровала, что та выздоровеет… Что ж это значит? Зачем же такой обман?.. «По вере вашей дастся вам», «Толцыте, и отверзется»… Обрывки мыслей бушевали в мозгу несчастной, негодующие бурные сомнения терзали ее с такой неулегающейся силой, что ей казалось: не выдержит, заболеет. Она и желала болезни, забытья! Но они не дались ей: она не заболела телом к облегчению своих нравственных страданий, нет. Весь год она мучилась ими и не находила ответов на жгучие сомнения, на скорбные вопросы: надо ли верить? надо ли надеяться? надо ли ждать разрешения печалей, воздаяния за терпение, за упование, наперекор рассудку?.. Катерина считала теперь упование и надежду добродетелями, противоречащими здравому смыслу. Она не могла с тех пор молиться, не могла без внутреннего содрогания видеть иконы, осве-

щенные лампадой, слышать служения в храмах церковного пения… Они возмущали ее, казались лицемерием, ложью. Прежнюю свою спокойную, светлую веру Арданина считала обманом чувств, увлечениями восторженного легковерия… Верить! Слепо верить, когда все вокруг человека так беспощадно, так очевидно опровергает иллюзии людские, так убивает любую возможность надежды и веры!.. Ребенок малый — и тот видит всю нелепость человеческих самообольщений.

Катерина Алексеевна устала бродить по сумрачным, еле освещенным комнатам. Она подошла к стеклянной двери на балконе, посмотрела на палисадник, отделявший дом от улицы, и опустилась в мягкое кресло.

За стеной пробило два часа.

«Уж поздно ложиться. Дождусь своих», — подумала Арданина.

Задумчиво стала она всматриваться в светлую ночь за окнами. Рамы уже были вынуты; балконная дверь отворялась свободно. За нею безлистные деревья ясно вырезались на чистом небе, освещенном луной в последней четверти и мигавшими там и сям звездами. Палисадник выходил не на главную улицу: та шла сбоку, вдоль подъезда и большого сада, а здесь проходил

пустынный переулок, на котором и днем мало было движения. Арданина приложила руку к голове — она у нее с утра болела.

«Пройтись разве?.. Может, полегчает на свежем воздухе?» — подумала она и встала, чтобы надеть теплую шаль.

За дверью балкона, совсем близко, вдруг блеснул огонек.

«Неужели уж возвращаются из церкви? — мелькнул ей вопрос. — Кажется, еще рано?.. А впрочем, тем и лучше, скорее спать ляжем».

Женщина оделась, толкнула дверь и вышла на крыльцо. Ее охватил холодный воздух, запах прелых листьев и свежей земли, только что очищенной от снега и посыпанной песком и толченым кирпичом по дорожке, огибавшей весь дом из палисадника в сад, во двор и к подъезду. Арданина сошла на дорожку и начала быстро ходить вдоль этой стороны дома, между пустыми клумбами и подстриженной сиренью, маскирующей забор. Несчастная хотела ходьбой заставить себя успокоиться, не думать, забыться, но мысли не слушались, всё возвращались к тому же, и горькие чувства не хотели ей дать покоя. Болезненно сжималось под влиянием их сердце, а голову будто стягивал огненный обруч.

Звон, веселый звон стоял над городом и раздражал Арданиной нервы.

«Чего трезвонят? Чего радуются?.. — думалось ей, и презрительно сжимались губы ее в скептическую улыбку. — Сами себя тешат, как малые дети, будущей радостью. Нет-де ныне счастья, — будет потом, придет и для нас, сиротливых и беспомощных, радость!.. Воздастся-де всем по заслугам, так будем же страдать и терпеть молчаливо, радостно славя Бога, в чаянии благ воскресения и жизни будущего века… “Блажен, кто верует, — тепло ему на свете!..”» — вздохнула она. Вот поют они теперь и повторяют в радостном самозабвении: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» — ярко представилось ей церковное служение.

Катерина Алексеевна в порыве чувств остановилась даже и громко прошептала сама себе торжественную песнь, которой христианское человечество славит животворящее Воскресение Господне…

И снова мелькнул огонек за палисадником ограды.

«Что там за огонь? Кто это стоит за решеткой с зажженной свечей?.. Столько времени уже мель-

кает. Надо взглянуть», — решила она.

И подошла к решетчатой калитке.

Оттуда, из пустынного переулка, к ней протянулась маленькая, худенькая, детская ручка со свечечкой из желтого воска.

— Христос Воскрес! — тихо вымолвил ребячий голосок.

Арданина отступила от неожиданности.

— Кто тут? — спросила она и посмотрела за калитку.

Там стояла маленькая девочка, прислонившись к столбу, просунув руку между зелеными прутьями решетки.

— Господи! Как ты сюда попала, девочка?.. Крошечная такая! И так легко одета, не прикрыта почти что!.. Тебе не холодно?

— Не холодно, — отвечал ребенок и опять протянул ей свечу. — Христос Воскрес, барыня!..

— Воистину Воскрес, детка, — машинально отвечала молодая женщина и взяла из крошечной холодной ручонки догоравшую свечу. — А это что?..

Вместе с желтой свечечкой в руке Катерины Алексеевны оказалась зеленая нежная веточка с белой звездочкой цветка.

— Откуда у тебя такой цветочек, милая? Спаси-

бо!.. Погоди, и я тебе яичко дам. Подожди меня, миленькая.

Быстро вошла в дом Катерина Алексеевна, машинально задула свечу, веточку опустила в стакан воды, стоявший на ночном столике, и, взяв в ящике его из приготовленных там хорошеньких яиц для христосования со знакомыми детьми розовое мраморное яичко, поспешно возвратилась с ним к садовой калитке.

— Вот тебе, девочка, розовое яичко. Завтра будешь им играть! А теперь иди скорей домой, милая. Боже мой, как тебе, должно быть, холодно!.. Ты в одной рубашоночке и босая… Как это тебя мать так пустила?

Девочка взяла яичко, не глядя, сжала его в руке и вздохнула.

— Тебе холодно? Хочешь, я тебе дам платочек? — спросила Арданина, удивляясь, что в такую холодную погоду маленького ребенка, почти неприкрытого одеждой, ночью одного пустили на улицу.

— Мне не холодно! — неподвижно глядя на барыню, ответило дитя.

— Но с кем ты пришла? Как ты здесь?..

— Одна.

— Из церкви, верно?

— С погосту…

— А где ж ты живешь? Близко?

— Я не живу, — так же тихо и бесстрастно выговорила девочка.

— Близко живешь? — переспросила, не расслышав, Катерина Алексеевна.

— Я не живу! — повторила девочка явственней.

Арданина посмотрела на нее внимательно, жалостливо подумав: «Неужели бедняжка идиотка?»

— Иди скорее домой, — сказала она. — Где твой дом?

— У меня нет дома…

— Как?.. Так где же ты живешь?

— Я не живу! Я лежу, — явственно сказало дитя.

— Лежишь?.. Как лежишь? Отчего?

— Я лежу на погосте… На кладбище.

— Господи помилуй!.. — Арданина отступила, чувствуя, что холодеет. — Ты живешь на кладбище? Твой отец, верно, сторож?

— Нет, я не живу, я лежу там! — упорно повторяла девочка.

— Зачем же ты… лежишь? Разве ты больная?

— Нет, я не больная. Прежде была больная,

когда здесь жила… Теперь я умерла — и лежу!

«Сумасшедшая!» — в ужасе решила Арданина. Но все же, руководимая различными чувствами и любопытства, и страха, и жалости, продолжала говорить:

— И долго ты здесь хочешь стоять?.. Войди в комнату, ведь ты замерзнешь.

Девочка покачала белокурой, гладко расчесанной головкой.

— Я скоро уйду, — сказала она.

— И куда же ты пойдешь?

— На кладбище.

— Что ж ты там будешь делать?

— Лежать! — был ясный и бесстрастный ответ.

Никак не удавалось сбить ребенка с этой уверенности. Арданина в сильном волнении, почти в испуге, начала доказывать малютке:

— Зачем же ты будешь лежать на кладбище? На кладбище лежат мертвые, а ты живая…

— Я не живая, я мертвая! — заявила тотчас девочка.

— Да какая же ты мертвая, девочка, Бог с тобой!.. Мертвые не ходят, не говорят, не едят, — убеждала Арданина.

— Я и не ем! — покачала головой ее странная собеседница.

— Да, но можешь есть!.. Вот ведь ходишь и говоришь. Как же ты можешь разговаривать, если ты мертвая?

— Я и не могу, — прошептал ребенок. — Я здесь не могу, если мне не велят…

— Велят?.. Кто же тебе велит? Здесь не можешь?.. А где же можешь? — бессознательно повторяла Арданина.

— Не здесь… Там могу, — неопределенно отвечала девочка.

Но Катерина Алексеевна, убежденная, что имеет дело с маленькой юродивой, уже не слушала ее, думая свои горькие думы.

«Вот, — думалось ей, — также “справедливость”, “высший разум”! У несчастных бедняков живут помешанные дети, идиоты от рождения, а моя девочка — вымоленная, желанная — умерла!»

Тяжкая горечь подымалась со дна ее наболевшей души.

Девочка все стояла неподвижно за сквозной калиткой. Занимался рассвет; движение на улицах усиливалось: народ возвращался из церквей.

«Надо попросить кого-нибудь из тетушкиных людей проводить бедняжку до дому, — подумала Арданина. — Ее, верно, кто-нибудь знает».

За углом послышались шаги. Оттуда показался высокий пожилой человек в чистой холщовой рубахе и с окладистой седой бородой, красиво расчесанной лопастью. Он шел прямо, мерно и остановился лишь у самой калитки. Катерине Алексеевне показалось, что она знала этого красивого старика. В том ничего не могло быть удивительного: она многих старожилов знала в этом перепутном для них городе.

Он поклонился и сказал, как и девочка:

— Христос Воскрес, барыня!

— Воистину Воскрес! — и ему ответила Арданина и сказала, указывая на девочку: — Не знаете ли вы, чей это ребенок?

Старик посмотрел и сказал:

— Знаю. Это из нашей деревни, старостихи Марфы дочь.

— Ах! Как я рада. Так не возьметесь ли вы ее довести до дому, до матери?.. А то бедняжка попала сюда как-то одна, верно из церкви забрела. И ведь она, кажется, юродивая, — тихо сообщила Арданина.

— Божие дитя! — выговорил старик.

— Да вы послушайте, что она про себя рассказывает.

Арданина снова обратилась к ребенку:

— Девочка, откуда ты?

— С погосту, с кладбища, — повторил тотчас ребенок.

— Что ты там делаешь?

— Лежу.

— Ты живая?

— Нет… Я мертвая!

Но тут прохожий старик прервал ребенка:

— Не дело, дитятко, сказываешь! Разве у Бога есть мертвые?

— У Бога нет! На земле есть, — без запинки отвечала девочка.

— Ну так и пойдем к Богу, Машутка! — предложил старик и взял ее на руки.

Ребенок радостно прильнул к его плечу. Прохожий поклонился низко и сказал:

— Прощайте, сударыня! Помяните в молитвах Мануила Геронтьева и младенца Марию.

И мерным шагом старик пошел вперед с ребенком на руках и скрылся за поворотом переулка.

В ту же минуту стук экипажа раздался у подъезда, дом осветился, и горничная появилась на крыльце.

— Пожалуйте, Катерина Алексеевна, разгавливаться!.. Маменька, тетушка от обедни приехали. А уж я испужалась: искала вас, искала!.. А вы

вот где!

Арданина машинально, вся под влиянием изумления и еще какого-то жуткого чувства, сути которого она не могла бы определить, вернулась в дом. Она вошла к себе в спальню, чтобы оправиться, а сама все думала, какой странный старик сейчас говорил с ней. «Девочка эта… Ну, девочка юродивая, но старик — не страннее ли еще он, чем этот ребенок?» И где она знала его?..

— Сударыня! Пожалуйте, коли не почиваете! Маменька сами хотели вас проведать, да тетенька не пустили: послали меня, — раздался в дверях голос старой экономки, бывшей крепостной их деда и бабушки. — Христос Воскрес, сударыня!

Катерина Алексеевна вздрогнула: и она?.. В третий раз в эту ночь она слышит это приветствие… И в третий раз, разумеется, должна ответить: «Воистину Воскрес!» — и похристосоваться со старушкой, когда-то нянчившей ее на руках…

Вдруг Арданину осенило соображение, и она спросила:

— Скажите, Марина Яковлевна, вы знаете старика Мануила Геронтьева?

— Нашего-то бывшего управляющего? Как же, сударыня. Да я думаю, что и вы его помните… В деревне, куда вы ехать изволите, двадцать лет

хозяйство вел. У дедушки вашего правой рукой состоял. Обстоятельный, честный человек был!.. Маменька ваша, помню, еще все его бородачом называли, потому как редкостная у него борода была.

— Ах, то-то же я его узнала!.. Я сейчас была в палисаднике — голова у меня болела, так я пройтись вышла, — а он мимо в переулок шел и мне поклонился.

— Это… кто такой? — переспросила экономка.

— Да Мануил Геронтьев…

Старушка отступила в испуге.

— Сударыня! Никак этого быть не может!

— Почему?.. Я его видела. Говорила с ним.

— С нами крестная сила!.. — перекрестилась Марина Яковлевна. — Да ведь Мануил Геронтьев вот уж скоро двадцать лет как помер! Вам и десяти годков, почитай, не было, когда он, вскорости после дедушки вашего, скончался.

Катерина Алексеевна не упала в обморок. Она только страшно побледнела и опустилась в кресло, поскольку у нее подкосились ноги. Однако она заставила себя сказать:

— А!.. Ну так я, разумеется, ошиблась. Скажите маме, что я сейчас… Сейчас приду. Дуня! Дай, пожалуйста, одеколон.

Арданина подняла глаза на столик, ища склянку с одеколоном, и снова вздрогнула, увидав белый цветок в стакане и свечку желтого воска рядом с ним.

Вот! Значит, не бредила она, не сон все это!.. Господи праведный, Господи всемогущий! Кого же это она видела? Кто были те старик и девочка?..

Катерина Алексеевна встала, будто приподнятая посторонней силой: между стаканом с белой звездочкой подснежника и желтенькой изогнутой свечечкой она увидала… яичко розового мрамора! То самое яичко, которое она отдала девочке, которое та унесла с собою…

Так как же здесь оно?.. Кто и когда его сюда положил?!

Рука Катерины Алексеевны Арданиной, не творившая крестного знамения ровно год, со дня смерти ее дочери, сама собою поднялась и осенила чело крестом.

«Помяните в молитвах Мануила Геронтьева и младенца Марию», — вспомнилось ей.

И еще раз она сознательно перекрестилась.

С той Христовой пасхальной ночи она вновь обрела силу и способность молиться и надеяться, и никогда не забывала на молитве поминать завещанные на веки памяти ее имена.

Ночь всепрощения и мира

Была Великая Суббота — 1600-я [36] годовщина святотатственного преступления, даровавшего спасение миру.

В Генуе храмы были переполнены народом, собиравшимся чествовать ночь Воскресения Господня. Колокола торжественно звонили, вечерние службы уже заканчивались, но оживление еще царило на улицах и в цветущих окрестностях древнего города, над которыми раскинулся темно-синий купол небес, усеянный ярко сиявшими алмазами созвездий.

В маленькой вилле, утонувшей в зелени пальм, олеандров, мирта, лавров и роз, под мраморным портиком на крыльце стоял, прислонившись к резной колонне, человек высокого роста, еще не старый, но с лицом, уже изборожденным многими морщинами — следами забот, трудов, а подчас и тяжких лишений. Он вышел вздохнуть ароматным воздухом, оживить грудь сильными, здоровыми испарениями моря… Взор его блуж-

---

[36] Сноски: 36

Факты и сюжетные детали приводятся в версии автора, не всегда исторически достоверной.

дал по вольному простору Генуэзского залива, по цветущим берегам и морской зыби, отливающей серебром и фосфором под дрожащими лучами звезд, — но полна была душа сосредоточенных дум и печали.

Рука его лежала на голове большой черной собаки, пристально устремившей взор в лицо хозяина. Глаза животного горели, как изумруды, в темноте ночи, в них светились глубина и сила мысли изумительные. Собака не отрывала взгляда от лица своего господина и по временам визжала или рычала, словно хотела ему сообщить что-то.

Человек этот был известным теологом, оратором, доктором, химиком, историком и лингвистом; другие считали его астрологом, алхимиком, магом и чародеем, повелителем элементов и духов, равным полубогам древности и подобным Гермесу Трисмегисту по знаниям и могуществу. Это был великий ученый Корнелий Агриппа, врач Луизы Савойской, матери Франциска I, летописец Карла V, автор труда «О сокровенной философии», почти за три столетия ранее Месмера провозглашавшего скрытые силы человека над человеком; многократный изгнанник и великий путешественник, едва не погибший на костре за то, что,

будучи синдиком в Меце, спас от пламени бедную девушку, приговоренную к сожжению за колдовство. Рядом с Корнелием Агриппой сидел Мосье, его заколдованная собака-демон, описанная всеми современниками ученого, признававшими исключительные особенности их обоих.

Сам ли Мосье был оборотень, домовой в шкуре пса? Или его всезнайство исходило из магического ошейника, скрытого в его длинной и шелковистой черной шерсти, — ошейника с каббалистическими знаками на внутренней стороне его? В этом хроники не согласуются, но, как бы то ни было, Мосье служил советником, учителем и другом Корнелия Агриппы, и оба это сознавали.

Вот и в ту ночь, величайшую ночь христианского мира, Агриппа вышел, не чая ничего необычного, но черный пес его знал, что должно случиться нечто не совсем обыденное… Мосье отводил пронзительный взгляд свой от хозяина лишь затем, чтобы требовательно, нетерпеливо устремлять его в темную ночь; многозначительно взвизгивал, словно предупреждая о чьем-то появлении.

Ученый наконец обратил на пса внимание.

— В чем дело, дружище? — тихо спросил он. — Ты ждешь кого-то или извещаешь меня о

прибытии гостя?.. Надо ли нам бояться того, кто придет?

Он сосредоточенно смотрел в глаза собаки, и та ему отвечала не менее глубоким взглядом.

— Нет?.. Вижу, что нет. Тем лучше: я утомился в житейской борьбе. Устал скитаться и боюсь, что время мое сочтено… Не великой перемены страшусь я, нет! Предвечного закона нечего страшиться. Но я боюсь, что не успею выполнить своих задач: не успею передать грядущим поколениям вверенных мне знаний. Пойдем, товарищ, работать: ни дело, ни жизнь не ждут!

И Агриппа вошел в единственную комнату своего одинокого жилища, вместе и лабораторию, и кабинет для чтения и приемную для немногих посетителей, являвшихся к нему за советом, предсказанием или составлением гороскопа. Тут было все: скелеты и реторты, фолианты, глобусы и геометрические инструменты; на полках и на столах были расставлены бокалы и фляжки с таинственными амальгамами, с цветистыми эликсирами, солями и кислотами, а рядом с ними — куски разнородных металлов и банки с различными семенами и всевозможными ингредиентами. Висячая лампа в виде ладьи освещала таинственным синеватым пламенем рабочий

беспорядок, пучки трав, чучела пресмыкающихся и птиц, спускавшиеся с потолка. А возле огромного стола красноватые отблески углей, тлевших в жаровне, бросали огненные искры и багряный свет на ближайшие предметы.

Ученый тотчас углубился в свои мысли и сложную работу, позабыв весь мир, а Мосье, не зная забвения, уселся сторожем на пороге и зорко глядел в темноту, поджидая неминуемого гостя.

И вот тот появился у входа в сад, вот шагнул за ограду и прямо направляется в открытые двери жилища… Пес слегка повернул голову к хозяину и предупредил его тихим ласковым рычанием.

Но Корнелий Агриппа был слишком углублен в себя, чтобы видеть что-либо или слышать.

Незнакомец вошел в район света и молча стал на пороге.

Странен был вид гостя!

Удивительные противоположности, невиданные в людях никогда, смесь отличительных свойств, совсем между собою несходных, поражала в наружности позднего посетителя. Начиная с возраста, все было в нем неопределенно, противоречиво. Он не был сед, едва ли несколько белых нитей серебрило его черные кудри, но ни бороды, ни усов у него не было. Не было также и

глубоких морщин; глаза порою блистали, как у юноши, но в общем облике, в выражении лица и всей высокой согбенной фигуре сказывалось такое великое утомление, будто года лежали на нем тяжелым бременем. Его древнееврейская одежда поражала богатством тканей и драгоценностей и вместе такою ветхостью, что, казалось, она сейчас распадется лохмотьями и прахом… Но нет! Каким-то чудом восточные шелка, расшитые золотыми буквами и каббалистическими эмблемами, пурпуровая мантия-эфод, накинутая на плечи, когда-то богатые, но выцветшие сандалии держались, не распадаясь, на исхудалом бескровном теле, казалось, тоже готовом разложиться, если бы его сочленений и мускулов не сдерживало нечто более сильное, чем материальные атомы и законы физические.

Наконец глухой сдержанный лай собаки, очень похожий по тону на вопрос: «Ну что ж ты?», заставил Агриппу поднять голову и оглянуться. В ту же минуту, пораженный, он встал и пошел навстречу пришельцу, не зная, что о нем подумать. Ученый чувствовал нечто весьма близкое к страху, будто видел пред собой не живого человека, а мертвеца с глубоко запечатлевшимся выражением страдания и томительного горя на челе.

— Прости мне, Агриппа, несвоевременное мое посещение. Великая твоя слава дошла и до слуха вечного странника. Желания мои давно к тебе стремились, но выбора я не имею, — произнес посетитель голосом глухим и бесстрастным, по звуку которого тоже ничего нельзя было определить.

— Сердечно приветствую приход твой, неведомый мне странник, явившийся ко мне с ласковым словом. Боюсь только, что молва преувеличивает мои заслуги и что я не удовлетворю твоим ожиданиям, — ответил Корнелий.

— Люди и молва во все веки одинаковы: их сфера — крайности. Ты сильно любим и прославляем, но также сильно унижаем и ненавидим. Ты человек, и человеческой участи, не миновавшей самого Бога, сошедшего на землю, тоже не избегнешь.

— Я знаю. Мне доказали это долгие годы борьбы с невежеством, с равнодушием, с враждою…

Странник улыбнулся: печальна и горька была его усмешка.

— Ты мне не веришь? — огорчился ученый.

— О, верю! Твои скитания из страны в страну, несправедливость к тебе временных коронованных покровителей твоих мне ведомы. Но прости

мою невольную улыбку: я столько раз слышал ребяческие жалобы на бремя лет таких, как ты, людей, едва достигших полувека, что мне, познавшему, что те лишь годы долги, которые еще не наступили, а пережитый век иль миг — все едино, без удивления слушать тебя трудно. Но я боюсь, что злоупотребляю… Прости меня за то, что так много говорю о себе.

— Так много?.. Напротив, я желал бы слышать более. Я бы просил тебя, неведомый странник, если бы смел нарушить долг гостеприимства, сказать мне, кто ты, так легко говорящий о годах и столетиях? Я знаю предание лишь об одном несчастном человеческом создании, которое имело бы право говорить так, как ты. Но я считал его сказкой!

— Неужели ты, мудрец и ученый, не знаешь, что сказка — только забытая или переиначенная действительность? — вопросил гость. — Что многое реальное на свете часто гораздо изумительнее любой волшебной сказки?.. Так слушай же, что я тебе поведаю, Агриппа. В ранней юности, бывало, глядел я на заходившее светило дня, радостно помышляя, что через несколько часов оно опять выплывет и засияет вечным блеском на тверди небесной, вновь и вновь освещая землю и ею

любуясь. Я, в безумии своем, втайне желал бессмертия солнца, завидовал его долголетию… Но ныне я познал, что молодость часто стремится к тому, от чего была бы рада избавиться старость. За тяжкий грех немилосердия дана мне участь бессмертного светила: изо дня в день безостановочно кружу я по земле, не находя покоя, и лишь теперь познал, как счастливы те смертные, которым позволено пройти краткий срок до желанного отдыха. У меня же его не будет!.. Я лишился его по своей вине, в безумии гордыни и жестокосердия!

И удивительный странник поник усталой головою на свои бескровные руки.

Корнелий Агриппа смотрел на него со страхом, с сожалением, в изумленном недоумении, не зная, что решить: был ли то безумец, лишенный рассудка, или действительно он видел перед собою воплощение той личности, которую доныне считал мифом, плодом фантазии и суеверия первых христиан.

Пришелец прервал его размышления.

— Позволь присесть мне, — попросил он. — Сегодня ночь искупления всех грешных деяний, ночь всепрощения! Сегодня я имею право отдохнуть.

Ученый поспешил усадить гостя и предложить ему вина, плодов и хлеба, все еще думая, что перед ним безумный. Однако странник отказался от пищи; он еле прикоснулся к кубку иссохшими губами и, с благодарностью и надеждой глядя на мудреца, заговорил, вновь оживившись:

— Не смею долго отнимать тебя от твоих занятий и сам не могу долее терпеть неизвестности. Скажи мне, о премудрый Корнелий Агриппа, справедливо ли молва называет тебя обладателем волшебного «зеркала прошедшего и будущего»? Верно ли то, что всякий, кто с упованием и верой посмотрит в сей магический диск, увидит в нем отражение прошлой жизни и давно покинувшие землю лица, видеть которых жаждет душа его?

— Кого бы ты желал увидеть? — спросил Агриппа. — Чем ближе были узы, соединявшие людей, тем возможнее вызывать их отражения в моем магическом зеркале.

— Ближе той, мирской, давно прошедшей жизни, о коей желал бы я узнать, у меня не было. Семьи я не знал, потомства не имел… Все чувства души моей, весь пыл молодого когда-то сердца я излил на девушку, которая должна была стать моей, если б не гибельный мой грех. Хочу, о, всеми силами бытия хочу увидеть Ревекку, дочь

раввина Эбена Эзры!.. Хочу узнать, что сталось с ней. Какую долю она избрала себе после моей невольной измены, после исчезновения моего из Иерусалима, из пределов Палестины? Века веков личных мучений не так пугают меня, как мысль, что Ревекка страдала тот краткий срок, который был сужден ей на земле. — Он вновь отчаянно закрыл лицо руками и с тяжким стоном продолжал: — Подумай: какова мне неизвестность, ты, счастливый смертный, не утративший права ждать законного конца земных страданий и тревог. Подумай: мириады живых существ уходят в свое время; миллионы миллионов боятся смерти, не хотят ее — а умирают, хоть переполнены желанием жизни на земле. Я же ненавижу свою жизнь! Радостно бы принял я жесточайшие истязания, зная, что за ними ждет меня могила, — но мне нет смерти, нет конца!.. Реки иссыхают, скалы распадаются во прах, величайшие памятники разрушаются — всему приходит конец. Нет его только Агасферу, злосчастному сыну Мариамны… О! Дай мне, дай в эту милосердную, всепрощающую ночь утешение — еще единый раз увидеть мою Ревекку, узнать, что с нею сталось, и, если возможно, успокоиться в том, что мой грех не пал на ее голову!..

Весь дрожа, Корнелий Агриппа ответил ему:

— Да будет по-твоему, мой странный посетитель. Кто бы ты ни был, откуда бы ни появился — из геенны или из рая, из видимых или невидимых областей мироздания, — я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить тебя.

И мудрец тотчас же приступил к заклинаниям.

Певучим голосом бормоча неведомые слова, Агриппа снял покрывала, скрывавшие от глаз «зеркало прошлых и будущих веков», окурил его одуряющею манделлой — семенами черного растения гробниц, собранного в окрестностях Кедрона, потом ароматическою таккой, в народе называемою травой Святой Троицы; когда рассеялся их дым, он отполировал блестящую металлическую поверхность вогнутого зеркала мягкими тканями и мехами. Потом, продолжая свои канты, поставил зеркало на место, а между ним и своим посетителем, безмолвно ждавшим окончания приготовлений, поместил треножник с пылающими углями.

— Теперь ты сам должен помогать мне, — обратился к гостю заклинатель. — Сейчас я посыплю на огонь нечто, что подымется белою прозрачною завесой между нами и «зеркалом веков». На этой завесе отразится, что ты желаешь видеть, как на-

ши тени отражаются в солнечный день на стенах. Но только эти тени не будут лишены ни жизненной окраски, ни самобытного движения…

— Так я не в зеркале ее увижу, а здесь, перед собой? — вопросил Агасфер.

— Да. Сияние зеркала так велико, что ты был бы ослеплен и ничего не увидел бы, если бы не эта туманная завеса. Но помни, странник: что бы ты ни видел, ты должен хранить молчание. Одно твое слово — и все исчезнет!.. Теперь считай десятки лет, истекшие со времени события, которое ты желаешь видеть. Не ошибись в счете: от этого зависит хронологическая верность картин. Ты можешь проследить всю жизнь человека, который тебя интересует… Считай же годы десятками, как только свет, подобный солнечному, изойдет из зеркала, и подымется пред нами занавес; я же буду отсчитывать твои десятки вот этим маленьким жезлом.

И Корнелий посыпал угли каким-то порошком, а сам начал чертить по воздуху каббалистические знаки магическим жезлом.

Почти тотчас же, исходя из жаровни, стало развертываться нечто вроде белой пелены, дотянувшись почти до потолка и закрыв всю внутреннюю часть комнаты. В то же время зеркало за

этой занавесью разгоралось таким ослепительным блеском, будто действительно обращалось в солнце. Лучи его, окрашиваясь, принимая цвета и формы существующих в природе предметов и созданий, ударяли в завесу — и вот уже начали образовываться на ней картины, лица, пейзажи.

— Пора! — промолвил торжественно маг.

И, встав, поднял руки к небу, потом быстро опустил их к земле… Целые снопы искр, белых, как алмазы, посыпались сверху, а снизу брызнул фейерверк цветистых лучей, и все это ослепительно яркое сияние сосредоточилось в зеркале, будто поглощенное им.

— Считай десятки лет! — приказал Агриппа.

Став рядом, при каждой цифре, произносимой Агасфером, он повелительно махал жезлом.

Ровно 161 раз жезл поднялся и опустился, и с каждым новым взмахом ужас яснее выражался на лице Агриппы… Наконец, усталый и пораженный, он остановился, глядя на своего дивного посетителя.

«Так это правда!.. Это он, точно он — вечный странник, осужденный на бессмертие Агасфер…»

Да, иначе быть не могло. Та красавица, которую гость так страстно желал увидеть, уже несколько секунд была перед ними; с каждым

взмахом волшебного жезла вырастая из ребенка и делаясь прелестною девушкой, она теперь достигла полного расцвета юности и стояла пред своим 1500-летним женихом в той именно среде и обстановке, окруженная именно теми лицами, которые были при ней в далекий день, о коем мыслил он.

Туманная пелена расцветилась и ожила точным изображением древнееврейского праздничества. На первом плане зеленела роскошная долина, орошенная потоком. Источник, весь в пене, вырывался из группы скал и стремился вниз по цветущему склону, осененному там и сям группами пальм, рощами оливковых и гранатовых кустов. Кое-где в густой траве отдыхали домашние животные; бродила ручная газель, весело приближаясь на зов своей балованной молоденькой хозяйки, единственной дочери раввина Эзры, известного своим богатством. Ревекка полулежала в тени развесистого кедра, любуясь играми юношей, девушек и детей, веселившихся ради первого дня опресноков. То было ровно за год до рокового события.

В немом восторге взирал Агасфер на картину своей счастливой юности, и по мере того как мысль его шла вперед, вызывая другие воспо-

минания, иные, ближайшие по времени, сцены появлялись на волшебной ткани, растянутой пред ними. Чередовались окружавшие девушку декорации и лица, но сама Ревекка оставалась все та же, меняясь лишь в возрасте и одеждах…

Вот стерлись с первого плана высокие горы, исчезли и живописные кущи сада на берегах Кедрона. Видневшиеся вдали здания большого города приблизились, и пред зрителями прошли не только улицы, строения и площади Иерусалима, но и вся мировая драма, разыгравшаяся 1600 лет назад в Синедрионе, в претории и, наконец, на Голгофе, — но лишь настолько, насколько участвовала в ней или видела ее та, на которой сосредоточивались помыслы еврея.

Вспоминать он мог только до роковой для него минуты, когда Христос остановился у его порога, когда жестокое слово Агасфера, в порыве гордыни обращенное на Спасителя мира, обрушилось на его собственную голову, когда в ответ на оскорбление он увидел безмолвный упрек, тихое горе о нем самом в кротком взгляде Иисуса, омраченном кровью, струившейся из-под тернового венца. Тогда понял грешник всю глубину, весь ужас своего непоправимого преступления и — побежал!.. Побежал, не оглядываясь на дом свой, на стены

родного города, на горы и долы, и долго-долго бежал с ужасом и отчаянием в сердце, гонимый призраками ада, пока не свалился без сил и без памяти. Но не для отдыха, не для успокоения: их для Агасфера в природе уже не было! Едва опомнившись, он вскочил, чувствуя не землю, а лютый огонь под ногами, и снова побежал. И так опять, и опять, и всегда — поныне и до века, и во веки веков, без отдыха, без срока…

С того дня протекли столетия, и столетия носил несчастный в истерзанной душе своей тот образ, который явился ныне перед ним. Он был вызван не языческим кудесником, не губительными силами черной магии — нет! Он был вызван по мольбе Агасфера христианином, мудрецом, глубоко верующим в Того, Кого сам грешник, всеми отверженный ныне, отверг тогда, над Чьим страданием насмеялся, не чая, что не во гневе Агнца, подъявшего грехи человечества, а в Его всепрощающем взгляде найдет свою казнь.

Ныне он жаждал Его милости. Одного из Его слуг, коими переполнился мир, пришел умолять снять с измученной души гнет сомнения: дать узреть, что сталось с его невестой, против воли брошенной им, как окончила она свою печальную жизнь.

Желание Агасфера исполнилось.

Вот перед ним три креста на Голгофе, которых он тогда не видел; вот святые женщины, три Марии, возвращаются домой в великой скорби своей, не замечая ничего и никого, не замечая разрушений землетрясения, сопровождавшего смерть Распятого, не замечая за ними следующих любопытных — доброжелателей и врагов. Вечный странник жадно следил за процессией и с изумлением видел, что в тот вечер опечаленных друзей шло за святыми женщинами более, нежели злорадствовало на пути их врагов. Агасфер искал во множестве народа Ревекку, но не находил ее…

Но вот Пресвятая Матерь Иисуса, опираясь на руку Иоанна, названного сына Своего, приблизилась к Своему бедному жилищу. Многие явные и тайные приверженцы Ее Сына выбежали к Ней, не скрывая рыданий, или робко выглядывая из-за углов, пряча слезы свои «страха ради иудейского» [37]…

Между первыми, явно сочувствовавшими Ее великому горю, выделилась стройная женская фигура, поджидавшая Богоматерь у порога Ее

---

[37] Сноски: 37
Ин. 19: 38.

дома. Когда Дева Мария была уже близко, девушка страстным движением открыла лицо свое, орошенное слезами, и повалилась на землю, обнимая ноги Богородицы, как бы моля Ее о прощения и помощи, а Она, воззрев к небу, опустила руки девушке на голову…

Пораженный Агасфер побледнел еще сильнее. Так вот что было потом! Ну, а далее?.. Что же далее?!

И, послушное его желаниям, зеркало отразило другую картину.

Не бедные кварталы Иерусалима, а величественные здания другого роскошного вечного города появились на туманном занавесе. Агасфер тотчас узнал Рим и в течение нескольких мгновений, показавшихся ему бесконечно долгими, проследил кровавую трагедию, свершившуюся почти пятнадцать веков назад над дочерью Эбена Эзры и многими ее товарищами по вере. Агасфер отыскал ее сначала в тех темных подземельях, где ютились гонимые язычниками — по видимости презренные и несчастные, но по сути великие и блаженные — последователи учения Христова. Он проследил все страшные перипетии заключения Ревекки в темнице, потом ее шествие в Колизей в среде многих других жертв,

обреченных на гибель ради потехи кровожадной толпы. В ту минуту, полную смертельного ужаса, когда выпущенные на арену дикие звери прянули на толпу мучеников-христиан, когда разъяренная голодом тигрица бросила на землю Ревекку, — несчастный, забыв, что перед ним не самое событие, а его тень, с громким криком бросился к страшному видению…

Вмиг все померкло, все исчезло!

Со стоном, шатаясь и дрожа, вечный странник на секунду беспомощно опустил голову и руки, в то время как Корнелий Агриппа, потрясенный до глубины души драмой, вызванной им из мрака древности, спешил закрыть свое волшебное зеркало и широко растворить временно запертую дверь в сад.

Дым и чад, вызванные волхвованиями, рассеялись. Свежесть и благоухание весенней ночи снова проникли в покои; снова ворвались туда тихий лепет листвы, успокоительный мерный шум морских волн, разбивавшихся о берег; снова упали с небесных высот лучи игравших там звезд.

Агасфер поднял голову. По застывшему лицу его струились слезы.

— Благодарю тебя, великий христианский муд-

рец, — сказал он. — Ты облегчил мое великое горе, сняв с души гнет неизвестности и дав мне несколько блаженных мгновений свидания. Благодарю!.. Чем же вознаградить мне тебя? Не примешь ли ты от меня несколько ненужных мне драгоценностей, поднятых мной по пути бесконечных странствий?

Говоря это, посетитель Агриппы протянул тому кошелек, в котором блистали дорогие каменья.

Но ученый отрицательно покачал головой.

— Нет, бедный друг мой, мне не нужны сокровища земные, — сказал он. — Один твой взор на эти небеса с мольбою о прощении к Тому, в Ком были тобой оскорблены страдания всего человечества, — для меня и есть лучшее и самое желанное вознаграждение.

— Аминь! — еле слышно прошептал Агасфер. — Прощай. Да воздаст тебе Бог Саваоф за добро и привет, оказанные бесприютному осужденному.

И, медленно повернувшись и поникнув головой, вечный странник вышел и скрылся во мгле торжественной пасхальной ночи милосердия и всепрощения.

Видение в кристалле

Когда я в тысяча восемьсот девяностом году была в Лондоне, то часто встречалась в одном знакомом доме с богатым американцем, большим путешественником и лингвистом, к удивлению моему, хорошо знавшим русскую литературу и если не говорившим особенно бегло, зато прекрасно понимавшим наш язык. Он удивил меня еще более знанием русских обычаев, суеверий, гаданий. На мое изумление по этому поводу американец засмеялся и возразил:

— У меня хорошая память, а два тома русских сказаний Сахарова — моя настольная книга. И знаете ли, когда я жил в Индии — я четыре года провел на Ганге и за Гангом, — я занимался сравнением ваших поверий и гаданий с древними индусскими верованиями и, право же, нашел много схожего. Между прочим, знаете ли, что индусские девушки тоже в зеркало — или все равно, в воду или стекло — смотрят, гадая о суженом. Мало этого, их поверье говорит, что лучшее время для гаданий — час перехода старого года в новый!..

По этому поводу поднялись расспросы и общий разговор, под шумок которого мистер Л-инг, смеясь, обратился ко мне.

— Я знаю, что вы любите такие особенные происшествия, которым не все верят. Хотите, я вам дам прочесть и даже подарю одну маленькую рукопись о том, как я раз вздумал «гадать» (он это слово сказал по-русски) под Новый год, живя возле Дарджилинга, и что из этого вышло.

Я отвечала, что буду очень рада, и спросила:

— А рассказать об этом в России можно?

Он подумал и отвечал:

— Рассказывайте, кому хотите, устно, но напечатать это даю вам право только после моей смерти. Иначе меня засмеют, когда приеду к вам в Петербург. А я непременно думаю там еще погостить.

Исполняя желание м-ра Л-инга, я молчала и только теперь решилась предать гласности его рукопись, потому что автор, к сожалению, погиб в Чикаго в одной из многих печальных катастроф, ознаменовавших мировое столпотворение нынешнего года. Вот этот рассказ.

* * *

Смолоду я был большой мечтатель. Катался по земному шару не с одной лишь научной целью или ради удовольствия, а с тайной надеждой одолеть некоторые тайны космические и силы природы, мало кому ведомые. В Индии я решил употребить все средства, чтобы познакомиться с искусством факиров, а по возможности, проникнуть в более отвлеченные и сокровенные таинства знаний радж-йогов, высших знатоков оккультизма. С этой целью я избегал модных центров, стараясь внутри страны найти учителя действительно мудрого, а не шарлатана, каких там много. Мне посчастливилось напасть на такого. Мое основательное знание санскритского языка помогло теоретическим занятиям нашим идти быстро, и наступал уже срок, назначенный моим гуру (учителем) для начала практических опытов, когда вдруг в конце декабря он сильно заболел. Я навещал его, опасность миновала, но болезнь была из тех, которые требуют долгого выздоровления и предосторожностей.

Я очень скучал без моего наставника, но решил исполнить его просьбу — ничего не предпринимать нового без него.

В один вечер ко мне прибежал юноша с запиской. Я прочел в ней следующее: «Не пугайтесь, молодой друг мой, если я буду в отсутствии дней семь, а может, и более. Чтобы мое тело скорее поправилось, я решился дать ему хороший физический и духовный отдых. Я уйду. Оставлю телесную оболочку на время отдохнуть в летаргии. Ждите меня через неделю. Дхарма Шастри».

Я тотчас последовал за мальчиком в их бенглоу — плетенный из тростника шалаш, осененный пальмами, где учитель жил с этим юношей, подобранным им в лесу. Туда ребенка, вероятно, снесла на гибель грешная мать, а гуру вырастил мальчика и готовился из него сделать такого же мудреца, каким был сам. Однако, войдя в шалаш, я нашел наставника недвижимым и бездыханным… По-видимому, на ложе покоилось его безжизненное тело, но я, понимая смысл выражения «оставлю телесную оболочку на время», не испугался, тем более что воспитанник выглядел совершенно спокойным, уверяя, что такое явление не впервые случается с Дхарма Шастри, что после такого «отсутствия» учитель всегда становится бодрее и здоровее. Надо сказать, что на вид мой гуру был человек лет сорока, но местные старики меня уверяли, что не помнят его другим

и что он гораздо старше их. Это был скромный, тихий человек, худой и небольшого роста, совсем обыкновенной наружности, только резко очерченный подбородок и сильно выдающийся лоб изобличали в нем силу воли и способность глубоко мыслить, сосредотачиваясь на одном предмете или желании. Я видел в Дхарма Шастри еще одну замечательную черту: по-моему, глаза его меняли не только выражение, но и цвет… Впрочем, другие этого не замечали.

Итак, я оставил гуру в трансе, уверенный, что не увижу его оживления ранее недели. Прощаясь, я спросил мальчика, не боится ли он оставаться один с бесчувственным и недвижимым учителем в лесу, где много змей и диких зверей, а пожалуй, и недобрых людей. Мальчик уверенно покачал головой, возразив, что недобрых людей для них нет: гуру все любят, не только люди, но и звери, а от всякого зла хранят их «добрые силы — Питри».

Я слышал об этом поверье и оставил мальчика, успокоенный.

Прошло дня три. Я занимался, навещал «спавшего» учителя, но сильно скучал и с нетерпением ждал, чтобы тот очнулся. В один вечер я засиделся за чтением; пробило одиннадцать ударов, и вдруг

я вспомнил, что сегодня везде празднуют канун Нового года. «Многие в России, да, пожалуй, и здесь гадают! — пришло мне на мысль. — Ну-ка и я от нечего делать посмотрю в кристалл!» Вздумано — сделано.

Я вынул из стола «магическое зеркало», приобретенное мною еще в Нью-Йорке, уставил его перед собою между двумя свечками так, чтобы в нем ничто не отражалось, и стал пристально смотреть в его выпуклый гладкий кружок. Сначала он представлялся мне просто черным пятном, потом по темной поверхности начали пробегать какие-то тени, полосы, колонны, и вдруг прояснились великолепные развалины чудного храма на фоне тропического леса.

«Точно ли я это вижу?.. Уж не заснул ли?» — подумалось мне. Я решил было ущипнуть себя за руку, удостоверяясь, что не задремал, как вдруг между моим взором и стеклом легла маленькая бронзовая, хорошо мне знакомая рука…

Я радостно вскочил: передо мной стоял Дхарма Шастри, улыбаясь и качая головой в белом тюрбане.

— Нехорошо! Ослушник! — говорил он. — Я ведь просил без меня не заниматься опытами оккультизма.

— Какой же это оккультизм? — оправдывался я между восклицаниями радости по поводу выздоровления гуру. — Простая шутка, от безделья!.. Так вы проснулись ранее, чем предполагали?

— Да, я поправился, — сказал учитель просто. — Но вы напрасно называете бездельной шуткой вопрошение кристалла. От того древнего храма, который начинал перед вами проясняться, нескромное американское стекло ваше могло перейти к предметам, которых вам лучше поверхностно не касаться, если вы точно намерены ими заняться серьезно и последовательно. Пойдемте лучше прогуляемся! Ночь хороша. Если желаете, я покажу вам в действительности развалины, заинтересовавшие вас в этом стекле.

Я радостно согласился, удивившись, что не знал о существовании поблизости такого интересного места.

Мы вышли в ярко-волшебную ночь, сиявшую, как прозрачный жемчуг, усеянный бриллиантовой пылью. Темнее всего был купол небесный, с высоты которого изливалось на красоты земные сияние разноцветных светил, горевших в темно-синей его глубине. Мы очень скоро достигли величественной колоннады на опушке леса, казавшегося издали сотканным из черного и

серебряного кружева. Один из резных порталов здания был особенно ярко залит светом луны, а из таинственных недр его эффектно мигало, то вспыхивая, то потухая, багровое пламя, будто бы там, внутри храма, разложен был костер или курился жертвенник.

Индус указал мне на какой-то гранитный обломок, поросший лианами и папоротником, и мерными шагами направился было к храму, но вдруг обернулся и сказал:

— Вы спрашивали три дня тому назад — я слышал ваш вопрос, — кто бережет меня от змей и тигров. Вы сейчас увидите одного из тех, которые многих охраняют от диких зверей. Он живет неподалеку и часто сюда приходит… Только, прошу вас, помните: двигаться одному с этого места, что бы ни случилось, для вас опасно!

Он продолжал свой путь и исчез под колоннадой храма.

Я ждал и дождаться не мог появления гуру. Глаза мои устали, так напряженно, до боли, до слез, смотрел я в таинственную мглу за колоннадой. Почему-то она, как и тишь, меня окружавшая, и неподвижность, и мое одиночество начинали страшить… На меня опускалась какая-то тяжесть, недоумение и ожидание, невыносимо мучи-

тельные!.. Я начинал терять представление о действительности, сознание окружавшего меня расплывалось в чувстве неизвестности, тоски, ужасающего страха. Надо бежать, уйти отсюда, подумал я, но вспомнил, что сказал мне Дхарма Шастри, и остановился.

Пред моими глазами открылась панорама громадного города. Я видел его à vol d'oiseau [38] и несомненно узнал в нем один из наших больших американских городов, который показался мне украшенным, увеличенным какими-то увеселительными зданиями… Он весь сиял и пестрел праздничными огнями, украшениями, флагами, движением и суетой. Толпы народа стремились в одном направлении, и я последовал за ними, в самый центр праздничного оживления среди ужасных громадных зданий. Я силился понять, что это именно за город, где я?.. Вдруг я увидел огромное пламя! Что-то горело. Все бежали в ту сторону, на пожар, и я там очутился. Я сразу увидел ужасное зрелище: предо мной несколько человек бегали в пламени, ища спасения, выхода из какого-то высокого здания, охваченного огнем, и среди этих людей я узнал самого себя…

---

[38] Сноски: 38
С высоты птичьего полета (*фр.*).

Зрелище меня крайне неприятно удивило. Я, разумеется, бросился самому себе на помощь в убеждении, что мне ничего нет легче, как поднять себя, или своего двойника, метавшегося там, внизу, в огне, до безопасных высот, с которых сам я смотрел на пожар, но, чуть прикоснувшись к тому, другому, себе, я вдруг увидел, что не я уношу его вверх, а, напротив, он меня увлекает вниз, в огонь.

С громом провалился под нами пол, и мы стремглав полетели в разверзшуюся под нами огненную бездну…

Я закричал как полоумный во всю силу своих легких, убежденный, что горю…

— Саиб! [39] Саиб!.. Что с вами? отчего вы так ужасно кричите?

«А!.. Наконец-то пришел за мной Дхарма Шастри!» — пронеслась в мозгу моем сознательная мысль, и я с трудом пошевелился.

— Ну, благодарение небу, вы вернулись!.. Мне тут без вас снились такие сны, — с великим усилием промолвил я.

— Как? Разве вы спали?.. Когда вы закричали, я вбежал и нашел вас сидящим перед стеклом

---

[39] Сноски: 39
От араб. sahib — господин.

совершенно прямо, с открытыми глазами… Вы смотрели прямо в это стекло! — услышал я недоуменный голос совсем не своего ученого индуса.

Я обвел глазами все окружающее, стараясь отрезвиться, и с изумлением сообразил, что я сижу у стола, в своей комнате, перед «магическим кристаллом», а передо мной стоит слуга-бенгалец, привезенный мной из Калькутты.

— А Дхарма Шастри? — спросил я. — Где он?

— Не знаю. Верно, в своем бенглоу. Саиб говорил ведь, что гуру болен…

— Да он сейчас был здесь! — закричал я. — Пойду к нему, спрошу, что это значит.

Я говорил сам с собой, будто бредя. Бенгалец мой, очевидно испуганный моим возбужденным состоянием, смутился.

— Куда же саиб пойдет ночью? Не лучше ли дождаться утра?

Я вынул часы и посмотрел: было пять минут первого, а я сел смотреть в кристалл без десяти минут полночь. Значит, со всем моим бодрствованием, когда еще не приходил Дхарма Шастри (а я был убежден, что он приходил!), и со всем переполохом моего пробуждения прошла едва ли четверть часа?.. Собственно, спал я и видел все эти цветистые сны в продолжение каких-нибудь

пяти минут, если не менее.

А сколько картин, сколько ощущений!.. Подлинно, годы могли порой совместиться в одном мгновении!

Я отослал слугу, лег и проспал до утра непробудно. Едва проснувшись, я наскоро оделся, позавтракал и побежал к Дхарма Шастри. Я был совершенно уверен, что он посетил меня, застал за контрабандным занятием и навел на меня магический сон, в котором я увидел нашу прогулку и все последующее.

Я издали увидел его воспитанника, сидевшего на ступеньках бенглоу, пригорюнившись. Юноша, видимо, мне обрадовался, встал и пошел навстречу.

— Ну что, — спросил я, — твой хозяин здоров?

— Ничего, — ответил он, — учитель спокоен. Вот жду: дня через два, надеюсь, проснется… Так скучно одному, пока его нет!

Я только посмотрел на мальчика, но ничего не возразил, а вошел в хижину гуру.

Тот лежал на прежнем месте, неподвижен и все еще совершенно бесчувствен.

Я долго смотрел на него в недоумении и в итоге ушел, попросив юношу сейчас же дать мне знать, когда гуру очнется. Трудно было мне убедиться,

что и приход его был просто сном!

Очнулся Дхарма Шастри после того на третий день и сам пришел ко мне, бодрый и веселый.

Первый мой вопрос был:

— Вы ли это?.. или опять ваш двойник?

— Нет, на сей раз я сам, в собственном теле, — отвечал учитель. — Можете пожать мне руку — shake hands.

Я так и сделал, встряхнул руку покрепче и уже собирался вопросить, что это было со мной, когда Дхарма Шастри сказал, не дожидаясь вопроса и хитро мне подмигнув:

— А вы без меня колобродили, судьбу вопрошали?.. Нехорошо! Вот вас бхуты, мелкие демоны, и напугали, позабавились над вами. Да и нашим занятиям такое нарушение дисциплины может повредить.

Я воззрился на него вопросительно.

— Так вы таки знаете? Вы были у меня?

— Был, волей своей и мыслью и желанием оградить вас от того, что вы видели. Зачем вам было добиваться сокровенного? — с улыбкой договорил Дхарма Шастри. — И не приснился бы вам столь тревожный сон!

— Так вы все знаете? — снова спросил я. — В таком случае скажите: как понять мое видение?

Неужели это ответ на желание мое узнать, какою смертью я умру?

Гуру нахмурил густые брови, и глаза его потемнели, как черная пучина.

— Вы знаете, сэр, — сказал он, — что я противник всяких предсказаний и никому не советую вопрошать будущее. Займемся лучше делом, и постарайтесь забыть ваше бесцельное волхвование!..

Так кончается рукопись мистера Л-инга.

Во всей этой истории, разумеется, самое удивительное то, что он действительно погиб во время одного из нескольких сот пожаров этим летом, в Чикаго.